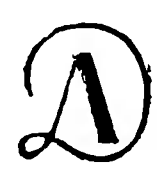
АРКАДИЙ ГАЙДАР





ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»





АРКАДИЙ ГАЙДАР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„Детская литература"
МОСКВА 1972

АРКАДИЙ ГАЙДАР



ТОМ ВТОРОЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Детская литература»
МОСКВА 1972

Р2
Г14

В подготовке издания принимали участие
Т. А. ГАЙДАР, Л. А. КАССИЛЬ. В. Г КОМПАНИЕЦ, Ф. Е. ЭБИН.

7—6—3



ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ

1



ЗИМОЮ очень скучно. Разъезд маленький. Кругом лес. Заметет зимою, завалит снегом — и высунуться некуда. Одно только развлечение — с горы кататься. Но опять, не весь же день с горы кататься? Ну прокатился раз, ну прокатился другой, ну двадцать раз прокатился, а потом все-таки надоест, да и устанешь. Кабы они, санки, и на гору сами вкатывались. А то с горы катятся, а на гору — никак.

Ребят на разъезде мало: у сторожа на переезде — Васька, у машиниста — Петька, у телеграфиста — Се-

режка. Остальные ребята—вовсе мелкота: одному три года, другому четыре. Какие же это товарищи?

Петька да Васька дружили. А Сережка вредный был. Драться любил.

Позовет он Петьку:

— Иди сюда, Петька. Я тебе американский фокус покажу.

А Петька не идет. Опасается:

— Ты в прошлый раз тоже говорил — фокус. А сам по шее два раза стукнул.

— Ну, так то простой фокус, а это американский, без стуканья. Иди скорей, смотри, как оно у меня прыгает.

Видит Петька, действительно что-то в руке у Сережки прыгает. Как не подойти!

А Сережка — мастер. Накрутит на палочку нитку, резинку. Вот у него и скачет на ладони какая-то штуковина — не то свинья, не то рыба.

— Хороший фокус?

— Хороший.

— Сейчас еще лучше покажу. Повернись спиной.

Только повернется Петька, а Сережка его сзади как дернет коленом, так Петька сразу головой в сугроб.

Вот тебе и американский...

Попадало и Ваське тоже. Однако когда Васька и Петька играли вдвоем, то Сережка их не трогал. Ого! Тронь только! Вдвоем-то они и сами храбрые.

Заболело однажды у Васьки горло, и не позволили ему на улицу выходить.

Мать к соседке ушла, отец — на переезд, встречать скорый поезд. Тихо дома.

Сидит Васька и думает: что бы это такое интересное сделать? Или фокус какой-нибудь? Или тоже ка-

кую-нибудь штуковину? Походил, походил из угла в угол — нет ничего интересного.

Подставил стул к шкапу. Открыл дверцу. Заглянул на верхнюю полку, где стояла завязанная банка с медом, и потыкал ее пальцем. Конечно, хорошо бы развязать банку да зачерпнуть меду столовой ложкой...

Однако он вздохнул и слез, потому что уже заранее знал, что такой фокус матери не понравится. Сел он к окну и стал поджидать, когда промчится скорый поезд.

Жаль только, что никогда не успеешь рассмотреть, что там, внутри скорого, делается.

Заревет, разбрасывая искры. Прогрохочет так, что вздрогнут стены и задребезжит посуда на полках. Сверкнет яркими огнями. Как тени, промелькнут в окнах чьи-то лица, цветы на белых столиках большого вагона-ресторана. Блеснут золотом тяжелые желтые ручки, разноцветные стекла. Пронесется белый колпак повара. Вот тебе и нет уже ничего. Только чуть виден сигнальный фонарь позади последнего вагона.

И никогда, ни разу не останавливался скорый на их маленьком разъезде.

Всегда торопится, мчится в какую-то очень далекую страну — Сибирь.

И в Сибирь мчится и из Сибири мчится. Очень, очень неспокойная жизнь у этого скорого поезда.

Сидит Васька у окна и вдруг видит, что идет по дороге Петька, как-то по-необыкновенному важно, а под мышкой какой-то сверток тащит. Ну, настоящий техник или дорожный мастер с портфелем.

Очень удивился Васька. Хотел в форточку закричать: «Куда это ты, Петька, идешь? И что там у тебя в бумаге завернуто?»

Но только он открыл форточку, как пришла мать и заругалась, зачем он с больным горлом на морозный воздух лезет.

Тут с ревом и грохотом промчался скорый. Потом сели обедать, и забыл Васька про странное Петькино хождение.

Однако на другой день видит он, что опять, как вчера, идет Петька по дороге и несет что-то, завернутое в газету. А лицо такое важное, ну прямо как дежурный на большой станции.

Забарабанил Васька кулаком по раме, да мать прикрикнула.

Так и прошел Петька мимо, своей дорогой.

Любопытно стало Ваське: что это с Петькой сделалось? То, бывало, он целыми днями или собак гоняет, или над маленькими командует, или от Сережки улепетывает, а тут идет важный, и лицо что-то уж очень гордое.

Вот Васька откашлялся потихоньку и говорит спокойным голосом:

— А у меня, мама, горло перестало болеть.

— Ну и хорошо, что перестало.

— Совсем перестало. Ну даже нисколько не болит. Скоро и мне гулять можно будет.

— Скоро можно, а сегодня сиди,— ответила мать,— ты ведь еще утром похрипывал.

— Так то утром, а сейчас уже вечер,— возразил Васька, придумывая, как бы попасть на улицу.

Он походил молча, выпил воды и тихонько запел песню. Он запел ту, которую слыхал летом от приезжих комсомольцев, о том, как под частыми разрывами гремучих гранат очень геройски сражался отряд коммунаров. Собственно, петь ему не хотелось, и пел он с тайной мыслью, что мать, услышав его пение, поверит

в то, что горло у него уже не болит, и отпустит на улицу. Но так как занятая на кухне мать не обращала на него внимания, то он запел погромче о том, как коммунары попали в плен к злобному генералу и какие он готовил им мучения.

Когда и это не помогло, он во весь голос запел о том, как коммунары, не испугавшись обещанных мучений, начали копать глубокую могилу.

Пел он не то чтобы очень хорошо, но зато очень громко, и так как мать молчала, то Васька решил, что ей понравилось пение и, вероятно, она сейчас же отпустит его на улицу.

Но едва только он подошел к самому торжественному моменту, когда окончившие свою работу коммунары дружно принялись обличать проклятого генерала, как мать перестала громыхать посудой и просунула в дверь рассерженное и удивленное лицо.

— И что ты, идол, разорался? — закричала она.— Я слушаю, слушаю... Думаю, или он с ума спятил? Орет, как Марьин козел, когда заблудится.

Обидно стало Ваське, и он замолчал. И не то обидно, что мать сравнила его с Марьиным козлом, а то, что понапрасну он только старался и на улицу его все равно сегодня не пустят.

Насупившись, он забрался на теплую печку. Положил под голову овчинный полушубок и под ровное мурлыканье рыжего кота Ивана Ивановича задумался над своей печальной судьбой.

Скучно! Школы нет. Пионеров нет. Скорый поезд не останавливается. Зима не проходит. Скучно! Хоть бы лето скорей наступило! Летом — рыба, малина, грибы, орехи.

И Васька вспомнил о том, как однажды летом,

всем на удивление, он поймал на удочку здоровенного окуня.

Дело было к ночи, и он положил окуня в сени, чтобы утром подарить его матери. А за ночь в сени прокрался негодный Иван Иванович и сожрал окуня, оставив только голову да хвост.

Вспомнив об этом, Васька с досадой ткнул Ивана Ивановича кулаком и сказал сердито:

— В другой раз за такие дела голову сверну!

Рыжий кот испуганно подпрыгнул, сердито мяукнул и лениво спрыгнул с печки. А Васька полежал-полежал, да и уснул.

На другой день горло прошло, и Ваську отпустили на улицу.

За ночь наступила оттепель. С крыш свесились толстые острые сосульки. Подул влажный, мягкий ветер. Весна была недалеко.

Хотел Васька бежать разыскивать Петьку, а Петька и сам навстречу идет.

— И куда ты, Петька, ходишь? — спросил Васька.— И почему ты, Петька, ко мне ни разу не зашел? Когда у тебя заболел живот, то я к тебе зашел, а когда у меня горло, то ты не зашел.

— Я заходил,— ответил Петька.— Я подошел к дому, да вспомнил, что мы с тобой недавно ваше ведро в колодце утопили. Ну, думаю, сейчас Васькина мать меня ругать начнет. Постоял я, постоял, да и раздумал заходить.

— Эх, ты! Да она уже давно отругалась и позабыла, а ведро батька из колодца еще позавчера достал. Ты вперед обязательно заходи... Что это за штуковина у тебя в газету завернута?

— Это не штуковина. Это книги. Одна книга для чтения, другая книга — арифметика. Я уже третий

день с ними хожу к Ивану Михайловичу. Читать-то я умею, а писать нет и арифметику нет. Вот он меня и учит. Хочешь, я тебе сейчас задам арифметику? Ну вот, ловили мы с тобой рыбу. Я поймал десять рыб, а ты три рыбы. Сколько мы вместе поймали?

— Что же это я как мало поймал? — обиделся Васька.— Ты десять, а я три. А помнишь, какого окуня я в прошлое лето выудил? Тебе такого и не выудить.

— Так ведь это же арифметика, Васька.

— Ну и что ж, что арифметика? Все равно мало. Я три, а он десять. У меня на удилище поплавок настоящий, а у тебя пробка, да и удилище-то у тебя кривое...

— Кривое? Вот так сказал! Отчего же это оно кривое? Просто скривилось немного, так я его уже давно выпрямил. Ну ладно, я поймал десять рыб, а ты семь.

— Почему же это я семь?

— Как почему? Ну, не клюет больше, вот и все.

— У меня не клюет, а у тебя почему-то клюет? Очень какая-то дурацкая арифметика.

— Экий ты, право! — вздохнул Петька.— Ну, пускай я десять рыб поймал и ты десять. Сколько всего будет?

— А много, пожалуй, будет,— ответил, подумав, Васька.

— «Много»! Разве так считают? Двадцать будет, вот сколько. Я теперь каждый день к Ивану Михайловичу ходить буду, он меня и арифметике научит и писать научит. А то что! Школы нет, так неученым дураком сидеть, что ли...

Обиделся Васька:

— Когда ты, Петька, за грушами лазил да упал и руку свихнул, то я тебе домой из лесу свежих орехов принес, да две железные гайки, да живого ежа. А ко-

гда у меня горло заболело, то ты без меня живо к Ивану Михайловичу пристроился. Ты, значит, будешь ученый, а я просто так? А еще товарищ...

Почувствовал Петька, что Васька правду говорит и про орехи и про ежа. Покраснел он, отвернулся и замолчал. Так помолчали они, постояли. И хотели уже разойтись поссорившись. Да только вечер был уж очень хороший, теплый.

И весна была близко, и на улице маленькие ребятки дружно плясали возле рыхлой снежной бабы...

— Давай ребятишкам из санок поезд сделаем,— неожиданно предложил Петька.— Я буду паровозом, ты — машинистом, а они — пассажирами. А завтра пойдем вместе к Ивану Михайловичу и попросим. Он добрый, он и тебя тоже научит. Хорошо, Васька?

— Еще бы плохо!

Так и не поссорились ребята, а еще крепче подружились. Весь вечер играли и катались с маленькими. А утром отправились вместе к доброму человеку, к Ивану Михайловичу.

2

Васька с Петькой шли на урок. Вредный Сережка выскочил из-за калитки и заорал:

— Эй, Васька! А ну-ка, сосчитай. Сначала я тебя три раза по шее стукну, а потом еще пять, сколько это всего будет?

— Пойдем, Петька, поколотим его,— предложил обидевшийся Васька.— Ты один раз стукнешь, да я один раз. Вдвоем мы справимся. Стукнем по разу, да и пойдем.

— А потом он нас поодиночке поймает да вздует,— ответил более осторожный Петька.



— Что это за штуковина у тебя в газету завернута?
— Это не штуковина. Это книги...

— А мы не будем поодиночке, мы будем всегда вместе. Ты вместе, и я вместе. Давай, Петька, стукнем по разу, да и пойдем.

— Не надо,— отказался Петька.— А то во время драки книжки изорвать можно. Лето будет, тогда мы ему зададим. И чтоб не дразнился и чтоб из нашей нырётки рыбы не вытаскивал.

— Все равно будет вытаскивать! — вздохнул Васька.

— Не будет. Мы в такое место нырётку закинем, что он никак не найдет.

— Найдет,— уныло возразил Васька.— Он хитрый, да и «кошка» у него хитрая, острая.

— Что ж, что хитрый! Мы и сами теперь хитрые. Тебе уже восемь лет, и мне восемь — значит, вдвоем нам сколько?

— Шестнадцать,— сосчитал Васька.

— Ну вот, нам шестнадцать, а ему девять. Значит, мы хитрее.

— Почему же шестнадцать хитрей, чем девять? — удивился Васька.

— Обязательно хитрей. Чем человек старей, тем он хитрей. Возьми-ка ты Павлика Припрыгина. Ему четыре года,— какая же у него хитрость? У него что хочешь выпросить или стянуть можно. А возьми-ка ты хуторского Данилу Егоровича. Ему пятьдесят лет, и хитрей его не найдешь. На него налогу двести пудов наложили, а он поставил мужикам водки, они ему спьяна-то какую-то бумагу и подписали. Пошел он с этой бумагой в район, ему полтораста пудов и скостили...

— А люди не так говорят,— перебил Васька.— Люди говорят, что он хитрый не оттого, что старый, а оттого, что кулак. Как по-твоему, Петька, что это та-

кое кулак? Почему один человек — как человек, а другой человек — как кулак?

— Богатый, вот и кулак. Ты вот бедный, так ты и не кулак. А Данила Егорович — кулак.

— Почему же это я бедный? — удивился Васька.— У нас батька сто двенадцать рублей получает. У нас поросенок есть, да коза, да четыре курицы. Какие же мы бедные? У нас отец рабочий человек, а не какой-нибудь вроде пропащего Епифана, который Христа ради побирается.

— Ну, пусть ты не бедный. Так у тебя отец сам работает, и у меня сам, и у всех сам. А у Данилы Егоровича на огороде летом четыре девки работали, да еще какой-то племянник приезжал, да еще какой-то будто бы свояк, да пьяный Ермолай сад сторожить нанимался. Помнишь, как тебя Ермолай крапивой отжучил, когда мы за яблоками лазили? Ух, и орал ты тогда! А я сижу в кустах и думаю: вот здорово Васька орет — не иначе, как Ермолай его крапивой жучит.

— Ты-то хорош,— нахмурился Васька.— Сам убежал, а меня оставил.

— Неужели дожидаться? — хладнокровно ответил Петька.— Я, брат, через забор, как тигр, перескочил. Он, Ермолай, успел меня всего только два раза хворостиной по спине протянуть. А ты копался, как индюк, вот тебе и попало.

...Давно когда-то Иван Михайлович был машинистом. До революции он был машинистом на простом паровозе. А когда пришла революция и началась гражданская война, то с простого паровоза перешел Иван Михайлович на бронированный.

Петька и Васька много разных паровозов видели. Знали они и паровоз системы «С» — высокий, легкий, быстрый, тот, что носится со скорым поездом в дале-

кую страну — Сибирь. Видали они и огромные трехцилиндровые паровозы «М» — те, что могли тянуть тяжелые, длинные составы на крутые подъемы, и неуклюжие маневровые «О», у которых и весь путь-то только от входного семафора до выходного. Всякие паровозы видали ребята. Но вот такого паровоза, какой был на фотографии у Ивана Михайловича, они не видали еще никогда. И паровоза такого не видали и вагонов не видали тоже.

Трубы нет. Колес не видно. Тяжелые стальные окна у паровоза закрыты наглухо. Вместо окон узкие продольные щели, из которых торчат пулеметы. Крыши нет. Вместо крыши низкие круглые башни, из тех башен выдвинулись тяжелые жерла артиллерийских орудий.

И ничего у бронепоезда не блестит: нет ни начищенных желтых ручек, ни яркой окраски, ни светлых стекол. Весь бронепоезд, тяжелый, широкий, как будто бы прижавшийся к рельсам, выкрашен в серо-зеленый цвет.

И никого не видно: ни машиниста, ни кондуктора с фонарями, ни главного со свистком.

Где-то там, внутри, за щитом, за стальной обшивкой, возле массивных рычагов, возле пулеметов, возле орудий, насторожившись, притаились красноармейцы, но все это закрыто, все спрятано, все молчит.

Молчит до поры до времени. Но вот прокрадется без гудков, без свистков бронепоезд ночью туда, где близок враг, или вырвется на поле, туда, где идет тяжелый бой красных с белыми. Ах, как резанут тогда из темных щелей гибельные пулеметы! Ух, как грохнут тогда из поворачивающихся башен залпы проснувшихся могучих орудий!

И вот однажды в бою ударил в упор очень тяжелый

снаряд по бронированному поезду. Прорвал снаряд обшивку и осколками оторвал руку военному машинисту Ивану Михайловичу.

С той поры Иван Михайлович уже не машинист. Получает он пенсию и живет в городе у старшего сына — токаря в паровозных мастерских. А на разъезд он приезжает в гости к своей сестре. Есть такие люди, которые поговаривают, что Ивану Михайловичу не только оторвало руку, но и зашибло снарядом голову, и что от этого он немного... ну, как бы сказать, не то что больной, а так, странный какой-то.

Однако ни Петька, ни Васька таким зловредным людям нисколько не верили, потому что Иван Михайлович был очень хороший человек. Одно только: курил Иван Михайлович уж очень много, да чуть-чуть вздрагивали у него густые брови, когда рассказывал он что-нибудь интересное про прежние года, про тяжелые войны, про то, как их белые начали да как их красные окончили.

А весна прорвалась как-то сразу. Что ни ночь — то теплый дождик, что ни день — то яркое солнце. Снег таял быстро, как куски масла на сковороде.

Хлынули ручьи, взломало на Тихой речке лед, распушилась верба, прилетели грачи и скворцы. И все это разом. Пошел всего десятый день, как нагрянула весна, а снегу уже нисколько, и грязь на дороге подсохла.

Вот однажды после урока, когда хотели ребята бежать на речку, чтобы посмотреть, намного ли спала вода, Иван Михайлович попросил:

— А что, ребята, не сбегаете ли в Алешино? Мне бы Егору Михайлову записку передать надо. Отнесите ему доверенность с запиской. Он за меня в городе пенсию получит и сюда привезет.

— Мы сбегаем,— живо ответил Васька.— Мы очень даже быстро сбегаем, прямо как кавалерия.

— Мы знаем Егора,— подтвердил Петька.— Это тот Егор, который председатель? У него ребята есть: Пашка да Машка. Мы в прошлом году с его ребятами в лесу малину собирали. Мы по целому лукошку набрали, а они — чуть на донышке, потому что малы еще и никак вперед нас не поспеют.

— Вот к нему и сбегайте,— сказал Иван Михайлович.— Мы с ним старые друзья. Когда я на броневике машинистом был, он, Егор, еще молодой тогда парнишка, кочегаром у меня работал. Когда прорвало снарядом обшивку и отхватило мне осколком руку, мы вместе были. После взрыва я еще минуту-другую в памяти оставался. Ну, думаю, пропало дело. Парнишка еще несмышленый, машину почти не знает. Один остался на паровозе. Разобьет он и погубит весь броневик. Двинулся я, чтобы задний ход дать и машину из боя вывести. А в это время от командира сигнал: «Полный вперед!» Оттолкнул меня Егор в угол на кучу обтирочной пакли, а сам как рванется к рычагу: «Есть полный ход вперед!» Тут закрыл я глаза и думаю: «Ну, пропал броневик».

Очнулся, слышу — тихо. Бой окончился. Глянул — рука у меня рубахой перевязана. А сам Егорка полуголый... Весь мокрый, губы запеклись, на теле — ожоги. Стоит он и шатается — вот-вот упадет. Целых два часа один в бою машиной управлял. И за кочегара, и за машиниста, и со мной возился за лекаря...

Брови Ивана Михайловича вздрогнули, он замолчал и покачал головой, то ли над чем задумавшись, то ли что-то припоминая. А ребятишки молча стояли, ожидая, не расскажет ли Иван Михайлович еще чего-ни-

будь, и удивлялись очень, что Пашкин и Машкин отец, Егор, оказался таким героем, потому что он вовсе не был похож на тех героев, которых видели ребята на картинках, висевших в красном уголке на разъезде. Те герои рослые, и лица у них гордые, а в руках у них красные знамена или сверкающие сабли. А Пашкин да Машкин отец был невысокий, лицо у него было в веснушках, глаза узкие, прищуренные. Носил он простую черную рубаху и серую клетчатую кепку. Одно только, что упрямый был и если уж что заладит, то так и не отстанет, пока своего не добьется.

Об этом ребята и в Алешине от мужиков слышали и на разъезде слышали тоже.

Иван Михайлович написал записку, дал ребятам по лепешке, чтобы в дороге не проголодались. И Васька с Петькой, сломав по хлыстику из налившегося соком ракитника, подхлестывая себя по ногам, дружным галопом понеслись под горку.

3

Проезжей дорогой в Алешино — девять километров, а прямой тропкой — всего пять.

Возле Тихой речки начинается густой лес. Этот лес без конца-краю тянется куда-то очень далеко. В том лесу — озера, в которых водятся крупные, блестящие, как начищенная медь, караси, но туда ребята не ходят: далеко, да и заблудиться в болоте нетрудно. В том лесу много малины, грибов, орешника. В крутых оврагах, по руслу которых бежит из болота Тихая речка, по прямым скатам из ярко-красной глины водятся в норах ласточки. В кустарниках прячутся ежи, зайцы и другие безобидные зверюшки. Но дальше, за озерами, в верховьях реки Синявки, куда зимой уезжают мужи-

ки рубить для сплава строевой лес, встречали лесорубы волков и однажды наткнулись на старого, облезлого медведя.

Вот какой замечательный лес широко раскинулся в тех краях, где жили Петька и Васька!

И по этому, то по веселому, то по угрюмому, лесу с пригорка на пригорок, через ложбинки, через жердочки поперек ручьев бодро бежали ближней тропкой посланные в Алешино ребята.

Там, где тропка выходила на проезжую дорогу, в одном километре от Алешина, стоял хутор богатого мужика Данилы Егоровича.

Здесь запыхавшиеся ребятишки остановились у колодца напиться.

Данила Егорович, который тут же поил двух сытых коней, спросил у ребят, откуда они и зачем бегут в Алешино. И ребята охотно рассказали ему, кто они такие и какое у них в Алешине дело до председателя Егора Михайлова.

Они поговорили бы с Данилой Егоровичем и подольше, потому что им было любопытно посмотреть на такого человека, про которого люди поговаривают, что он кулак, но тут они увидели, что со двора выходят к Даниле Егоровичу три алешинских крестьянина, а позади них идет хмурый и злой, вероятно с похмелья, Ермолай. Заметив Ермолая, того самого, который отжучил однажды Ваську крапивой, ребята двинулись от колодца рысью и вскоре очутились в Алешине, на площади, где собрался народ для какого-то митинга.

Но ребята, не задерживаясь, побежали дальше, на окраину, решив на обратном пути от Егора Михайлова разузнать, почему народ и что это такое интересное затевается.

Однако дома у Егора они застали только его ребятишек — Пашку да Машку. Это были шестилетние близнецы, очень дружные между собой и очень похожие друг на друга.

Как и всегда, они играли вместе. Пашка строгал какие-то чурочки и планочки, а Машка мастерила из них на песке, как показалось ребятам, не то дом, не то колодец.

Впрочем, Машка объяснила им, что это не дом и не колодец, а сначала был трактор, теперь же будет аэроплан.

— Эх, вы! — сказал Васька, бесцеремонно тыкая в аэроплан ракитовым хлыстиком.— Эх вы, глупый народ! Разве аэропланы из щепок делают? Их делают совсем из другого. Где ваш отец?

— Отец на собрание пошел,— добродушно улыбаясь, ответил нисколько не обидевшийся Пашка.

— Он на собрание пошел,— поднимая на ребят голубые, чуть-чуть удивленные глаза, подтвердила Машка.

— Он пошел, а дома только бабка лежит на печи и ругается,— добавил Пашка.

— А бабка лежит и ругается,— пояснила Машка.— И, когда папанька уходил, она тоже ругалась. Чтобы, говорит, ты сквозь землю провалился со своим колхозом.

И Машка обеспокоенно посмотрела в ту сторону, где стояла изба и где лежала недобрая бабка, которая хотела, чтобы отец провалился сквозь землю.

— Он не провалится,— успокоил ее Васька.— Куда же он провалится? Ну, топни сама ногами о землю, и ты, Пашка, тоже топни. Да сильней топайте! Ну вот, не провалились? А ну, еще покрепче топайте!

И, заставив несмышленых Пашку и Машку усердно топать, пока те не запыхались, довольные своей озорной выдумкой ребятишки отправились на площадь, где уже давно началось неспокойное собрание.

— Вот так дела! — сказал Петька, после того как потолкались они среди собравшегося народа.

— Интересные дела,— согласился Васька, усаживаясь на край толстого, пахнувшего смолою бревна и доставая из-за пазухи кусок лепешки.

— Ты куда было пропал, Васька?

— Напиться бегал. И что это так разошлись мужики? Только и слышно: колхоз да колхоз. Одни ругают колхоз, другие говорят, что без колхоза никак нельзя. Мальчишки и то схватываются. Ты знаешь Федьку Галкина? Ну, рябой такой.

— Знаю.

— Так вот. Я пить бегал и видел, как он сейчас с каким-то рыжим подрался. Тот, рыжий, выскочил, да и запел: «Федька-колхоз — поросячий нос». А Федька рассердился на такое пение, и началась у них драка. Я уж тебе крикнуть хотел, чтобы ты посмотрел, как они дерутся. Да тут какая-то горбатая бабка гусей гнала и обоих мальчишек хворостиной огрела — ну, они и разбежались.

Васька посмотрел на солнце и забеспокоился.

— Пойдем, Петька, отдадим записку. Пока добежим домой, уж вечер будет. Как бы не попало дома.

Проталкиваясь через толпу, увертливые ребята добрались до груды бревен, возле которых за столом сидел Егор Михайлов.

Пока приезжий человек, забравшись на бревна, объяснял крестьянам, какая выгода идти в колхоз, Егор негромко, но настойчиво убеждал в чем-то накло-

нившихся к нему двух членов сельсовета. Те покачивали головами, а Егор, по-видимому сердитый на них за их нерешительность, еще упорней доказывал им что-то вполголоса, стыдил их.

Когда озабоченные члены сельсовета отошли от Егора, Петька молча сунул ему доверенность и записку. Егор развернул бумажку, но не успел прочитать, потому что на сваленные бревна влез новый человек, и в этом человеке ребята узнали одного из тех мужиков, с которыми они встретились у колодца на хуторе Данилы Егоровича. Мужик говорил, что колхоз — это, конечно, дело новое и что сразу всем в колхоз соваться нечего. Записались сейчас в колхоз десять хозяйств, ну и пусть работают. Ежели у них пойдет дело, то и другим вступить не поздно будет, а если дело не пойдет, тогда, значит, в колхоз идти нет расчета и нужно работать по-старому.

Он говорил долго, и, пока он говорил, Егор Михайлов все еще держал развернутую записку не читая. Он щурил узкие рассерженные глаза и, насторожившись, внимательно вглядывался в лица слушающих крестьян.

— Подкулачник! — с ненавистью сказал он, теребя пальцами сунутую ему записку.

Тогда Васька, опасаясь, как бы Егор нечаянно не скомкал доверенность Ивана Михайловича, тихонько дернул председателя за рукав:

— Дяденька Егор, прочти, пожалуйста. А то нам домой бежать надо.

Егор быстро прочитал записку и сказал ребятам, что все сделает, что в город он поедет как раз через неделю, а до тех пор обязательно сам зайдет к Ивану Михайловичу. Он хотел еще что-то добавить, но тут мужик окончил свою речь, и Егор, сжимая в руке свою

клетчатую кепку, вскочил на бревна и начал говорить быстро и резко.

А ребята, выбравшись из толпы, помчались по дороге на разъезд.

Пробегая мимо хутора, они не заметили ни Ермолая, ни свояка, ни племянника, ни хозяйки — должно быть, все были на собрании. Но сам Данила Егорович был дома. Он сидел на крыльце, курил старую, кривую трубку, на которой была вырезана чья-то смеющаяся рожа, и казалось, что он был единственным человеком в Алешине, которого не смущало, не радовало и не задевало новое слово — колхоз.

Пробегая берегом Тихой речки через кусты, ребята услышали всплеск, как будто кто-то бросил в воду тяжелый камень.

Осторожно подкравшись, они увидели Сережку, который стоял на берегу и смотрел туда, откуда по воде расплывались ровные круги.

— Нырётку забросил,— догадались ребята и, хитро переглянувшись, тихонько поползли назад, запоминая на ходу это место.

Они выбрались на тропку и, обрадованные необыкновенной удачей, еще быстрее припустились к дому, тем более что слышно было, как загрохотало по лесу эхо от скорого поезда: значит, было уже пять часов. Значит, Васькин отец, свернув зеленый флаг, входил уже в дом, а Васькина мать уже доставала из печи горячий обеденный горшок.

Дома тоже зашел разговор про колхоз. А разговор начался с того, что мать, уже целый год откладывавшая деньги на покупку коровы, еще с зимы присмотрела у Данилы Егоровича годовалую телку и к лету надеялась выкупить ее и пустить в стадо. Теперь же, прослышав про то, что в колхоз будут принимать толь-

ко тех, кто перед вступлением не будет резать или продавать на сторону скотину, мать забеспокоилась о том, что, вступая в колхоз, Данила Егорович отведет туда телку, и тогда ищи другую, а где ее такую найдешь?

Но отец был человек толковый, он читал каждый день железнодорожную газету «Гудок» и понимал, что к чему идет.

Он засмеялся над матерью и объяснил ей, что Данилу Егоровича ни с телкой, ни без телки к колхозу и на сто шагов подпускать не полагается, потому что он кулак. А колхозы — они на то и создаются, чтобы можно было жить без кулаков. И что, когда в колхоз войдет все село, тогда и Даниле Егоровичу, и мельнику Петунину, и Семену Загребину придет крышка, то есть рушатся все их кулацкие хозяйства.

Однако мать напомнила о том, как с Данилы Егоровича в прошлом году списали полтораста пудов налога, как его побаиваются мужики и как почему-то все выходит так, как ему нужно. И она сильно усомнилась в том, чтобы хозяйство у Данилы Егоровича рушилось, а даже, наоборот, высказала опасение, как бы не рушился сам колхоз, потому что Алешино — деревня глухая, кругом лес да болота, научиться по-колхозному работать не у кого и помощи от соседей ждать нечего.

Отец покраснел и сказал, что с налогом — это дело темное и не иначе, как Данила Егорович кому-то очки втер да кого-то обжулил, а ему не каждый раз пройдет, и что за такие дела недолго попасть куда следует. Но заодно он обругал и тех дураков из сельсовета, которым Данила Егорович скрутил голову, и сказал, что если бы это случилось теперь, когда председателем Егор Михайлов, то при нем такого безобразия не получилось бы.

...Пока отец с матерью спорили, Васька съел два куска мяса, тарелку щей и будто бы нечаянно запихал в рот большой кусок сахару из сахарницы, которую мать поставила на стол, потому что отец сразу же после обеда любил выпить стакан-другой чаю. Однако мать, не поверив в то, что он это сделал нечаянно, турнула его из-за стола, и он, захныкав больше по обычаю, чем от обиды, полез на теплую печку к рыжему коту Ивану Ивановичу, и, по обыкновению, очень скоро задремал.

То ли ему это приснилось, то ли он правда слышал сквозь дрёму, а только ему показалось, что отец рассказывал про какой-то новый завод, про какие-то постройки, про каких-то людей, которые ходят и чего-то ищут по оврагам и по лесу, и будто бы мать все удивлялась, все не верила, все ахала да охала.

Потом, когда мать стащила его с печки, раздела и положила спать на лежанку, ему приснился настоящий сон: будто бы в лесу горит очень много огней, будто бы по Тихой речке плывет большой, как в синих морях, пароход и еще будто бы на том пароходе уплывает он с товарищем Петькой в очень далекие и очень прекрасные страны...

4

Дней через пять после того, как ребята бегали в Алешино, после обеда, они украдкой направились к Тихой речке, чтобы посмотреть, не попалась ли в их нырётку рыба.

Добравшись до укромного места, они долго шарили по дну «кошкой», то есть маленьким якорем из выгнутых гвоздей. Чуть не оборвали бечеву, зацепивши крючьями за тяжелую корягу. Вытащили на берег целую кучу скользких, пахнувших тиной водорослей. Однако нырётки не было.

— Ее Сережка утащил! — захныкал Васька.— Я тебе говорил, что он нас выследит. Вот он и выследил. Я тебе говорил: давай на другое место закинем, а ты не хотел.

— Так ведь это и есть уже другое место,— рассердился Петька.— Ты же сам это место выбрал, а теперь все на меня сваливаешь. Да не хныкай ты, пожалуйста. Мне и самому жалко, а я не хныкаю.

Васька притих, но ненадолго.

А Петька предложил:

— Помнишь, когда мы в Алешино бежали, то Сережку у речки возле обгорелого дуба видели? Пойдем туда да пошарим. Может быть, его нырётку вытащим. Он — нашу, а мы — его. Пойдем, Васька. Да не хныкай ты, пожалуйста,— такой здоровый и толстый, а хныкает. Почему я никогда не хныкаю? Помнишь, когда меня сразу три пчелы за босую ногу ухватили, и то я не хныкал.

— Вот так не хныкал! — насупившись, ответил Васька.— Как заревел тогда, я даже лукошко с земляникой с перепугу выронил.

— Ничего не заревел. Ревут — это когда слезы катятся, а я просто заорал, потому что испугался, да и больно. Поорал три секунды и перестал. А вовсе нисколько не ревел и не хныкал. Бежим, Васька!

Добравшись до берега, что возле обгорелого дуба, они долго обшаривали дно.

Возились-возились, устали, забрызгались, но ни своей, ни Сережкиной нырётки не нашли. Тогда, огорченные, они уселись на бугорок под кустом распускающейся вербы и, посоветовавшись, решили с завтрашнего же дня начать за Сережкой хитрую слежку, чтобы найти то место, куда он ходит перекидывать обе нырётки.

Чьи-то шаги, правда еще далекие, заставили ребя-

тишек настороженно, и они проворно нырнули в гущу куста.

Однако это был не Сережка. По тропке из Алешина неторопливо шли двое крестьян. Один—незнакомый и, кажется, нездешний. Другой—дядя Серафим, небогатый алешинский мужик, на которого часто валились всякие несчастья: то у него лошадь околела, то у него рожь кони вытоптали, то у него крыша сарая обвалилась и задавила поросенка да гусенка. И так каждый год что-нибудь с дядей Серафимом случалось.

Был он крепко трудящимся, но неудачливым и запуганным неудачами мужиком.

Дядя Серафим нес на разъезд рыжие охотничьи сапоги, на которые он накладывал заплаты за два целковых, обещанных ему Васькиным отцом.

Оба мужика шли и ругали Данилу Егоровича. Ругал его тот, который был незнакомый, не алешинский, а дядя Серафим слушал и уныло поддакивал.

За что незнакомый ругал Данилу Егоровича, этого ребята толком не поняли. Выходило как-то так, что Данила Егорович что-то купил у мужика по дешевой цене и обещал мужику уступить в долг три мешка овса, а когда мужик приехал, то Данила Егорович заломил такую цену, какой и в городе-то на базаре нет, и говорил, что это еще божеская цена, потому что к севу овес поднимется еще вполовину.

Когда оба хмурых крестьянина прошли мимо, ребятишки выбрались из кустов и опять уселись на теплый зеленеющий бугор. Вечерело. От речки потянуло сыростью и запахом прибрежного ракитника. Куковала кукушка, и в красных лучах солнца кружилась кучками мелкая, как пыль, бесшумная весенняя мошкара.

Но вот среди тишины, сначала далекий и тихий, как

жужжание пчелиного роя, послышался из-за розовых облаков странный гул.

Потом, оторвавшись от круглого толстого облака, сверкнула в небе светлая, как будто серебряная, точка. Она все увеличивалась. Вот уже у нее обозначились две пары распластанных крыльев... Вот уже вспыхнули на крыльях две пятиконечные звездочки...

И весь аэроплан, могучий и красивый, быстрее, чем самый быстрый паровоз, но легче, чем самый быстролетный степной орел, с веселым рокотом сильных моторов плавно пронесся над темным лесом, над пустынным разъездом и над Тихой речкой, у берега которой сидели ребятишки.

— Далеко полетел! — тихо сказал Петька, не отрывая глаз от удаляющегося аэроплана.

— В дальние страны! — сказал Васька и вспомнил недавний хороший сон. — Они, аэропланы, всегда летают только в дальние. В ближние что? В ближние и на лошади можно доехать. Аэропланы — в дальние. Мы когда вырастем, Петька, то тоже — в дальние. Там есть и города, и огромнющие заводы, и большущие вокзалы. А у нас нет.

— У нас нет,— согласился Петька.— У нас только один разъезд да Алешино, да больше ничего...

Ребятишки замолчали и, удивленные и обеспокоенные, подняли головы. Гул опять усиливался. Сильная стальная птица возвращалась, опускаясь все ниже. Теперь уже были видны маленькие колеса и светлый, блестящий диск сверкающего на солнце пропеллера.

Точно играя, машина скользнула, накреняясь на левое крыло, завернула и сделала несколько широких кругов над лесом, над алешинскими лугами, над Тихой речкой, на берегу которой стояли изумленные и обрадованные мальчуганы.

— А ты... а ты говорил: только в дальние,— волнуясь и запинаясь, сказал Петька.— Разве же у нас дальние?

Машина опять взвилась кверху и вскоре исчезла, только изредка мелькая в просветах между толстыми розовыми тучами.

«И зачем он над нами кружился?» — думали ребята, торопливо пробираясь к разъезду, чтобы поскорей рассказать, что они видели.

Они были заняты догадками, зачем прилетал аэроплан и что он высматривал, и почти не обратили внимания на одинокий выстрел, глухо раздавшийся где-то далеко позади них.

Вернувшись домой, Васька еще застал дядю Серафима, которого угощали чаем.

Дядя Серафим рассказывал про алешинские дела. В колхоз пошло полдеревни. Вошло и его хозяйство. Остальная половина выжидала, что будет. Собрали паевые взносы и три тысячи на акции Трактороцентра. Но сеять будет в эту весну каждый на своей полосе, потому что земля колхозу к одному месту еще не выделена.

Успели выделить только покос на левом берегу Тихой речки.

Однако и тут случилось неладное. У мельника Петунина прорвало плотину, и вода вся ушла, не разлившись по протокам левого берега.

От этого трава должна быть плохая, потому что луга заливные и хороший урожай на них бывает только после большой воды.

— У Петунина прорвало? — недоверчиво переспросил отец.— Что это у него раньше не прорывало?

— А кто его знает,— уклончиво ответил дядя Серафим.— Может, вода прорвала, а может, и еще как.



...Гул опять усиливался.

— Жулик этот Петунин,— сказал отец.— Что он, что Данила Егорович, что Семен Загребин—одна компания. Ну, как они, сердятся?

— Да как сказать,— ответил хмурый дядя Серафим.— Данила — тот ходит, как бы его не касается. Ваше, говорит, дело. Хотите — в колхоз, хотите — в совхоз. Я тут ни при чем. Петунин — мельник,— тот действительно озлобился. Скрывает, а видать, что озлобился. В колхозный луг и его участок попал. А какой у него участок? Ха-а-роший участок! Ну, а Загребин? Сам знаешь Загребина. У этого всё шуточки да прибауточки. Недавно по почте плакаты прислали и лозунги разные. Ну вот, сторож Бочаров пошел их по деревне расклеивать. Где к забору, где к стене приклеит. Проходит он мимо избы Загребина и сомневается: вешать или не вешать? Как бы хозяин не заругался. А Загребин вышел из ворот и смеется: «Что же не вешаешь? Эх ты, колхозная голова! Другим праздник, а мне будни, что ли?» Взял два самых больших плаката, да и повесил.

— Ну, а Егор Михайлов как? — спросил отец.

— Егор Михайлов? — ответил дядя Серафим, отодвигая допитый стакан.— Егор — крепкий человек, да что-то про него много неладного болтают.

— Что болтают?

— Вот, к примеру, говорят, что когда он два года в отлучке был, то будто его откуда-то прогнали за плохие дела. Будто бы чуть под суд не отдали. То ли у него с деньгами что-то неладное вышло, то ли еще как.

— Зря болтают,—уверенно возразил Васькин отец.

— Надо бы думать, что зря. А еще болтают,— тут дядя Серафим покосился на Васькину мать и на Ваську,— будто бы в городе у него эта самая есть... ну,

невеста, что ли,— добавил он после некоторой заминки.

— Ну и что же, что невеста? Пускай женится. Он вдовый. Пашке да Машке мать будет.

— Городская,— с усмешкой пояснил дядя Серафим.— Барышня там или еще как. Ей богатого нужно, а у него какое жалованье?.. Ну, я пойду,— сказал дядя Серафим поднимаясь.— Спасибо за угощение.

— Может быть, ночевать останешься?—предложили ему.— А то, гляди, темень какая. По проселку идти придется. Тропкой-то в лесу еще заплутаешься.

— Не заплутаю,— отозвался дядя Серафим.— По этой тропке в двадцатом с партизанами ух сколько было исхожено!

Он нахлобучил потрепанную соломенную шляпу с большими обвислыми полями и, заглянув в окно, добавил:

— Эк, звезд сколько повысыпало, да и луна скоро взойдет — светло будет!

5

Ночи были еще прохладные, но Васька, забрав старое ватное одеяло да остатки овчинного тулупа, перебрался спать на сеновал.

Еще с вечера он условился с Петькой, что тот разбудит его пораньше и они пойдут ловить на червяка плотву.

Но, когда проснулся, было уже поздно — часов девять, а Петьки не было.

Очевидно, Петька и сам проспал.

Васька позавтракал жареной картошкой с луком, сунул в карман кусок хлеба, посыпанный сахарным

песком, и побежал к Петьке, собираясь выругать его сонулей и лодырем.

Однако дома Петьки не было. Васька зашел в дровяной сарай — удилища были здесь. Но Ваську очень удивило то, что они не стояли в углу, на месте; а, точно наспех брошенные, кое-как, валялись посреди сарая. Тогда Васька вышел на улицу, чтобы расспросить у маленьких ребятишек, не видали ли они Петьки. На улице он встретил только одного четырехлетнего Павлика Припрыгина, который упорно пытался сесть верхом на большую рыжую собаку. Но едва только он с пыхтеньем и сопеньем поднимал ноги, чтобы оседлать ее, Кудлаха перевертывалась и, лежа кверху брюхом, лениво помахивая хвостом, отталкивала Павлика своими широкими, неуклюжими лапами.

Павлик Припрыгин сказал, что Петьки он не видал, и попросил у Васьки помочь ему взобраться на Кудлаху.

Но Ваське было не до того. Раздумывая, куда бы это мог пропасть Петька, он пошел дальше и вскоре натолкнулся на Ивана Михайловича, читавшего, сидя на завалинке, газету.

Иван Михайлович Петьку не видал тоже. Васька огорчился и сел рядом.

— Про что это ты, Иван Михайлович, читаешь? — спросил он, заглядывая через плечо.— Ты читаешь, а сам улыбаешься. История какая-нибудь или что?

— Про наши места читаю. Тут, брат Васька, написано, что собрались строить возле нашего разъезда завод. Огромный заводище. Алюминий — металл такой — из глины добывать будут. Богатые, пишут, места у нас насчет этого алюминия. А мы живем — глина, думаем. Вот тебе и глина!

И, как только Васька услыхал про это, он тотчас

же соскочил с завалинки, чтобы бежать к Петьке и первым сообщить ему эту удивительную новость. Но, вспомнив, что Петька куда-то пропал, он уселся опять, расспрашивая Ивана Михайловича о том, как будут строить, на каком месте и высокие ли у завода будут трубы.

Где будут строить, этого Иван Михайлович еще и сам не знал, но насчет труб он разъяснил, что их вовсе не будет, потому что завод будет работать на электричестве. Для этого хотят построить плотину поперек Тихой речки. Поставят такие турбины, которые будут крутиться от напора воды и вертеть динамо-машины, а от этих динам пойдет по проволокам электрический ток.

Услыхав о том, что и Тихую речку собираются перегораживать, изумленный Васька снова вскочил, но, вспомнив опять, что Петьки нет, обозлился на него всерьез:

— И что за дурак! Тут такие дела, а он шляется.

В конце улицы он заметил маленькую шуструю девчонку, Вальку Шарапову, которая вот уже несколько минут прыгала на одной ноге вокруг колодезного сруба. Он хотел пойти к ней и спросить, не видала ли она Петьку, но его задержал Иван Михайлович:

— Вы когда в Алешино бегали, ребята? В субботу или в пятницу?

— В субботу,— вспомнил Васька.— В субботу, потому что у нас в тот вечер баню топили.

— В субботу. Значит, уже неделя прошла. Что же это Егор Михайлов ко мне не заходит?

— Егор-то? Да он, Иван Михайлович, кажется, еще вчера в город уехал. У нас вечером алешинский дядя Серафим чай пил и говорил, что Егор уже уехал.

— Что же это он не зашел? — с досадой сказал

Иван Михайлович.— Обещался зайти и не зашел. А я-то хотел попросить, чтобы он в городе трубку мне купил.

Иван Михайлович сложил газету и пошел в дом, а Васька направился к Вальке спрашивать про Петьку.

Но он совсем позабыл о том, что еще только вчера надавал ей за что-то шлепков, и поэтому он был очень удивлен, когда, завидев его, бойкая Валька показала ему язык и со всех ног бросилась улепетывать к дому.

Между тем Петька был вовсе неподалеку.

Пока Васька бродил, раздумывая о том, куда исчез его товарищ, Петька сидел в кустах, позади огородов, и с нетерпением ожидал, когда Васька уйдет к себе во двор.

Он не хотел сейчас встречаться с Васькой, потому что за это утро с ним произошел странный и, пожалуй, даже неприятный случай.

Проснувшись рано, как и было условлено, он взял удилища и направился будить Ваську. Но едва только он высунулся из калитки, как увидал Сережку.

Не было никакого сомнения в том, что Сережка направлялся к реке осматривать нырётки. Не подозревая, что Петька за ним подглядывает, он шел мимо огородов к тропке, на ходу складывая бечевку от железной «кошки».

Петька вернулся во двор, бросил на пол сарая удилища и побежал вслед за Сережкой, который скрылся уже в кустах.

Сережка шел, весело насвистывая на самодельной деревянной дудочке.

И это было очень на руку Петьке, потому что он мог следовать на некотором отдалении, не подвергаясь опасности быть замеченным и поколоченным.

Утро было солнечное, гомонливое. Всюду лопались почки. Из земли пробивалась свежая трава. Пахло росою, березовым соком, и на желтых гроздьях цветущих ив дружно жужжали вылетевшие за добычей пчелы.

Оттого, что утро было такое хорошее, и оттого, что он так удачно выследил Сережку, Петьке было весело, и он легко и осторожно пробирался по кривой узенькой тропке.

Так прошло с полчаса, и они приближались к тому месту, где Тихая речка, делая крутой поворот, уходила в овраги.

«Далеко забирается... хитрый»,— подумал Петька, уже заранее торжествуя при мысли о том, как, захватив «кошку», побегут они с Васькой к реке, выловят и свою и Сережкину нырётки и перекинут их на такое место, где Сережке их уже и вовек не найти.

Посвистывание деревянной дудки внезапно смолкло.

Петька прибавил шагу. Прошло несколько минут— опять тихо.

Тогда, обеспокоенный, стараясь не топать, он побежал и, очутившись у поворота, высунул из кустов голову: Сережки не было.

Тут Петька вспомнил, что немного раньше в сторону уходила маленькая тропка, которая вела к тому месту, где Филькин ручей впадал в Тихую речку. Он вернулся к устью ручья, но и там Сережки не было.

Ругая себя за ротозейство и недоумевая, куда это мог скрыться Сережка, он вспомнил и о том, что немного выше по течению Филькина ручья есть маленький пруд. И хотя он никогда не слыхал, чтобы в том пруду ловили рыбу, но все же решил сбегать туда, потому что кто его, Сережку, знает! Он такой хитрый, что разыскал что-нибудь и там.

Вопреки его предположениям, пруд оказался не так близко.

Он был очень мал, весь зацвел тиной, и, кроме лягушек, в нем ничего хорошего водиться не могло.

Сережки и тут не было.

Обескураженный, Петька отошел к Филькину ручью, напился воды, такой холодной, что больше одного глотка без передышки нельзя было сделать, и хотел идти назад.

Васька, конечно, уже проснулся. Если не говорить Ваське, отчего его не разбудил, то Васька рассердится. А если сказать, то Васька будет насмехаться: «Эх, ты, не уследил! Вот я бы... Вот от меня бы...»—и так далее.

И вдруг Петька увидел нечто такое, что заставило его сразу позабыть и о Сережке, и о нырётках, и о Ваське.

Вправо, не дальше как в сотне метров, из-за кустов выглянула острая вышка брезентовой палатки. И над нею поднималась узенькая прозрачная полоска — дым от костра.

6

Сначала Петька просто испугался. Он быстро пригнулся и опустился на одно колено, настороженно оглядываясь по сторонам.

Было очень тихо. Так тихо, что ясно слышались веселое бульканье холодного Филькиного ручья и жужжание пчел, облепивших дупло старой, покрытой мхами березы.

И оттого, что было так тихо, и оттого, что лес был приветлив и озарен пятнами теплого солнечного света, Петька успокоился и осторожно, но уже не из боязни, а просто по хитрой мальчишеской привычке, прячась за кусты, начал подбираться к палатке.

«Охотники? — гадал он.— Нет, не охотники... Зачем они с палаткой приедут? Рыболовы? Нет, не рыболовы — от берега далеко. Но если не охотники и не рыболовы, то кто же? А вдруг разбойники?» — подумал он и вспомнил, что в одной старой книге он видел картинку: тоже в лесу палатка; возле той палатки сидят и пируют свирепые люди, а рядом с ними сидит очень худая и очень печальная красавица и поет им песню, перебирая длинные струны какого-то замысловатого инструмента.

От этой мысли Петьке стало не по себе. Губы его задрожали, он заморгал и хотел было попятиться назад. Но тут в просвете между кустами он увидал натянутую веревку, и на той веревке висели, по-видимому еще мокрые после стирки, самые обыкновенные подштанники и две пары синих заплатанных носков.

И эти сырые подштанники и заплатанные, болтающиеся по ветру носки как-то сразу успокоили его, и мысль о разбойниках показалась ему смешной и глупой. Он пододвинулся ближе. Теперь ему было видно, что ни около палатки, ни в самой палатке никого нет.

Он разглядел два набитых сухими листьями тюфяка и большое серое одеяло. Посреди палатки на разостланном брезенте валялись какие-то синие и белые бумаги, несколько кусков глины и камней, таких, какие часто попадаются на берегах Тихой речки; тут же лежали какие-то тускло поблескивающие и незнакомые Петьке предметы.

Костер слабо дымился. Возле костра стоял большой, перепачканный сажей жестяной чайник. На примятой траве валялась большая белая кость, обглоданная, очевидно, собакой.

Осмелевший Петька подобрался к самой палатке. Прежде всего его заинтересовали незнакомые металли-

ческие предметы. Один — треногий, как подставка у заезжавшего в прошлом году фотографа. Другой — круглый, большой, с какими-то цифрами и протянутой поперек круга ниткой. Третий — тоже круглый, но поменьше, похожий на ручные часы, с острой стрелкой.

Он поднял этот предмет. Стрелка колыхнулась, заколебалась, и опять стала на место.

«Компас»,— догадался Петька, припоминая, что про такую штуковину он читал в книжке.

Чтобы проверить это, он обернулся кругом.

Тонкая острая стрелка тоже повернулась и, несколько раз качнувшись, черным концом показала в ту сторону, где на опушке высилась старая раскидистая сосна. Петьке это понравилось. Он обошел вокруг палатки, завернул за куст, завернул за другой и перекрутился на месте десять раз, рассчитывая обмануть и запутать стрелку. Но едва только он остановился, как лениво качнувшаяся стрелка с прежним упорством и настойчивостью зачерненным острием показала Петьке, что ее, сколько ни вертись, все равно не обманешь. «Как живая»,— подумал восхищенный Петька, сожалея, что у него нет такой замечательной штуки. Он вздохнул и раздумывал, положить компас на место или нет (возможно, что он положил бы). Но в это самое время от противоположной опушки отделилась огромная лохматая собака и с громким лаем устремилась к нему.

Испуганный Петька взвизгнул и бросился бежать напролом через кусты.

Собака с яростным лаем неслась за ним и, конечно, догнала бы его, если бы не Филькин ручей, через который по колено в воде перебрался Петька.

Добежав до ручья, который был в этом месте широк, собака заметалась по берегу, отыскивая, где можно было бы перепрыгнуть.



А Петька... понесся вперед, прыгая через пни, через коряги и кочки...

А Петька, не дожидаясь, пока это случится, понесся вперед, прыгая через пни, через коряги и кочки, как преследуемый гончими заяц.

Он остановился передохнуть только тогда, когда очутился уже на берегу Тихой речки.

Облизывая пересохшие губы, он подошел к реке, напился и, учащенно дыша, тихонько зашагал к дому, чувствуя себя не очень-то хорошо.

Конечно, он не взял бы компаса, если бы не собака.

Но все-таки собака или не собака, а выходило так, что компас-то он украл.

А он знал, что за такие дела его взгреет отец, не похвалит Иван Михайлович, да не одобрит, пожалуй, и Васька.

Но, так как дело было уже сделано, а возвращаться с компасом назад ему было и страшно и стыдновато, он утешил себя тем, что, во-первых, он не виноват, во-вторых, кроме собаки, его никто не видал, а в третьих, компас можно спрятать подальше, а когда-нибудь позже, к осени или к зиме, когда никакой уже палатки не будет, сказать, что нашел, и оставить себе.

Вот какими мыслями занят был Петька, и вот почему отсиживался он в кустах за огородами и не выходил к Ваське, который с досадой разыскивал его с самого раннего утра.

7

Но, спрятав компас на чердаке дровяного сарая, Петька не побежал искать Ваську, а направился в сад и там задумался над тем, что бы это такое получше соврать.

Вообще-то соврать при случае он был мастер, но сегодня, как назло, ничего правдоподобного придумать не мог. Конечно, он мог бы рассказать только о том,

как он неудачно выслеживал Сережку, и не упоминать ни о палатке, ни о компасе.

Но он чувствовал, что у него не хватит терпения смолчать о палатке. Если смолчать, то Васька и сам может как-нибудь разузнать и тогда будет хвалиться и зазнаваться: «Эх, ты, ничего не знаешь! Всегда я первый все узнаю...»

И Петька подумал, что если бы не компас и не эта проклятая собака, то все было бы интересней и лучше. Тогда ему пришла очень простая и очень хорошая мысль: а что, если пойти к Ваське и рассказать ему про палатку и про компас? Ведь компас-то он и на самом деле не крал. Ведь во всем виновата только собака. Возьмут они с Васькой компас, сбегают к палатке и положат его на место. А собака? Ну и что же собака? Во-первых, можно взять с собой хлеба или мясную кость и кинуть ей, чтобы не гавкала. Во-вторых, можно взять с собой палки. В-третьих, вдвоем вовсе уж не так страшно.

Он так и решил сделать и хотел сейчас же бежать к Ваське, но тут его позвали обедать, и он пошел с большой охотой, потому что за время своих похождений сильно проголодался.

После обеда повидать Ваську тоже не удалось. Мать ушла полоскать белье и заставила его караулить дома маленькую сестренку Еленку.

Обыкновенно, когда мать уходила и оставляла его с Еленкой, он подсовывал ей разные тряпки и чурочки и, пока она возилась с ними, преспокойно убегал на улицу и, только завидев мать, возвращался к Еленке, как будто от нее и не отходил.

Но сегодня Еленка была немного нездорова и капризничала. И когда, всучив ей гусиное перо да круглую, как мячик, картофелину, он направился к двери,

Еленка подняла такой рев, что проходившая мимо соседка заглянула в окно и погрозила Петьке пальцем, предполагая, что он устроил сестренке какую-либо каверзу.

Петька вздохнул, уселся рядом с Еленкой на толстое одеяло, разостланное на полу, и унылым голосом начал петь ей веселые песни.

Когда вернулась мать, уже вечерело, и наконец-то освободившийся Петька выскочил из дверей и стал свистать, вызывая Ваську.

— Эх, ты!— укоризненно закричал Васька еще издалека.— Эх, Петька! И где ты, Петька, весь день прошлялся? И почему, Петька, я тебя весь день искал и не нашел?

И, не дожидаясь, пока Петька что-либо ответит, Васька быстро выложил все собранные им за день новости. А новостей у Васьки было много.

Во-первых, возле разъезда будут строить завод. Во-вторых, в лесу стоит палатка, и в той палатке живут очень хорошие люди, с которыми он, Васька, уже познакомился. В-третьих, Сережкин отец выдрал сегодня Сережку, и Сережка выл на всю улицу.

Но ни завод, ни плотина, ни то, что Сережке попало от отца,— ничто так не удивило и не смутило Петьку, как то, что Васька каким-то образом узнал о существовании палатки и первый сообщил о ней ему, Петьке.

— Откуда ты про палатку знаешь?— спросил обиженный Петька.— Я, брат, сам первый все знаю, со мной сегодня история случилась...

— История, история,— перебил его Васька.— Какая у тебя история? У тебя неинтересная история, а у меня интересная. Когда ты пропал, я тебя долго искал. И тут искал, и там искал, и всюду искал. Надоело мне искать. Вот пообедал я и пошел в кусты хлыст сре-

зать. Вдруг навстречу мне идет человек. Высокий, сбоку кожаная сумка, такая, как у красноармейских командиров. Сапоги — как у охотника, но только не военный и не охотник. Увидел он меня и говорит: «Пойди-ка сюда, мальчик». Ты думаешь, что я испугался? Нисколько. Вот подошел я, а он посмотрел на меня и спрашивает: «Ты, мальчик, сегодня рыбу ловил?» — «Нет,— говорю,— не ловил. За мной этот дурак Петька не зашел. Обещал зайти, а сам куда-то пропал».— «Да,— говорит он,— я и сам вижу, что это не ты. А нет ли у вас другого такого мальчика, немного повыше тебя и волосы рыжеватые?» — «Есть,— говорю,— у нас такой, только это не я, а Сережка, который нашу нырётку крал».— «Вот, вот,— говорит он,— он недалеко от нашей палатки в пруд сетку закидывал. А где он живет?» — «Идемте,— отвечаю я.— Я вам, дядя, покажу, где он живет».

Идем мы, а я думаю: «И зачем это ему Сережка понадобился? Лучше бы мы с Петькой понадобились».

Пока мы шли, он мне все и рассказал. Их двое в палатке. А палатка повыше Филькина ручья. Они, двое-то эти, такие люди — геологи. Землю осматривают, камни, глину ищут и все записывают, где камни, где песок, где глина. Вот я ему и говорю: «А что, если мы с Петькой к вам придем? Мы тоже будем искать. Мы здесь все знаем. Мы в прошлом году такой красный камень нашли, что прямо-таки удивительно до чего красный. А к Сережке,— говорю ему,— вы, дядя, лучше бы и не ходили. Он вредный, этот Сережка. Только бы ему драться да чужие нырётки таскать». Ну, пришли мы. Он в дом зашел, а я на улице остался. Смотрю, выбегает Сережкина мать и кричит: «Сережка! Сережка! Не видал ли ты, Васька, Сережку?» А я отвечаю: «Нет, не видал. Видел, только не сейчас, а сейчас не видел».

Потом тот человек — техник — вышел, я его проводил до леса, и он позволил, чтобы мы с тобой к ним приходили. Вот вернулся Сережка. Его отец и спрашивает: «Ты какую-то вещь в палатке взял?» А Сережка отказывается. Только отец, конечно, не поверил, да и выдрал его. А Сережка как завыл! Так ему и надо. Верно, Петька?

Однако Петьку нисколько не обрадовал такой рассказ. Лицо Петьки было хмурое и печальное. После того как он узнал, что за украденный им компас уже выдрали Сережку, он почувствовал себя очень неловко. Теперь было уже поздно рассказывать Ваське о том, как было дело. И, захваченный врасплох, он стоял печальный, растерянный и не знал, что́ он будет сейчас говорить и как теперь будет объяснять Ваське свое отсутствие. Но его выручил сам Васька. Гордый своим открытием, он хотел быть великодушным.

— Ты что нахмурился? Тебе обидно, что тебя не было? А ты бы не убегал, Петька. Раз условились, значит, условились. Ну, да ничего, мы завтра вместе пойдем, я же им сказал: и я приду, и мой товарищ Петька придет. Ты, наверное, к тетке на кордон бегал? Я смотрю: Петьки нет, удилища в сарае. Ну, думаю, наверное, он к тетке побежал. Ты там был?

Но Петька не ответил.

Он помолчал, вздохнул и спросил, глядя куда-то мимо Васьки:

— И здорово отец Сережку отлупил?

— Должно быть, уж здорово, раз Сережка так завыл, что на улице слышно было.

— Разве можно бить? — угрюмо сказал Петька.— Теперь не старое время, чтобы бить. А ты «отлупил да отлупил». Обрадовался! Если бы тебя отец отлупил, ты бы обрадовался?

— Так ведь не меня, а Сережку,— ответил Васька, немного смущенный Петькиными словами.— И потом, ведь не задаром, а за дело: зачем он в чужую палатку залез? Люди работают, а он у них инструмент ворует. И что ты, Петька, сегодня чудной какой-то! То весь день шатался, то весь вечер сердишься.

— Я не сержусь,— негромко ответил Петька.— Просто у меня сначала зуб заболел, а теперь уже перестает.

— И скоро перестанет? — участливо спросил Васька.

— Скоро. Я, Васька, лучше домой побегу. Полежу, полежу дома — он и перестанет.

8

Вскоре ребята подружились с обитателями брезентовой палатки.

Их было двое. С ними был лохматый сильный пес, по кличке «Верный». Этот Верный охотно познакомился с Васькой, но на Петьку он сердито зарычал. И Петька, который знал, за что на него сердится собака, быстро спрятался за высокую спину геолога, радуясь тому, что Верный может только рычать, но не может рассказать то, что знает.

Теперь целыми днями ребята пропадали в лесу.

Вместе с геологами они обшаривали берега Тихой речки. Ходили на болото и даже зашли однажды к дальним Синим озерам, куда еще никогда не рисковали забираться вдвоем.

Когда дома их спрашивали, где они пропадают и что они ищут, они с гордостью отвечали:

— Мы глину ищем.

Теперь они уже знали, что глина глине рознь. Есть

глины тощие, есть жирные, такие, которые в сыром виде можно резать ножом, как ломти густого масла. По нижнему течению Тихой речки много суглинка, то есть глины рыхлой, смешанной с песком. В верховьях, у озер, попадается глина с известью, или мергель, а поближе к разъезду залегают мощные пласты красно-бурой глинистой охры.

Все это было очень интересно, особенно потому, что раньше вся глина казалась ребятам одинаковой. В сухую погоду это были просто ссохшиеся комья, а в мокрую—обыкновенная густая и липкая грязь. Теперь же они знали, что глина—это не просто грязь, а сырье, из которого будет добываться алюминий, и охотно помогали геологам разыскивать нужные породы глин, указывали запутанные тропки и притоки Тихой речки.

Вскоре на разъезде отцепили три товарных вагона, и какие-то незнакомые рабочие начали сбрасывать на насыпь ящики, бревна и доски.

В эту ночь взволнованные ребятишки долго не могли уснуть, довольные тем, что разъезд начинает жить новой жизнью, не похожей на прежнюю.

Однако новая жизнь приходить не очень-то торопилась. Выстроили рабочие из досок сарай, свалили туда инструменты, оставили сторожа и, к великому огорчению ребят, все до одного уехали обратно.

Как-то в послеобеденное время Петька сидел возле палатки. Старший геолог Василий Иванович чинил продранный локоть рубахи, а другой — тот, который был похож на красноармейского командира,— измерял что-то по плану циркулем.

Васьки не было. Ваську оставили дома сажать огурцы, и он обещался прийти попозже.

— Вот беда,— сказал высокий, отодвигая план.—



Теперь они уже знали, что глина глине рознь.

Без компаса — как без рук. Ни съемку сделать, ни по карте ориентироваться. Жди теперь, пока другой из города пришлют.

Он закурил папироску и спросил у Петьки:

— И всегда этот Сережка у вас такой жулик?

— Всегда,— ответил Петька.

Он покраснел и, чтобы скрыть это, наклонился над погасшим костром, раздувая засыпанные золой угли.

— Петька!..— крикнул на него Василий Иванович.— Всю золу на меня сдул. Зачем ты раздуваешь?

— Я думал... может быть, чайник,— неуверенно ответил Петька.

— Такая жарища, а он чайник,— удивился высокий и опять начал про то же:— И зачем ему понадобился этот компас? А главное, отказывается, говорит, не брал. Ты бы сказал ему, Петька, по-товарищески: «Отдай, Сережка. Если сам снести боишься, дай я снесу». Мы и сердиться не будем и жаловаться не будем. Ты скажи ему, Петька.

— Скажу,— ответил Петька, отворачивая лицо от высокого. Но, отвернувшись, он встретился с глазами Верного.

Верный лежал, вытянув лапы, высунув язык, и, учащенно дыша, уставился на Петьку, как бы говоря: «И врешь же ты, братец! Ничего ты Сережке не скажешь».

— Да верно ли, что это Сережка компас украл?— спросил Василий Иванович, окончив шить и втыкая иголку в подкладку фуражки.— Может быть, мы его сами куда-нибудь засунули и зря только на мальчишку думаем?

— А вы бы поискали,— быстро предложил Петька.— И вы поищите, и мы с Васькой поищем. И в траве поищем и всюду.

— Чего искать?— удивился высокий.— Я же у вас попросил компас, а вы, Василий Иванович, сами сказали, что захватить его из палатки позабыли. Чего же теперь искать?

— А мне теперь начинает казаться, что я его захватил. Хорошо не помню, а как будто бы захватил,— хитро улыбаясь, сказал Василий Иванович.— Помните, когда мы сидели на сваленном дереве на берегу Синего озера? Огромное такое дерево. Уж не выронил ли я компас там?

— Чудно что-то, Василий Иванович,— сказал высокий.— То вы говорили, что из палатки не брали, а теперь вот что...

— Ничего не чудно́,—горячо вступился Петька.— Эдак тоже бывает. Очень даже часто бывает: думаешь — не брал, а оказывается—брал. И у нас с Васькой было. Пошли один раз мы рыбу ловить. Вот я по дороге спрашиваю: «Ты, Васька, маленькие крючки не позабыл?» — «Ой,— говорит он,— позабыл». Побежали мы назад. Ищем, ищем, никак не найдем. Потом глянул я ему на рукав, а они у него к рукаву приколоты. А вы, дядя, говорите — чудно́. Ничего не чудно́.

И Петька рассказал другой случай, как косой Геннадий весь день искал топор, а топор стоял за веником. Он говорил убедительно, и высокий переглянулся с Василием Ивановичем.

— Гм... А пожалуй, можно будет сходить и поискать. Да вы бы сами, ребята, сбегали как-нибудь и поискали.

— Мы поищем,— охотно согласился Петька.— Если он там, то мы его найдем. Никуда он от нас не денется. Тогда мы — раз, раз, туда, сюда и обязательно найдем.

После этого разговора, не дожидаясь Васьки, Петь-

ка поднялся и, заявив, что он вспомнил про нужное дело, попрощался и отчего-то очень веселый побежал к тропке, ловко перескакивая через зеленые, покрытые мхом кочки, через ручейки и муравьиные кучи.

Выбежав на тропку, он увидал группу возвращавшихся с разъезда алешинских крестьян.

Они были чем-то взволнованы, очень рассержены и громко ругались, размахивая руками и перебивая друг друга. Позади шел дядя Серафим. Лицо его было унылое, еще унылее, чем тогда, когда обвалившаяся крыша сарая задавила у него поросенка и гусака.

И по лицу дяди Серафима Петька понял, что над ним опять стряслась какая-то беда.

9

Но беда стряслась не только над дядей Серафимом. Беда стряслась над всем Алешином и, главное, над алешинским колхозом.

Захватив с собой три тысячи крестьянских денег, тех самых, которые были собраны на акции Тракторо-центра, скрылся неизвестно куда главный организатор колхоза — председатель сельсовета Егор Михайлов. В городе он должен был пробыть двое, ну, от силы, трое суток. Через неделю ему послали телеграмму, потом забеспокоились — послали другую, потом послали вслед нарочного. И, вернувшись сегодня, нарочный привез известие, что в райколхозсоюз Егор не являлся и в банк денег не сдавал.

Заволновалось, зашумело Алешино. Что ни день, то собрание. Приехал из города следователь. И хотя все Алешино еще задолго до этого случая говорило о том, что у Егора в городе есть невеста, и хотя от одного к другому передавалось много подробностей — и

кто она такая, и какая она собой, и какого она характера, но теперь оказалось как-то так, что никто ничего не знал. И никак нельзя было доискаться: кто же видел эту Егорову невесту и откуда вообще узнали о том, что она действительно существует? Так как дела теперь были запутаны, то ни один из членов сельсовета не хотел замещать председателя.

Из района прислали нового человека, но алешинские мужики отнеслись к нему холодно. Пошли разговоры, что вот, дескать, Егор тоже приехал из района, а три тысячи крестьянских денег ухнули.

И среди этих событий оставшийся без вожака, а главное, совсем еще не окрепший, только что организовавшийся колхоз начал разваливаться.

Сначала подал заявление о выходе один, потом другой, потом сразу точно прорвало — начали выходить десятками, без всяких заявлений, тем более что наступил сев и каждый бросился к своей полосе. Только пятнадцать дворов, несмотря на свалившуюся беду, держались и не хотели выходить.

Среди них было и хозяйство дяди Серафима.

Этот вообще-то запуганный несчастьями и придавленный бедами мужик с совершенно непонятным для соседей каким-то ожесточенным упрямством ходил по дворам и, еще более хмурый, чем всегда, говорил всюду одно и то же: что надо держаться, что если сейчас из колхоза выйти, то тогда уже и вовсе некуда идти, останется только бросить землю и уйти куда глаза глядят, потому что прежняя жизнь — это не жизнь.

Его поддерживали братья Шмаковы, многосемейные мужики, давнишние товарищи по партизанскому отряду, в один день с дядей Серафимом поротые когда-то батальоном полковника Марциновского. Его

поддерживал член сельсовета Игошкин, молодой, недавно отделившийся от отца паренек. И, наконец, неожиданно взял сторону колхоза Павел Матвеевич, который теперь, когда начались выходы, точно назло всем, подал заявление о приеме его в колхоз.

Так сколотилось пятнадцать хозяйств. Они выехали в поле на сев не очень-то веселые, но упорные в своем твердом намерении не сходить с начатого пути.

За всеми этими событиями Петька да Васька позабыли на несколько дней про палатку. Они бегали в Алешино. Они тоже негодовали на Егора, удивлялись упорству тихого дяди Серафима и очень жалели Ивана Михайловича.

— Бывает и так, ребятишки. Меняются люди,— сказал Иван Михайлович, затягиваясь сильно чадившей свернутой из газетной бумаги цигаркой.— Бывает... меняются. Только кто бы сказал про Егора, что он переменится? Твердый был человек.

Помню я как-то... Вечер... Въехали мы на какой-то полустанок. Стрелки сбиты, крестовины повынуты, сзади путь разобран и мостик сожжен. На полустанке ни души; кругом лес. Впереди где-то фронт, и с боков фронты, а кругом банды. И казалось, что конца-краю этим бандам и фронтам нет и не будет...

Иван Михайлович замолчал и рассеянно посмотрел в окно, туда, где по красноватому закату медленно и упорно продвигались тяжелые грозовые облака.

Цигарка чадила, и клубы дыма, медленно разворачиваясь, тянулись кверху по стене, на которой висела полинялая фотография старого боевого бронепоезда.

— Дядя Иван!— окликнул его Петька.

— Что тебе?

— Ну вот: «А кругом банды, и конца-краю этим

фронтам и бандам нет и не будет»,— слово в слово повторил Петька.

— Да... А разъезд в лесу. Тихо. Весна. Пичужки эти самые чирикают. Вылезли мы с Егоркой грязные, промасленные, потные. Сели на траву. Что делать? Вот Егор и говорит: «Дядя Иван, у нас впереди крестовины повынуты и стрелки поломаны, позади мост сожжен. И мотаемся мы третьи сутки взад и вперед по этим бандитским лесам. И спереди фронт, и с боков фронты. А все-таки победим-то мы, а не кто-нибудь».—«Конечно,— говорю ему,— мы. Об этом никто не спорит. Но команда наша с броневиком навряд ли из этой ловушки выберется». А он отвечает: «Ну, не выберемся. Ну и что же? Наш 16-й пропадет — 28-й на линии останется, 39-й. Доработают».

Сломал он веточку красного шиповника, понюхал ее, воткнул в петлицу угольной блузы. Улыбнулся — как будто бы нет и не было счастливей его человека на свете, взял гаечный ключ, масленку и полез под паровоз...

Иван Михайлович опять замолчал, и Петьке с Васькой так и не пришлось услышать, как выбрался броневик из ловушки, потому что Иван Михайлович быстро вышел в соседнюю комнату.

— А как же ребятишки Егора?— немного погодя спросил старик из-за перегородки.— У него их двое.

— Двое, Иван Михайлович: Пашка да Машка. Они с бабкой остались, а бабка у них старая. И на печке сидит — ругается и с печки слезает — ругается. Так целый день — либо молится, либо ругается.

— Надо бы сходить посмотреть. Надо бы что-нибудь придумать. Жалко все-таки ребятишек,— сказал Иван Михайлович. И слышно было, как за перегородкой запыхтела его дымная махорочная цигарка.

С утра Васька с Иваном Михайловичем пошли в Алешино. Звали с собой Петьку, но он отказался — сказал, что некогда.

Васька удивился: почему это Петьке вдруг стало некогда? Но Петька, не дожидаясь расспросов, убежал.

В Алешине они зашли к новому председателю, но его не застали. Он уехал за реку, на луг.

Из-за этого луга теперь шла яростная борьба. Раньше луг был поделен между несколькими дворами, причем больший участок принадлежал мельнику Петунину. Потом, когда организовался колхоз, Егор Михайлов добился, чтобы луг этот целиком отвели колхозу. Теперь, когда колхоз развалился, прежние хозяева требовали прежние участки и ссылались на то, что после кражи казенных денег обещанной из района сенокосилки колхозу все равно не дадут и с сенокосом он не управится.

Но оставшиеся в колхозе пятнадцать дворов ни за что не хотели разбивать луг и, главное, уступать Петунину прежний участок. Председатель держал сторону колхоза, но многие озлобленные последними событиями крестьяне вступились за Петунина.

И Петунин ходил спокойный, доказывал, что правда на его стороне и что он хоть в Москву поедет, а своего добьется.

Дядя Серафим и молодой Игошкин сидели в правлении и сочиняли какую-то бумагу.

— Пишем!— сердито сказал дядя Серафим, здороваясь с Иваном Михайловичем.— Они свою бумагу в район послали, а мы свою пошлем. Прочитай-ка, Игошкин, ладно ли мы написали. Он человек сторонний, и ему виднее.

Пока Игошкин читал да пока они обсуждали, Вась-

ка выбежал на улицу и встретился там с Федькой Галкиным, с тем самым рябым мальчуганом, который недавно подрался с «Рыжим» из-за того, что тот дразнился: «Федька-колхоз — поросячий нос».

Федька рассказал Ваське много интересного. Он рассказал о том, что у Семена Загребина недавно сгорела баня и Семен ходил и божился, что это его подожгли. И что от этой бани огонь чуть-чуть не перекинулся на колхозный сарай, где стоял триер и лежало очищенное зерно.

Еще он рассказал, что по ночам теперь колхоз наряжает своих сторожей по очереди. И что когда, в свою очередь, Федькин отец запоздал вернуться с разъезда, то он, Федька, сам пошел в обход, а потом его сменила мать, которая взяла колотушку и пошла сторожить.

— Все Егор, — закончил Федька. — Он виноват, а нас всех ругают. Все вы, говорят, мастера на чужое.

— А ведь он раньше героем был,— сказал Васька.

— Он и не раньше, а всегда как герой был. У нас мужики и до сих пор никак в толк не возьмут — с чего это он. Он только с виду такой невзрачный, а как возьмется за что-нибудь, глаза прищурятся, заблестят. Скажет — как отрубит. Как он с лугом-то быстро дело обернул! Будем, говорит, вместе косить, а озимые, говорит, будем вместе и сеять.

— Отчего же он такое плохое дело сделал?— спросил Васька.— Или вот люди говорят, что от любви.

— От любви свадьбу справляют, а не деньги воруют,— возмутился Федька.— Если бы все от любви деньги воровали, тогда что бы было? Нет уж, это не от любви, а не знаю от чего... И я не знаю, и никто не знает. А есть у нас такой Сидор хромой. Старый уже. Так тот и вовсе, если начнешь про Егора говорить, он и слушать не хочет: «Нету, говорит, ничего этого».

И не слушает, отвернется и заковыляет скорей в сторону. И все что-то бормочет, бормочет, а у самого слезы катятся, катятся. Такой блажной старик. Он раньше у Данилы Егоровича на пасеке работал. Да тот рассчитал за что-то, а Егор вступился.

— Федька,— спросил Васька,— а что Ермолая не видать? Или он в этот год у Данилы Егоровича сад караулить не будет?

— Будет. Вчера я его видал, он из лесу шел. Пьяный. Он всегда такой. Покуда яблоки не поспеют, он пьет. А как только время подходит, так Данила Егорович денег на водку ему больше не дает, и тогда он караулит трезвый да хитрый. Помнишь, Васька, как он тебя один раз крапивой?

— Помню, помню,— скороговоркой ответил Васька, стараясь замять эти неприятные воспоминания.— Отчего это, Федька, Ермолай в рабочие не идет, землю не пашет? Ведь он вон какой здоровый.

— Не знаю,— ответил Федька.— Слышал я, что еще давно когда-то он, Ермолай, в дезертиры от красных уходил. Потом в тюрьме сколько-то сидел. А с тех пор он всегда такой. То уйдет куда-нибудь из Алешина, то на лето опять вернется. Я, Васька, не люблю Ермолая. Он только к собакам добрый, да и то когда пьяный.

Ребятишки разговаривали долго. Васька тоже рассказал Федьке о том, какие дела творятся около разъезда. Рассказал про палатку, про завод, про Сережку, про компас.

— И вы к нам прибегайте,— предложил Васька.— Мы к вам бегаем, и вы к нам бегайте. И ты, и Колька Зипунов, и еще кто-нибудь. Ты читать-то умеешь, Федька?

— Немножко.

— И мы с Петькой тоже немножко.

— Школы нет. Когда Егор был, то он очень старался, чтобы школа была. А теперь уж не знаю как. Озлобились мужики — не до школы.

— Завод строить начнут, и школу построят,— утешал его Васька.— Может быть, доски какие-нибудь останутся, бревна, гвозди... Много ли на школу нужно? Мы попросим рабочих, они и построят. Да мы сами помогать будем. Вы прибегайте к нам, Федька, и ты, и Колька, и Алешка. Соберемся кучей, что-нибудь интересное придумаем.

— Ладно,— согласился Федька.— Как только с картошкой управимся, так и прибежим.

Вернувшись в правление колхоза, Васька Ивана Михайловича уже не застал. Ивана Михайловича он нашел у Егоровой избы, возле Пашки да Машки. Пашка и Машка грызли принесенные им пряники и, перебивая и дополняя друг друга, доверчиво рассказывали старику про свою жизнь и про сердитую бабку.

10

— Гайда, гай! Гоп-гоп! Хорошо жить! Солнце светит—гоп, хорошо! Цок-цок! Ручьи звенят. Птицы поют.

— Гайда, кавалерия!

Так скакал по лесу на своих двоих, держа путь к дальним берегам Синего озера, отважный и веселый кавалерист Петька. В правой руке он сжимал хлыст, который заменял ему то гибкую нагайку, то острую саблю, в левой — фуражку с запрятанным в нее компасом, который нужно было сегодня спрятать, а завтра во что бы то ни стало разыскать с Васькой у того сваленного дерева, где отдыхал когда-то забывчивый Василий Иванович.

— Гайда, гай! Гоп-гоп! Хорошо жить! Василий

Иванович — хорошо! Палатка — хорошо! Завод — хорошо! Все хорошо!

— Стоп!

И Петька, он же конь, он же и всадник, со всего размаха растянулся на траве, зацепившись ногою за выступивший корень.

— У, черт, спотыкаешься!— выругал Петька-всадник Петьку-коня.— Как взгрею нагайкой, так не будешь спотыкаться.

Он поднялся, вытер попавшую в лужу руку и осмотрелся.

Лес был густой и высокий. Огромные, спокойные старые березы отсвечивали поверху яркой, свежей зеленью. Внизу было прохладно и сумрачно. Дикие пчелы с одногонным жужжанием кружились возле дупла полусгнившей, покрытой наростами осины. Пахло грибами, прелой листвой и сыростью распластавшегося неподалеку болотца.

— Гайда, гай!— сердито прикрикнул Петька-всадник на Петьку-коня.— Не туда заехал!

И, дернув левый повод, он поскакал в сторону, на подъем.

«Хорошо жить,— думал на скаку храбрый всадник Петька.— И сейчас хорошо. А вырасту — будет еще лучше. Вырасту — сяду на настоящего коня, пусть мчится. Вырасту — сяду на аэроплан, пусть летит. Вырасту — стану к машине, пусть грохает. Все дальние страны проскачу и облетаю. На войне буду первым командиром. На воздухе буду первым летчиком. У машины буду первым машинистом. Гайда, гай! Гоп-гоп! Стоп!»

Прямо под ногами сверкала ярко-желтыми кувшинками узкая мокрая поляна. Озадаченный Петька вспомнил, что никакой такой поляны на его пути не

должно быть, и решил, что, очевидно, проклятый конь опять занес его не туда, куда надо.

Он обогнул болотце и, обеспокоенный, пошел шагом, внимательно осматриваясь и угадывая, куда же это он попал.

Однако чем дальше он шел, тем яснее становилось ему, что он заблудился. И от этого с каждым шагом жизнь начинала уже казаться ему все более и более печальной и мрачной.

Покрутившись еще немного, он остановился, вовсе уже не зная, куда дальше идти, но тут он вспомнил о том, что как раз при помощи компаса мореплаватели и путешественники всегда находят правильный путь. Он вынул из кепки компас, нажал сбоку кнопочку, и освобожденная стрелка зачерненным острием показала в ту сторону, в какую Петька меньше всего собирался идти. Он тряхнул компас, но стрелка упорно показывала все то же направление.

Тогда Петька пошел, рассуждая, что компасу виднее, но вскоре уперся в такую гущу разросшегося осинника, что прорваться через нее, не изодрав рубахи, было никак не возможно.

Он пошел в обход и опять взглянул на компас. Но стрелка с бессмысленным упрямством толкала его или в болото, или в гущу, или еще куда-нибудь в самое неудобное, труднопроходимое место.

Тогда, обозленный и испуганный, Петька всунул компас в кепку и пошел дальше просто на глаз, сильно подозревая, что все мореплаватели и путешественники должны были бы давно погибнуть, если бы они всегда держали путь туда, куда показывает зачерненное острие стрелки.

Он шел долго и собирался уже прибегнуть к последнему средству, то есть громко заплакать, но тут в

просвет деревьев он увидел низкое, опускавшееся к закату солнце.

И вдруг весь лес как будто бы повернуло к нему другой, более знакомой стороной. Очевидно, это произошло оттого, что он вспомнил, как на фоне заходившего солнца всегда ярко вырисовывались крест и купол алешинской церкви. Теперь он понял, что Алешино не слева от него, как он думал, а справа, и что Синее озеро у него уже не впереди, а позади.

И, едва только это случилось, лес показался ему знакомым, так как все перепутанные поляны, болотца и овраги в обычной последовательности прочно и послушно улеглись на свои места.

Вскоре он угадал, где находится. Это было довольно далеко от разъезда, но не так уже далеко от тропки, которая вела из Алешина на разъезд. Он приободрился, вскочил на воображаемого коня, но вдруг притих и насторожил уши.

Совсем неподалеку он услышал песню. Это была какая-то странная песня, бессмысленная, глухая и тяжелая.

И Петьке не понравилась такая песня. И Петька притаился, оглядываясь и ожидая удобной минуты, чтобы дать коню шпоры и помчаться скорей от сумерек, от неприветливого леса, от странной песни на знакомую тропку, на разъезд, домой.

11

Еще не доходя до разъезда, возвращающиеся из Алешина Иван Михайлович и Васька услышали шум и грохот.

Поднявшись из ложбины, они увидели, что весь тупик занят товарными вагонами и платформами. Не-

много поодаль раскинулся целый поселок серых палаток.

Горели костры, дымилась походная кухня, бурчали над кострами котлы. Ржали лошади. Суетились рабочие, сбрасывая бревна, доски, ящики и стаскивая с платформы повозки, сбрую и мешки.

Потолкавшись среди работающих, рассмотрев лошадей, заглянув в вагоны и палатки и даже в топку походной кухни, Васька побежал разыскивать Петьку, чтобы расспросить его, когда приехали рабочие, как было дело и почему это Сережка вертится возле палаток, подтаскивая хворост для костров, и никто его не ругает и не гонит прочь.

Но встретившаяся по пути Петькина мать сердито ответила ему, что «этот идол» провалился куда-то еще с полдня и обедать домой не приходил.

Это совсем уже удивило и рассердило Ваську.

«Что это с Петькой делается?— думал он.— В прошлый раз куда-то пропал, сегодня опять тоже пропал. И какой этот Петька хитрый! Тихоня тихоней, а сам что-то втихомолку вытворяет».

Раздумывая над Петькиным поведением и очень не одобряя его, Васька неожиданно натолкнулся на такую мысль: а что, если это не Сережка, а сам Петька, чтобы не делиться уловом, взял да и перебросил нырётку и теперь выбирает тайком рыбу?

Это подозрение еще больше укрепилось у Васьки после того, как он вспомнил, что в прошлый раз Петька соврал ему, будто бы бегал на кордон к тетке. На самом деле его там не было.

И теперь, почти что уверившийся в своем подозрении, Васька твердо решил учинить Петьке строгий допрос и в случае чего поколотить его, чтобы вперед так делать было неповадно.

Он пошел домой и еще из сеней услышал, как отец с матерью о чем-то громко спорили.

Опасаясь, как бы вгорячах и ему за что-нибудь не попало, он остановился и прислушался.

— Да как же это так?— говорила мать, и по ее голосу Васька понял, что она чем-то взволнована.— Хоть бы одуматься дали. Я картошки две меры посадила, огурцов три грядки. А теперь, значит, все пропало?

— Экая ты, право!— возмущался отец.— Неужели же будут дожидаться? Подождем, дескать, пока у Катерины огурцы поспеют. Тут вагоны негде разгружать, а она — огурцы. И что ты, Катя, чудная какая? То ругалась: и печка в будке плоха, и тесно, и низко, а теперь жалко ей будку стало. Да пусть ее ломают. Пропади она пропадом!

«Почему огурцы пропали? Какие вагоны? Кто будеть ломать будку?»— опешил Васька и, подозревая что-то недоброе, вошел в комнату.

И то, что он узнал, ошеломило его еще больше, чем первое известие о постройке завода. Их будку сломают. По участку, на котором она стоит, проложат запасные пути для вагонов с построечными грузами. Переезд перенесут на другое место и там построят для них новый дом.

— Ты пойми, Катерина,— доказывал отец,— разве же нам такую будку построят? Это теперь не прежнее время, чтобы для сторожей какие-то собачьи конуры строить. Нам построят светлую, просторную. Ты радоваться должна, а ты... огурцы, огурцы!

Мать молча отвернулась.

Если бы все это подготавливалось потихоньку да исподволь, если бы все это не навалилось вдруг, сразу, она и сама была бы довольна оставить старую, ветхую

и тесную конурку. Но сейчас ее пугало то, что все кругом решалось, делалось и двигалось как-то уж очень быстро. Пугало то, что события с невиданной, необычной торопливостью возникали одно за другим. Жил разъезд тихо. Жило Алешино тихо. И вдруг точно какая-то волна, издалека докатившись наконец и сюда, захлестнула и разъезд и Алешино. Колхоз, завод, плотина, новый дом... Все это смущало и даже пугало своей новизной, необычностью и, главное, своей стремительностью.

— А верно ли, Григорий, что лучше будет?— спросила она, расстроенная и растерянная.— Плохо ли, хорошо ли, а жили мы да жили. А вдруг хуже будет?

— Полно тебе,— возражал ей отец.— Полно городить, Катя... Стыдно! Мелешь, сама не знаешь что. Разве затем оно у нас все делается, чтобы хуже было? Ты посмотри лучше на Васькину рожу. Вон он стоит, шельмец, и рот до ушей. На что мал еще, а и то понимает, что лучше будет. Так, что ли, Васька?

Но Васька даже не нашел, что ответить, и только молча кивнул головой.

Много новых мыслей, новых вопросов занимало его неспокойную голову. Так же как и мать, он удивлялся тому, с какой быстротой следовали события. Но его не пугала эта быстрота — она увлекала, как стремительный ход мчавшегося в дальние страны скорого поезда.

Он ушел на сеновал и забрался под теплый овчинный полушубок. Но ему не спалось.

Издалека слышался непрекращающийся стук сбрасываемых досок. Пыхтел маневровый паровоз. Лязгали сталкивающиеся буфера, и как-то тревожно звучал сигнальный рожок стрелочника.

Через выломанную доску крыши Васька видел

кусочек ясного черно-синего неба и три ярких лучистых звезды.

Глядя на эти дружно мерцавшие звезды, Васька вспомнил, как уверенно говорил отец о том, что жизнь будет хорошая. Он еще крепче укутался в полушубок, закрыл глаза, подумал: «А какая она будет хорошая?» — и почему-то вспомнил плакат, который висел в красном уголке. Большой, смелый красноармеец стоит у столба и, сжимая замечательную винтовку, зорко смотрит вперед. Позади него зеленые поля, где желтеет густая высокая рожь, где цветут большие, неогороженные сады и где раскинулись красивые и так не похожие на убогое Алешино просторные и привольные села.

А дальше, за полями, под прямыми широкими лучами светлого солнца гордо высятся трубы могучих заводов. Через сверкающие окна видны колеса, огни, машины.

И всюду люди, бодрые, веселые. Каждый занят своим делом — и на полях, и в селах, и у машин. Одни работают, другие уже отработали и отдыхают.

Какой-то маленький мальчик, похожий немного на Павлика Припрыгина, но только не такой перемазанный, задрав голову, с любопытством разглядывает небо, по которому плавно несется длинный стремительный дирижабль.

Васька всегда немного завидовал тому, что этот смеющийся мальчуган был похож на Павлика Припрыгина, а не на него, Ваську.

Но в другом углу плаката — очень далеко, в той стороне, куда зорко всматривался стороживший эту дальнюю страну красноармеец,— было нарисовано что-то такое, что всегда возбуждало у Васьки чувство смутной и неясной тревоги.

Там вырисовывались черные расплывчатые тени. Там обозначались очертания озлобленных, нехороших лиц. И как будто бы кто-то смотрел оттуда пристальными недобрыми глазами и ждал, когда уйдет или когда отвернется красноармеец.

И Васька был очень рад, что умный и спокойный красноармеец никуда не уходил, не отворачивался, а смотрел как раз туда, куда надо. И все видел и все понимал.

Васька уже совсем засыпал, когда услышал, как хлопнула калитка: кто-то зашел к ним в будку.

Минуту спустя его окликнула мать:

— Вася... Васька! Ты спишь, что ли?

— Нет, мама, не сплю.

— Ты не видал сегодня Петьку?

— Видал, да только утром, а больше не видал. А на что он тебе?

— А на то, что сейчас его мать приходила. Пропал, говорит, еще до обеда, и до сего времени нет и нет.

Когда мать ушла, Васька встревожился. Он знал, что Петька не очень-то храбрый, чтобы разгуливать по ночам, и поэтому никак не мог понять, куда девался его непутевый товарищ.

Петька вернулся поздно. Он вернулся без фуражки. Глаза его были красные, заплаканные, но уже сухие. Видно было, что он очень устал, и поэтому он как-то равнодушно выслушал все упреки матери, отказался от еды и молча залез под одеяло.

Он вскоре уснул, но спал неспокойно: ворочался, стонал и что-то бормотал.

Он сказал матери, что просто заблудился, и мать поверила ему. То же самое он сказал Ваське, но Васька не особенно поверил. Для того чтобы заблудиться,

надо куда-то идти или что-то разыскивать. А куда и зачем он ходил, этого Петька не говорил или нес что-то несуразное, нескладное, и Ваське сразу было видно, что он врет.

Но когда Васька попытался изобличить его во лжи, то обыкновенно изворотливый Петька не стал даже оправдываться. Он только, усиленно заморгав, отвернулся.

Убедившись в том, что все равно от Петьки ничего не добьешься, Васька прекратил расспросы, оставшись, однако, в сильном подозрении, что Петька — товарищ какой-то странный, скрытный и хитрый.

К этому времени геологическая палатка снялась со своего места, с тем чтобы продвинуться дальше, к верховьям реки Синявки.

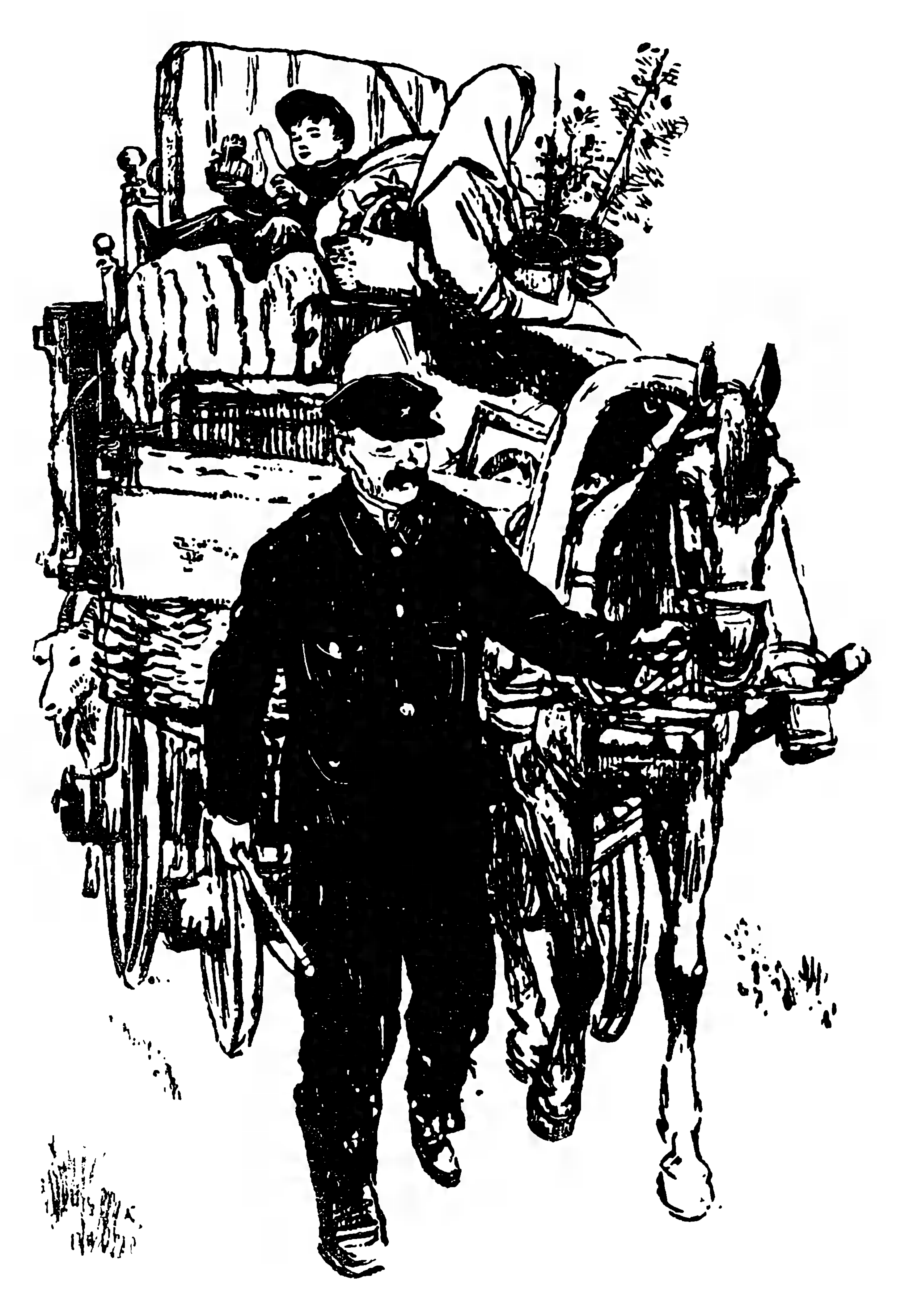
Васька и Петька помогали грузить вещи на лошадей. И, когда все было готово к тому, чтобы тронуться в путь, Василий Иванович и другой — высокий — тепло попрощались с ребятами, с которыми они так много бродили по лесам. Они должны были вернуться на разъезд только к концу лета.

— А что, ребята,— спросил Василий Иванович напоследок,— вы так и не бегали поискать компас?

— Все из-за Петьки,— ответил Васька.— То он сначала сам предложил: пойдем, пойдем... А когда я согласился, то он уперся и не идет. Один раз звал — не идет. Другой раз — не идет. Так и не пошел.

— Ты что же это?— удивился Василий Иванович, который помнил, как горячо вызывался Петька отправиться на поиски.

Неизвестно, что бы ответил и как бы вывернулся смутившийся и притихший Петька, но тут одна из навьюченных лошадей, отвязавшись от дерева, побежала



Сложили все это на телегу... и тронулись на новые места.

по тропке. Все кинулись догонять ее, потому что она могла уйти в Алешино.

Точно после удара нагайкой, Петька рванулся за ней прямо через кусты, через мокрый луг. Он весь обрызгался, изорвал подол рубахи и, выскочив наперерез, уже перед самой тропкой крепко вцепился в поводья.

И, когда он молча подводил упрямившегося коня к запыхавшемуся и отставшему Василию Ивановичу, он учащенно дышал, глаза его блестели, и видно было, что он несказанно горд и счастлив, что ему удалось оказать услугу этим отправляющимся в дальний путь хорошим людям.

12

И еще не успели достроить новый дом, едва только закончили настилку пола и принялись за оконные рамы, а стальные линии запасных путей уже переползли через грядки, опрокинули ветхий заборчик, столкнули дровяной сарай и уперлись в стены старой будки.

— Ну, Катя,— сказал отец,— будем сегодня переезжать. Двери да окна и при нас могут докончить. А здесь, как видишь, ожидать не приходится.

Тогда стали связывать узлы, вытаскивать ящики, матрацы, чугуны, ухваты. Сложили все это на телегу. Привязали сзади козу Маньку и тронулись на новые места.

Отец взялся за вожжи. Васька держал керосиновую лампу и хрупкий стеклянный колпак. Мать бережно прижимала два глиняных горшка с кустиками распустившихся гераней.

Перед тем как тронуться, все невольно обернулись.

Уже со всех сторон обступали рабочие старенькую

грязновато-желтую будку. Уже застучали по крыше топоры, заскрипели выворачиваемые ржавые гвозди, и первые сорванные доски тяжело грохнулись о землю.

— Как на пожаре,— сказала мать, отворачиваясь и низко склоняя голову,— и огня нет, а кругом — как пожар.

Вскоре из Алешина целым гуртом прибежали ребятишки: Федька, Колька, Алешка и еще двое незнакомых — Яшка да Шурка.

Ходили на площадку смотреть экскаватор, бегали к плотине, где забивали в землю бревенчатые шпунты, и, наконец, пошли купаться.

Вода была теплая. Плавали, брызгались и долго хохотали над трусливым Шуркой, который громко и отчаянно заорал, когда нырнувший Федька неожиданно схватил его под водой за ноги.

Потом валялись на берегу, разговаривали о прежних и новых делах.

— Васька,— спросил Федька, лежа на спине и закрывая рукой от солнца круглое веснушчатое лицо,— что это такое пионеры? Почему, например, они идут всегда вместе и в барабан бьют и в трубы трубят? А вот один раз отец читал, что пионеры не воруют, не ругаются, не дерутся и еще чего-то там не делают. Что же они, как святые, что ли?

— Ну нет... не святые,— усомнился Васька.— Я в прошлом году к дяде ездил. У него сын Борька — пионер, так он мне два раза так по шее натрескал, что только держись. А ты говоришь — не дерутся. Просто обыкновенные мальчишки да девчонки. Вырастут, в комсомольцы пойдут, потом в Красную Армию. И я, когда вырасту, тоже пойду в Красную Армию. Возьму винтовку и буду сторожить.

— Кого сторожить?— не понял Федька.

— Как кого? Всех! А если не сторожить, то налетит белая банда и завоюет все наши страны. Я знаю, Федька, что такое белая армия, мне Иван Михайлович все рассказал. Белая — это всякие цари, всякие торговцы, кулаки.

— А кто же Данила Егорович? — спросил молча слушавший Алешка. — Вот он кулак. Значит, он тоже белая армия?

— У него винтовки нет, — после некоторого раздумья ответил Васька. — У него нет винтовки, а есть только старая шомполка.

— А если бы была? — не унимался Алешка.

— А если бы да если бы! А кто ему продаст винтовку? Разве же винтовки или пулеметы продают каждому, кто захочет?

— Нам бы не продали, — согласился Алешка.

— Нам бы не продали, потому что мы малы еще, а Даниле Егоровичу совсем не поэтому. Вот погодите, школа будет, тогда все узнаете.

— Будет ли школа? — усомнился Федька.

— Обязательно будет, — уверял Васька. — Вы приходите на той неделе, мы все вместе, гуртом, пойдем к главному строительному инженеру и попросим, чтобы велел построить.

— Совестно как-то просить, — поежился Алешка.

— Ничего не совестно. Это одному совестно. Вот, скажут, какой выискался! А если всем, то нисколько не совестно. Я хоть сам пойду и попрошу. Чего бояться? Что он, стукнет, что ли?

Алешинские ребята собрались уходить, а Васька решил проводить их.

Когда они вышли на тропку, то увидели Петьку. По-видимому, он давно стоял тут и раздумывал, подойти ему к ребятам или не подойти.

— Пойдем, Петька, с нами,— предложил Васька, которому не хотелось возвращаться одному.— Пойдем, Петька. Что ты такой скучный? Все веселые, а он скучный.

Петька посмотрел на солнце, но солнце стояло еще высоко, и, виновато улыбнувшись, он согласился.

Возвращаясь вдвоем, под высоким дубом, что рос неподалеку от хутора Данилы Егоровича, они увидели Пашку да Машку.

Эти маленькие ребятишки сидели на зеленом бугре и собирали что-то с земли, должно быть прошлогодние желуди.

— Пойдем к ним,— предложил Васька,— посидим, отдохнем и посмеемся немножко. Пойдем, Петька! И что ты стал какой-то тихоня? Успеешь еще домой.

Они осторожно подобрались сзади к ребятишкам, опустились на четвереньки и сердито зарычали:

— Рррр... рррр...

Пашка и Машка подскочили и, даже не смея обернуться, схватились за руки и пустились наутек.

Но ребята обогнали их и загородили им дорогу.

— И что как напугали!— укоризненно сказал Пашка, серьезно хмуря коротенькие тонкие брови.

— Совсем испугали!— подтвердила Машка, вытирая наполнившиеся слезами глаза.

— А вы думали, это кто?— спросил довольный своей шуткой Васька.

— А мы думали — волк,— ответил Пашка.

— Или думали — медведь,— добавила Машка и, улыбнувшись, протянула ребятам горсть крупных желудей.

— На что они нам?— отказался Васька.— Вы сами играйте. Мы уже большие, и это нам не игра.

— Очень хорошая игра,— ответила Машка. И, очевидно, никак не понимая, почему для Васьки желудь — это не игра, радостно рассмеялась.

— Ну что, у вас бабка ругается?— спросил Васька и с неожиданной жестокостью добавил:— Так вам и надо. Потому что отец у вас жулик.

— Васька, не надо!— вступился Петька.— Ведь они маленькие.

— Ну и что же, что маленькие?— с каким-то необъяснимым злорадством продолжал Васька.— Раз жулик, значит, жулик. Верно ведь, Пашка, у вас отец жулик?

— Васька, не надо!— почти умоляюще попросил Петька.

Немного испуганные резким Васькиным тоном, Пашка и Машка молча переглянулись.

— Жулик,— тихо и покорно согласился Пашка.

— Жулик,— повторила Машка и тепло улыбнулась.— Только он хороший был жулик. Бабка нехорошая, недобрая, а он хороший... А потом...— тут голос ее чуть-чуть задрожал, она вздохнула, большие голубые глаза ее стали влажными и печальными, а маленькие ручонки разжались, и два крупных желудя тихо упали на мягкую траву,— а потом взял он, наш папочка, да куда-то далеко-далеко от нас уехал.

Какой-то вскрик, странный, приглушенный, раздался позади Васьки.

Он обернулся и увидел, что, крепко втиснув голову в сочную душистую траву, вздрагивая угловатыми, худыми плечами, Петька безудержно, беззвучно... плачет.

Дальние страны, те, о которых так часто мечтали ребятишки, туже и туже смыкая кольцо, надвигались на безыменный разъезд № 216.

Дальние страны с большими вокзалами, с огромными заводами, с высокими зданиями были теперь где-то уже не очень далеко.

Еще так же, как и прежде, проносился мимо безудержный скорый, но уже останавливались пассажирский сорок второй и почтовый двадцать четвертый.

Еще пусто и голо было на изрытой ямами заводской площадке, но уже копошились на ней сотни рабочих, уже ползала по ней, вгрызаясь в землю и лязгая железной пастью, похожая на прирученное чудовище, диковинная машина — экскаватор.

Опять прилетел для фотосъемки аэроплан. Что ни день, то вырастали новые бараки, склады, подсобные мастерские. Приехали кинопередвижка, вагон-баня, вагон-библиотека.

Заговорили рупоры радиоустановок, и, наконец, с винтовками за плечами пришли часовые Красной Армии и молча стали на свои посты.

По пути к Ивану Михайловичу Васька остановился там, где еще совсем недавно стояла их старая будка.

Угадывая ее место только по уцелевшим столбам шлагбаума, он подошел поближе и, глядя на рельсы, подумал о том, что вот эта блестящая рельсина пройдет теперь как раз через тот угол, где стояла их печка, на которой они так часто грелись с рыжим котом Иваном Ивановичем, и что, если бы его кровать поставить на прежнее место, она встала бы как раз на самую крестовину, прямо поперек железнодорожного полотна.

Он огляделся. По их огороду, подталкивая товар-

ные вагоны, с пыхтением ползал старый маневровый паровоз.

От грядок с хрупкими огурцами не осталось и следа, но неприхотливая картошка через песок насыпей и даже через колкий щебень кое-где упрямо пробивалась кверху кустиками пыльной сочной зелени.

Он пошел дальше, припоминая прошлое лето, когда в эти утренние часы было пусто и тихо. Изредка только загогочут гуси, звякнет жестяным колокольцем привязанная к колу коза да загремит ведрами у скрипучего колодца вышедшая за водой баба. А сейчас...

Глухо бабахали тяжелые кувалды, вколачивая огромные бревна в берега Тихой речки.

Гремели разгружаемые рельсы, звенели молотки в слесарной мастерской, и пулеметной дробью трещали неумолчные камнедробилки.

Васька пролез под вагонами и лицом к лицу столкнулся с Сережкой.

В запачканных клеем руках Сережка держал коловорот и, наклонившись, разыскивал что-то в траве, пересыпанной коричневым промасленным песком.

Он искал, по-видимому, уже давно, потому что лицо у него было озабоченное и расстроенное.

Васька посмотрел на траву и нечаянно увидал то, что потерял Сережка. Это была металлическая перка, которую вставляют в коловорот, чтобы провертывать дырки.

Сережка не мог ее видеть, так как она лежала за шпалой с Васькиной стороны.

Сережка взглянул на Ваську и опять наклонился, продолжая поиски.

Если бы во взгляде Сережки Васька уловил что-либо вызывающее, враждебное или чуточку насмеш-

ливое, он прошел бы своей дорогой, предоставив Сережке заниматься поисками хоть до ночи. Но ничего такого на лице Сережки он не увидал. Это было обыкновенное лицо человека, озабоченного потерей нужного для работы инструмента и огорченного безуспешностью своих поисков.

— Ты не там ищешь,—невольно сорвалось у Васьки.— Ты в песке ищешь, а она лежит за шпалой.

Он поднял перку и подал ее Сережке.

— И как она залетела туда?— удивился Сережка.— Я бежал, а она выскочила и вот куда залетела.

Они уже готовы были заулыбаться и вступить в переговоры, но, вспомнив о том, что между ними старая, непрекращающаяся вражда, оба мальчугана нахмурились и внимательно оглядели один другого.

Сережка был немного постарше, повыше и потоньше. У него были рыжие волосы, серые озорные глаза, и весь он был какой-то гибкий, изворотливый и опасный.

Васька был шире, крепче и, возможно, даже сильнее. Он стоял, чуть склонив голову, одинаково готовый к тому, чтобы разойтись миром, и к тому, чтобы подраться, хотя он и знал, что в случае драки попадет все-таки больше ему, а не его противнику.

— Эй, ребята!— окликнул их с платформы человек, в котором они узнали главного мастера из механической мастерской.— Пойдите-ка сюда. Помогите немного.

Теперь, когда выбора уже не оставалось и затеять драку означало отказать в той помощи, о которой просил мастер, ребята разжали кулаки и быстро полезли на открытую грузовую платформу.

Там валялись два ящика, разбитые неудачно упавшей железной балкой.

Из ящиков по платформе, как горох из мешка, рассыпались и раскатились маленькие и большие, короткие и длинные, узкие и толстые железные гайки.

Ребятам дали шесть мешков — по три на каждого — и попросили их разобрать гайки по сортам. В один мешок гайки механические, в другой — газовые, в третий — метровые.

И они принялись за работу с той поспешностью, которая доказывала, что, несмотря на несостоявшуюся драку, дух соревнования и желания каждого быть во всем первым нисколько не угас, а только принял иное выражение.

Пока они были заняты работой, платформу толкали, перегоняли с пути на путь, отцепляли и куда-то опять прицепляли.

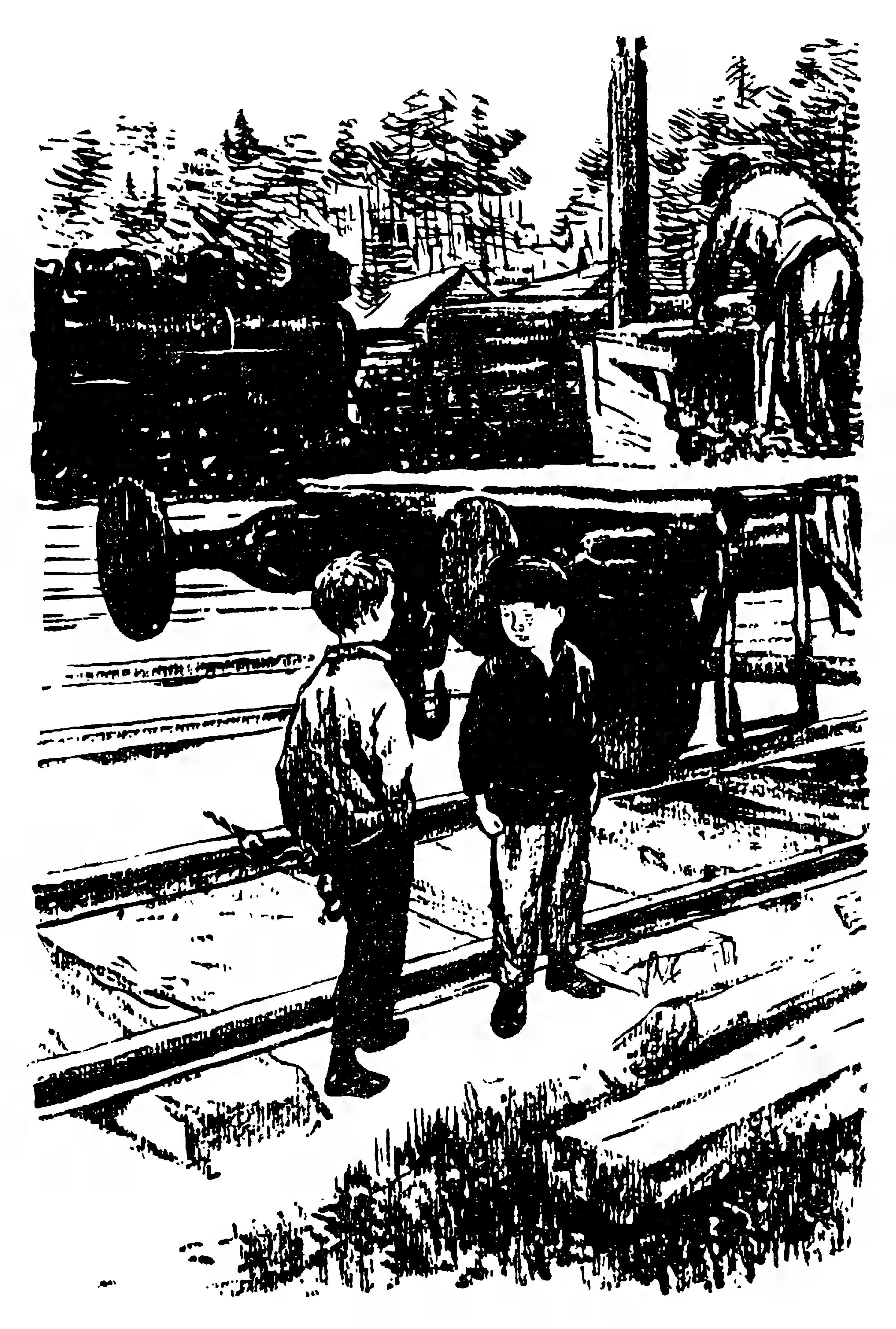
Все это было очень весело, особенно тогда, когда сцепщик Семен, предполагая, что ребята забрались на маневрирующий состав из баловства, хотел огреть их хворостиной, но, разглядев, что они заняты работой, ругаясь и чертыхаясь, соскочил с подножки платформы.

Когда они окончили разборку и доложили об этом мастеру, мастер решил, что, вероятно, ребята свалили все гайки без разбора в одну кучу, потому что окончили они очень уж скоро.

Но он не знал, что они старались и потому, что гордились порученной им работой, и потому, что не хотели отставать один от другого.

Мастер был очень удивлен, когда, раскрыв принесенные грузчиком мешки, увидел, что гайки тщательно рассортированы так, как ему было надо.

Он похвалил их, позволил им приходить в мастерские и помогать в чем-нибудь, что сумеют или чему научатся.



Глаза Сережки стали злыми, пальцы рук сжались...

Довольные, они шли домой уже как хорошие, давнишние, но знающие каждый себе цену друзья. И только на одну минуту вспыхнувшая искорка вражды готова была разгореться вновь. Это тогда, когда Васька спросил у Сережки, брал он компас или не брал.

Глаза Сережки стали злыми, пальцы рук сжались, но рот улыбался.

— Компас?— спросил он с плохо скрываемой озлобленностью, оставшейся от памятной порки.— Вам лучше знать, где компас. Вы бы его у себя поискали...

Он хотел еще что-то добавить, но, пересиливая себя, замолчал и насупился.

Так они прошли несколько шагов.

— Ты, может быть, скажешь, что и нырётку нашу не брал?— недоверчиво спросил Васька, искоса поглядывая на Сережку.

— Не брал,— отказался Сережка, но теперь лицо его приняло обычное хитровато-насмешливое выражение.

— Как же не брал?— возмутился Васька.— Мы шарили, шарили по дну, а ее нет и нет. Куда же она девалась?

— Значит, плохо шарили. А вы пошарьте получше.— Сережка рассмеялся и, глядя на Ваську, с каким-то странным и сбившим с толку добродушием добавил:— У них там рыбы, поди-ка, набралось прорва, а они сидят себе да охают!

На другой же день, еще спозаранку, захватив «кошку», Васька направился к реке, без особой, впрочем, веры в Сережкины слова.

Три раза закидывал он «кошку», и все впустую. Но на четвертом разе бечевка туго натянулась.

«Неужели правда он не брал?— подумал Васька, быстро подтягивая добычу.— Ну конечно, не брал... Вот, вот она... А мы-то... Эх, дураки!»

Тяжелая плетеная нырётка показалась над водой. Внутри ее что-то ворочалось и плескалось, вызывая в Васькином воображении самые радужные надежды. Но вот, вся в песке и в наплывах холодной тины, она шлепнулась на берег, и Васька кинулся разглядывать богатую добычу.

Изумление и разочарование овладели им, когда, раскрыв плетеную дверцу, он вытряхнул на землю около двух десятков лягушек.

«И откуда они, проклятые, понабились?— удивился Васька, глядя, как лягушки, перепуганные ярким светом, быстро поскакали во все стороны.— Ну, бывало, случайно одна заберется, редко-редко две. А тут, гляди-ка, ни одного ершика, ни одной малюсенькой плотички, а, точно на смех, целый табун лягушек».

Он закинул нырётку обратно и пошел домой, сильно подозревая, что компас-то, может быть, Сережка и не брал, но что нырётка, набитая лягушками, оказалась на прежнем месте не раньше, как только вчера вечером.

Васька бежал со склада и тащил в мастерскую моток проволоки. Из окошка высунулась мать и позвала его, но Васька торопился: он замотал головой и прибавил шагу.

Мать закричала на него еще громче, перечисляя все те беды, которые должны будут свалиться на Васькину голову в том случае, если он сию же минуту не пойдет домой. И хотя, если верить ее словам, последствия его неповиновения должны были быть очень неприятными, так как до Васькиного слуха долетели такие слова, как

«выдеру», «высеку», «нарву уши» и так далее, но дело все в том, что Васька не очень-то верил в злопамятность матери и, кроме того, ему на самом деле было некогда. И он хотел продолжать свой путь, но тут мать начала звать его уже ласковыми словами, одновременно размахивая какой-то белой бумажкой.

У Васьки были хорошие глаза, и он тотчас же разглядел, что бумажка эта не что иное, как только что полученное письмо. Письмо же могло быть только от брата Павла, который работал слесарем где-то очень далеко.

А Васька очень любил Павла и с нетерпением ожидал его приезда в отпуск. Это меняло дело. Заинтересованный Васька повесил моток проволоки на забор и направился к дому, придав лицу то скорбное выражение, которое заставило бы мать почувствовать, что он через силу оказывает ей очень большую услугу.

— Прочитай, Васька,— просила обозленная мать очень кротким и миролюбивым голосом, так как знала, что если Васька действительно заупрямится, то от него никакими угрозами ничего не добьешься.

— Тут человек делом занят, а она... прочитай да прочитай!— недовольным тоном ответил Васька, беря письмо и неторопливо распечатывая конверт.— Прочитала бы сама. А то когда я к Ивану Михайловичу учиться бегал, то она: куда шляешься да куда шатаешься? А теперь... почитай да почитай.

— Разве же я, Васенька, за уроки ругалась?— виновато оправдывалась мать.— Я за то ругалась, что уйдешь ты на урок чистый, а вернешься, как черт, весь измазанный, избрызганный... Да читай же ты, идол!— нетерпеливо крикнула она наконец, видя, что, развернув письмо, Васька положил его на стол, потом взял

ковш и пошел напиться и только после этого крепко и удобно уселся за стол, как будто бы собирался засесть до самого вечера.

— Сейчас прочитаю, отойди-ка немного от света, а то за́стишь.

Брат Павел узнал о том, что на их разъезде строится завод и что там нужны слесаря.

Постройка, на которой он работал, закончилась, и он писал, что решил приехать на родину. Он просил, чтобы мать сходила к соседке Дарье Егоровне и спросила, не сдаст ли та ему с женою хотя бы на лето одну комнату, потому что к зиме у завода, надо думать, будут уже свои квартиры. Это письмо обрадовало и Ваську и мать.

Она всегда мечтала, как хорошо было бы жить всей семьею вместе. Но раньше, когда на разъезде не было никакой работы, об этом нечего было и думать. Кроме того, брат Павел совсем еще недавно женился, и всем очень хотелось посмотреть, какая у него жена.

Ни о какой Дарье Егоровне мать не захотела и слышать.

— Еще что! — говорила она, заграбастывая у Васьки письмо и с волнением вглядываясь в непонятные, но дорогие для нее черточки и точки букв.— Или мы сами хуже Дарьи Егоровны?.. У нас теперь не прежняя конура, а две комнаты, да передняя, да кухня. В одной сами будем жить, другую Павлушке отдадим. На что нам другая?

Гордая за сына и счастливая, что скоро увидит его, она совсем позабыла, что еще недавно она жалела старую будку, ругала новый дом, а заодно и всех тех, кто это выдумал — ломать, перестраивать и заново строить.

14

С Петькой за последнее время дружба порвалась. Петька стал какой-то не такой, дикий.

То все ничего — играет, разговаривает, то вдруг нахмурится, замолчит и целый день не показывается, а все возится дома во дворе с Еленкой.

Как-то, возвращаясь из столярной мастерской, где они с Сережкой насаживали молотки на рукоятки, перед обедом, Васька решил искупаться.

Он свернул к тропке и увидел Петьку. Петька шел впереди, часто останавливаясь и оборачиваясь, как будто бы боялся, что его увидят.

И Васька решил выследить, куда пробирается украдкой этот шальной и странный человек.

Дул крепкий жаркий ветер. Лес шумел. Но, опасаясь хруста своих шагов, Васька свернул с тропки и пошел кустами чуть-чуть позади.

Петька пробирался неровно: то, как будто набравшись решимости, пускался бежать и бежал быстро и долго, так что Васька, которому приходилось огибать кусты и деревья, еле-еле поспевал за ним, то останавливался, начинал тревожно оглядываться, а потом шел тихо, почти через силу, точно сзади его кто-то подгонял, а он не мог и не хотел идти.

«И куда это он пробирается?» — думал Васька, которому начинало передаваться Петькино возбужденное состояние.

Внезапно Петька остановился. Он стоял долго; на глазах его заблистали слезы. Потом он понуро опустил голову и тихо пошел назад. Но, пройдя всего несколько шагов, он опять остановился, тряхнул головой и, круто свернув в лес, помчался прямо на Ваську.

Испуганный и не ожидавший этого, Васька отско-

чил за кусты, но было уже поздно. Не разглядев Ваську, Петька все же услыхал треск раздвигаемых кустов. Он вскрикнул и шарахнулся в сторону тропки.

Когда Васька выбрался на тропку, на ней никого уже не было.

Несмотря на то, что недалек был уже вечер, несмотря на порывистый ветер, было душно. По небу плыли тяжелые облака, но, не сбиваясь в грозовую тучу, они проносились поодиночке, не закрывая и не задевая солнца.

Тревога, смутная, неясная, все крепче и крепче охватывала Ваську, и шумливый, неспокойный лес, тот самый, которого почему-то так боялся Петька, показался вдруг и Ваське чужим и враждебным.

Он прибавил шагу и вскоре очутился на берегу Тихой речки.

Среди распустившихся ракитовых кустов распластался рыжий кусок гладкого песчаного берега. Раньше Васька всегда здесь купался. Вода здесь была спокойная, дно твердое и ровное.

Но сейчас, подойдя поближе, он увидел, что вода поднялась и помутнела.

Кусочки свежей щепы, осколки досок, обломки палок плыли неспокойно, сталкивались, расходясь и бесшумно поворачиваясь вокруг острых, опасных воронок, которые то возникали, то исчезали на пенистой поверхности.

Очевидно, внизу, на постройке плотины, начали ставить перемычки.

Он разделся, но не бултыхнулся, как, бывало, раньше, и не забарахтался, веселыми брызгами распугивая серебристые стайки стремительных пескарей.

Осторожно опустившись у самого берега, ощупывая ногой теперь уже незнакомое дно и придерживаясь руками за ветви куста, он окунулся несколько раз, вылез из воды и тихонько пошел домой.

Дома он был скучен. Плохо ел, пролил нечаянно ковш с водой и из-за стола встал молчаливый и сердитый.

Он пошел к Сережке, но Сережка был и сам злой, потому что порезал стамеской палец и ему только что смазали его йодом.

Васька пошел к Ивану Михайловичу, но не застал его дома; тогда он вернулся домой и решил спозаранку лечь спать.

Он лег, но не заснул. Он вспомнил прошлогоднее лето.

И, вероятно, оттого, что день сегодня был такой неспокойный, неудачливый, прошлое лето показалось ему теплым и хорошим.

Неожиданно ему стало жалко и ту поляну, которую разрыл и разворотил экскаватор; и Тихую речку, вода в которой была такая светлая и чистая; и Петьку, с которым так хорошо и дружно проводили они свои веселые, озорные дни; и даже прожорливого рыжего кота Ивана Ивановича, который, с тех пор как сломали их старую будку, что-то запечалился, заскучал и ушел с разъезда неизвестно куда. Так же неизвестно куда улетела вспугнутая ударами тяжелых кувалд та постоянная кукушка, под звонкое и грустное кукование которой засыпал Васька на сеновале и видел любимые, знакомые сны.

Тогда он вздохнул, закрыл глаза и стал потихоньку засыпать.

Сон приходил новый, незнакомый. Сначала между мутных облаков проплыл тяжелый и сам похожий на

облако острозубый золотистый карась. Он плыл прямо к Васькиной нырётке, но нырётка была такая маленькая, а карась такой большой, и Васька в испуге закричал: «Мальчишки!.. Мальчишки!.. Тащите скорее большую сеть, а то он порвет нырётку и уйдет».— «Хорошо,— сказали мальчишки,— мы сейчас притащим, но только раньше мы позвоним в большие колокола».

И они стали звонить: дон!.. дон!.. дон!.. дон!..

И, пока они громко звонили, за лесом над Алешином поднялся столб огня и дыма. А все люди заговорили и закричали:

— Пожар! Это пожар... Это очень сильный пожар!

Тогда мать сказала Ваське:

— Вставай, Васька!

И, так как голос матери прозвучал что-то очень громко и даже сердито, Васька догадался, что это, пожалуй, уже не сон, а на самом деле.

Он открыл глаза. Было темно. Откуда-то издалека доносился звон набатного колокола.

— Вставай, Васька,— повторила мать.— Залезь на чердак и посмотри. Кажется, Алешино горит.

Васька быстро натянул штаны и по крутой лесенке взобрался на чердак.

Неловко цепляясь впотьмах за выступы балок, он добрался до слухового окошка и высунулся до пояса.

Стояла черная, звездная ночь. Возле заводской площадки, возле складов тускло мерцали огни ночных фонарей, вправо и влево ярко горели красные сигналы входного и выходного семафоров. Впереди слабо отсвечивала вода Тихой речки.

Но там, в темноте, за речкой, за невидимо шумевшим лесом, там, где находилось Алешино, не было ни

разгорающегося пламени, ни летающих по ветру искр, ни потухающего дымного зарева. Там лежала тяжелая полоса густой, непроницаемой темноты, из которой доносились глухие набатные удары церковного колокола.

15

Стог свежего, душистого сена. С теневой стороны, укрывшись так, чтобы его не было видно с тропки, лежал уставший Петька.

Он лежал тихо, так что одинокая ворона, большая и осторожная, не заметив его, тяжело села на шест, торчавший над стогом.

Она сидела на виду, спокойно поправляя клювом крепкие блестящие перья. И Петька невольно подумал, как легко было бы всадить в нее отсюда полный заряд дроби. Но эта случайная мысль вызвала другую, ту, которой он не хотел и боялся. И он опустил лицо на ладони рук.

Черная ворона настороженно повернула голову и заглянула вниз. Неторопливо расправив крылья, она перелетела с шеста на высокую березу и с любопытством уставилась оттуда на одинокого плачущего мальчугана.

Петька поднял голову. По дороге из Алешина шел дядя Серафим и вел на поводу лошадь: должно быть, перековывать. Потом он увидел Ваську, который возвращался по тропке домой.

И тогда Петька притих, подавленный неожиданной догадкой: это на Ваську натолкнулся он в кустах, когда хотел свернуть с тропки в лес. Значит, Васька уже что-то знает или о чем-то догадывается, иначе зачем же он стал бы его выслеживать? Значит, скрывай не

скрывай, а все равно все откроется. Но, вместо того чтобы позвать Ваську и все рассказать ему, Петька насухо вытер глаза и твердо решил никому не говорить ни слова. Пусть открывают сами, пусть узнают и пусть делают с ним все, что хотят.

С этой мыслью он встал, и ему стало спокойнее и легче. С тихой ненавистью посмотрел он туда, где шумел алешинский лес, ожесточенно плюнул и выругался.

— Петька! — услышал он позади себя окрик.

Он съежился, обернулся и увидал Ивана Михайловича.

— Тебя поколотил кто-нибудь? — спросил старик.— Нет... Ну, кто-нибудь обидел? Тоже нет... Так отчего же у тебя глаза злые и мокрые?

— Скучно,— резко ответил Петька и отвернулся.

— Как это так — скучно? То все было весело, а то вдруг стало скучно. Посмотри на Ваську, на Сережку, на других ребят. Всегда они чем-нибудь заняты, всегда они вместе. А ты все один да один. Поневоле будет скучно. Ты хоть бы ко мне прибегал. Вот в среду мы с одним человеком перепелов ловить поедем. Хочешь, мы и тебя с собой возьмем?

Иван Михайлович похлопал Петьку по плечу и спросил, незаметно оглядывая сверху Петькино похудевшее и осунувшееся лицо:

— Ты, может быть, нездоров? У тебя, может быть, болит что-нибудь? А ребята не понимают этого да все жалуются мне: «Вот Петька такой хмурый да скучный!..»

— У меня зуб болит,— охотно согласился Петька.— А разве же они понимают? Они, Иван Михайлович, ничего не понимают. Тут и так болит, а они — почему да почему.

— Вырвать надо! — сказал Иван Михайлович.— На обратном пути зайдем к фельдшеру, я его попрошу, он разом тебе зуб выдернет.

— У меня... Иван Михайлович, он уже не очень болит, это вчера очень, а сегодня уже проходит,— немного помолчав, объяснил Петька.— У меня сегодня не зуб, а голова болит.

— Ну, вот видишь! Поневоле заскучаешь. Зайдем к фельдшеру, он какую-нибудь микстуру даст или порошки.

— У меня сегодня здорово голова болела,— осторожно подыскивая слова, продолжал Петька, которому вовсе уж не хотелось, чтобы, в довершение ко всем несчастьям, у него вырывали здоровые зубы и пичкали его кислыми микстурами и горькими порошками.— Ну так болела!.. Так болела!.. Хорошо только, что теперь уже прошла!..

— Вот видишь, и зубы не болят, и голова прошла. Совсем хорошо,— ответил Иван Михайлович, тихонько посмеиваясь сквозь седые пожелтевшие усы.

«Хорошо! — вздохнул про себя Петька.— Хорошо, да не очень».

Они прошлись вдоль тропки и сели отдохнуть на толстое почерневшее бревно. Иван Михайлович достал кисет с табаком, а Петька молча сидел рядом.

Вдруг Иван Михайлович почувствовал, что Петька быстро подвинулся к нему и крепко ухватил его за пустой рукав.

— Ты что? — спросил старик, увидав, как побелело лицо и задрожали губы у мальчугана.

Петька молчал. Кто-то, приближаясь неровными, грузными шагами, пел песню.

Это была странная, тяжелая и бессмысленная песня. Низкий пьяный голос мрачно выводил:

Иэ-эха! И ехал, эх-ха-ха...
Вот да так ехал, аха-ха...
И приехал... эх-ха-ха...
Эха-ха! Д-ы аха-ха...

Это была та самая нехорошая песня, которую слышал Петька в тот вечер, когда заблудился на пути к Синему озеру. И, крепко вцепившись в обшлаг рукава, он со страхом уставился в кусты. Задевая за ветви, сильно пошатываясь, из-за поворота вышел Ермолай. Он остановился, покачал всклокоченной головой, для чего-то погрозил пальцем и молча двинулся дальше.

— Эк нализался! — сказал Иван Михайлович, сердитый за то, что Ермолай так напугал Петьку.— А ты, Петька, чего? Ну пьяный и пьяный. Мало ли у нас таких шатается.

Петька молчал. Брови его сдвинулись, глаза заблестели, а вздрагивающие губы крепко сжались. И неожиданно резкая, злая улыбка легла на его лицо. Как будто бы, только сейчас поняв что-то нужное и важное, он принял решение, твердое и бесповоротное.

— Иван Михайлович,— звонко сказал он, заглядывая старику прямо в глаза,— а ведь это Ермолай убил Егора Михайлова...

К ночи по большой дороге верхом на неоседланном коне с тревожной вестью скакал дядя Серафим с разъезда в Алешино. Заскочив на уличку, он стукнул кнутовищем в окно крайней избы и, крикнув молодому Игошкину, чтобы тот скорей бежал к председателю,

поскакал дальше, часто сдерживая коня у чужих темных окон и вызывая своих товарищей.

Он громко застучал в ворота председательского дома. Не дожидаясь, пока отопрут, он перемахнул через плетень, отодвинул запор, ввел коня и сам ввалился в избу, где уже заворочались, зажигая огонь, встревоженные стуком люди.

— Что ты? — спросил его председатель, удивленный таким стремительным напором обыкновенно спокойного дяди Серафима.

— А то,— сказал дядя Серафим, бросая на стол смятую клетчатую фуражку, продырявленную дробью и запачканную темными пятнами засохшей крови,— а то, чтобы вы все подохли! Ведь Егор-то никуда и не убегал, а его в нашем лесу убили.

Изба наполнилась народом. От одного к другому передавалась весть о том, что Егора убили тогда, когда, отправляясь из Алешина в город, он шел по лесной тропе на разъезд, чтобы повидать своего друга Ивана Михайловича.

— Его убил Ермолай и в кустах обронил с убитого кепку, а потом все ходил по лесу, искал ее, да не мог найти. А натолкнулся на кепку машинистов мальчишка Петька, который заплутался и забрел в ту сторону.

И тогда точно яркая вспышка света блеснула перед собравшимися мужиками. И тогда многое вдруг стало ясным и понятным. И непонятным было только одно: как и откуда могло возникнуть предположение, что Егор Михайлов — этот лучший и надежнейший товарищ — позорно скрылся, захватив казенные деньги?

Но тотчас же, объясняя это, из толпы, от дверей послышался надорванный, болезненный выкрик хромого Сидора, того самого, который всегда отворачивался и

уходил, когда с ним начинали говорить о побеге Егора.

— Что Ермолай! — кричал он.— Чье ружье? Все подстроено. Им мало смерти было... Им позор подавай. Деньги везет... Бабах его! А потом — убежал... Вор! Мужики взъярятся: где деньги? Был колхоз — не будет... Заберем луг назад... Что Ермолай! Все... все... подстроено!

И тогда заговорили еще резче и громче. В избе становилось тесно. Через распахнутые окна и двери злоба и ярость вырывались на улицу.

— Это Данилино дело! — крикнул кто-то.

— Это ихнее дело! — раздались кругом разгневанные голоса.

И вдруг церковный колокол ударил набатом, и его густые дребезжащие звуки загремели ненавистью и болью. Это обезумевший от злобы, к которой примешивалась радость за своего не убежавшего, а убитого Егора, хромой Сидор, самовольно забравшись на колокольню, в яростном упоении бил в набат.

— Пусть бьет. Не трогайте! — крикнул дядя Серафим.— Пусть всех поднимает. Давно пора!

Вспыхивали огни, распахивались окна, хлопали калитки, и все бежали к площади — узнать, что случилось, какая беда, почему шум, крики, набат.

А в это время Петька впервые за многие дни спал крепким и спокойным сном. Все прошло. Все тяжелое, так неожиданно и крепко сдавившее его, было свалено, сброшено. Он много перемучился. Такой же мальчуган, как и многие другие, немножко храбрый, немножко робкий, иногда искренний, иногда скрытный и хитроватый, он из-за страха за свою небольшую беду долго скрывал большое дело. Он увидал валяющуюся кепку в тот самый момент, когда, испугавшись пьяной песни,

хотел бежать домой. Он положил свою фуражку с компасом на траву, поднял кепку и узнал ее: это была клетчатая кепка Егора, вся продырявленная и запачканная засохшей кровью. Он задрожал, выронил кепку и пустился наутек, позабыв о своей фуражке и о компасе.

Много раз пытался он пробраться в лес, забрать фуражку и утопить проклятый компас в реке или в болоте, а потом рассказать о находке, но каждый раз необъяснимый страх овладевал мальчуганом, и он возвращался домой с пустыми руками.

А сказать так, пока его фуражка с украденным компасом лежала рядом с простреленной кепкой, у него не хватало мужества. Из-за этого злосчастного компаса уже был поколочен Сережка, был обманут Васька, и он сам, Петька, сколько раз ругал при ребятах непойманного вора. И вдруг оказалось бы, что вор — он сам. Стыдно! Подумать даже страшно! Не говоря уже о том, что и от Сережки была бы взбучка и от отца тоже крепко попало бы. И он осунулся, замолчал и притих, все скрывая и утаивая. И только вчера вечером, когда он по песне узнал Ермолая и угадал, чтó ищет Ермолай в лесу, он рассказал Ивану Михайловичу всю правду, ничего не скрывая, с самого начала.

16

Через два дня на постройке завода был праздник. Еще с раннего утра приехали музыканты, немного позже должны были прибыть делегация от заводов из города, пионерский отряд и докладчики.

В этот день производилась торжественная закладка главного корпуса.

Все это обещало быть очень интересным, но в этот



Завидя эту процессию, ребятишки попятились к самому краю тропки...

же день в Алешине хоронили убитого председателя Егора Михайлова, чье закиданное ветвями тело разыскали на дне глубокого, темного оврага в лесу.

И ребята колебались и не знали, куда им идти.

— Лучше в Алешино,— предложил Васька.— Завод еще только начинается. Он всегда тут будет, а Егора уже не будет никогда.

— Вы с Петькой бегите в Алешино,— предложил Сережка,— а я останусь здесь. Потом вы мне расскажете, а я вам расскажу.

— Ладно,— согласился Васька.— Мы, может быть, еще и сами к концу поспеем... Петька, нагайки в руки! Гайда на коней и поскачем.

После жарких, сухих ветров ночью прошел дождик. Утро разгоралось ясное и прохладное.

То ли оттого, что было много солнца и в его лучах бодро трепыхались упругие новые флаги, то ли оттого, что нестройно гудели на лугу сыгрывающиеся музыканты и к заводской площадке тянулись отовсюду люди, было как-то по-необыкновенному весело. Не так весело, когда хочется баловать, прыгать, смеяться, а так, как бывает перед отправлением в далекий, долгий путь, когда немножко жалко того, что остается позади, и глубоко волнует и радует то новое и необычайное, что должно встретиться в конце намеченного пути.

В этот день хоронили Егора. В этот день закладывали главный корпус алюминиевого завода. И в этот же день разъезд № 216 переименовывался в станцию «Крылья самолета».

Ребятишки дружной рысцой бежали по тропке. Возле мостика они остановились. Тропка здесь была узкая, по сторонам лежало болотце. Навстречу шли люди. Четыре милиционера с наганами в руках — два

сзади, два спереди — вели троих арестованных. Это были Ермолай, Данила Егорович и Петунин. Не было только веселого кулака Загребина, который еще в ту ночь, когда загудел набат, раньше других разузнал, в чем дело, и, бросив хозяйство, скрылся неизвестно куда.

Завидя эту процессию, ребятишки попятились к самому краю тропки и молча остановились, пропуская арестованных.

— Ты не бойся, Петька! — шепнул Васька, заметив, как побледнело лицо его товарища.

— Я не боюсь,— ответил Петька.— Ты думаешь, я молчал оттого, что их боялся? — добавил Петька, когда арестованные прошли мимо.— Это я вас, дураков, боялся.

И хотя Петька выругался и за такие обидные слова следовало бы дать ему тычка, но он так прямо и так добродушно посмотрел на Ваську, что Васька улыбнулся сам и скомандовал:

— В галоп!

Хоронили Егора Михайлова не на кладбище, хоронили его за деревней, на высоком, крутом берегу Тихой речки. Отсюда видны были и привольные, наливающиеся рожью поля, и широкий Забелин луг с речкой, тот самый, вокруг которого разгорелась такая ожесточенная борьба. Хоронили его всей деревней. Пришла с постройки рабочая делегация. Приехал из города докладчик.

Из поповского сада вырыли бабы еще с вечера самый большой, самый раскидистый куст махрового шиповника, такого, что горит весной ярко-алыми бесчисленными лепестками, и посадили его у изголовья, возле глубокой сырой ямы.

— Пусть цветет!

Набрали ребята полевых цветов и тяжелые простые венки положили на крышку сырого соснового гроба. Тогда подняли гроб и понесли. Старик Иван Михайлович, бывший машинист бронированного поезда, который пришел на похороны еще с вечера, провожал в последний путь своего молодого кочегара.

Шаг у старика был тяжелый, а глаза влажные и строгие.

Забравшись на бугор повыше, Петька и Васька стояли у могилы и слушали.

Говорил незнакомый из города. И хотя он был незнакомый, но он говорил так, как будто бы давно и хорошо знал убитого Егора и алешинских мужиков, их заботы, сомнения и думы.

Он говорил о пятилетнем плане, о машинах, о тысячах и десятках тысяч тракторов, которые выходят и должны будут выйти на бескрайние колхозные поля.

И все его слушали.

И Васька с Петькой слушали тоже.

Но он говорил и о том, что так просто, без тяжелых, настойчивых усилий, без упорной, непримиримой борьбы, в которой могут быть и отдельные поражения и жертвы, новую жизнь не создашь и не построишь.

И над еще не засыпанной могилой погибшего Егора все верили ему, что без борьбы, без жертв не построишь.

И Васька с Петькой верили тоже.

И хотя здесь, в Алешине, были похороны, но голос докладчика звучал бодро и твердо, когда он говорил о том, что сегодня праздник, потому что рядом закладывается корпус нового гигантского завода.

Но хотя на постройке был праздник, тот, другой

оратор, которого слушал с крыши барака оставшийся на разъезде Сережка, говорил о том, что праздник праздником, но что борьба повсюду проходит, не прерываясь, и сквозь будни и сквозь праздники.

И при упоминании об убитом председателе соседнего колхоза все встали, сняли шапки, а музыка на празднике заиграла траурный марш.

Так говорили и там, так говорили и здесь потому, что и заводы и колхозы — все это части одного целого.

И потому, что незнакомый докладчик из города говорил так, как будто бы он давно и хорошо знал, о чем здесь все думали, в чем еще сомневались и что должны были делать, Васька, который стоял на бугре и смотрел, как бурлит внизу схватываемая плотиной вода, вдруг как-то особенно остро почувствовал, что ведь и на самом деле все — одно целое.

И разъезд № 216, который с сегодняшнего дня уже больше не разъезд, а станция «Крылья самолета», и Алешино, и новый завод, и эти люди, которые стоят у гроба, а вместе с ними и он, и Петька — все это частицы одного огромного и сильного целого, того, что зовется Советской страной.

И эта мысль, простая и ясная, крепко легла в его возбужденную голову.

— Петька,— сказал он, впервые охваченный странным и непонятным волнением,— правда, Петька, если бы и нас с тобой тоже убили, или как Егора, или на войне, то пускай?.. Нам не жалко!

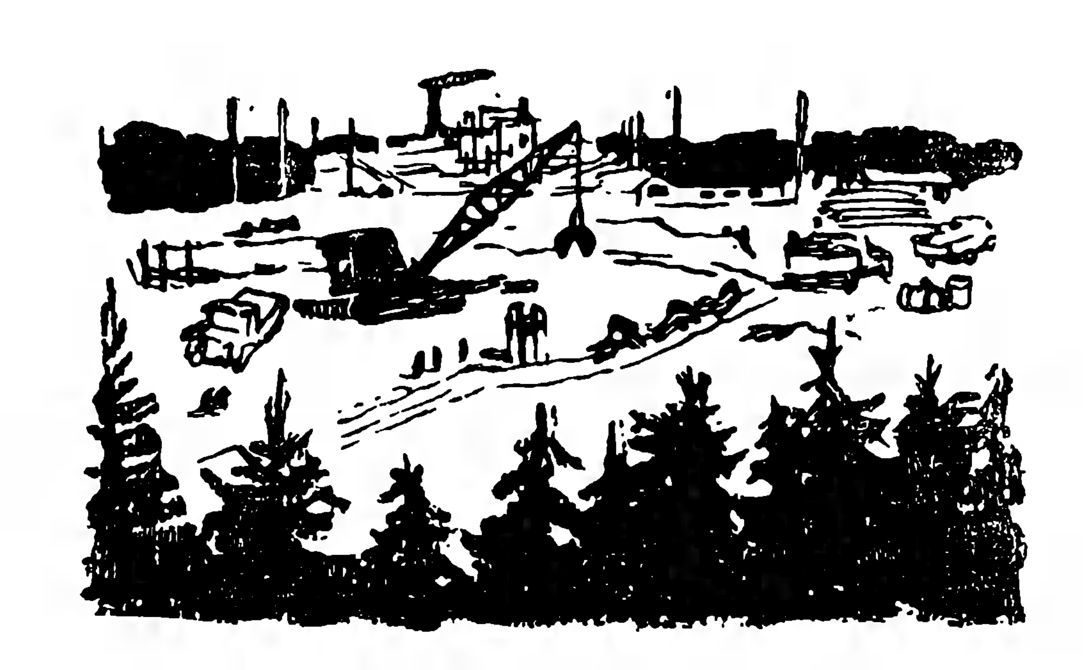
— Не жалко! — как эхо, повторил Петька, угадывая Васькины мысли и настроение.— Только, знаешь, лучше мы будем жить долго-долго.

...Когда они возвращались домой, то еще издалека услышали музыку и дружные хоровые песни. Праздник был в самом разгаре.

С обычным ревом и грохотом из-за поворота вылетел скорый.

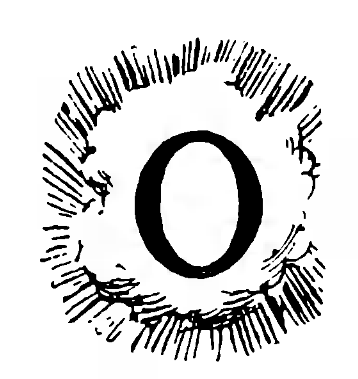
Он промчался мимо, в далекую советскую Сибирь. И ребятишки приветливо замахали ему руками и крикнули «счастливого пути» его незнакомым пассажирам.

1931 г.





ПУСТЬ СВЕТИТ



ТЕЦ запаздывал, и за стол к ужину сели трое: босой парень Ефимка, его маленькая сестренка Валька и семилетний братишка по прозванию Николашка-баловашка. Только что мать пошла доставать кашу, как внезапно погас свет.

Мать из-за перегородки закричала:

— Кто балуется? Это ты, Николашка? Смотри, идоленок, добалуешься!

Николашка обиделся и сердито ответил:

— Сама не видит, а сама говорит. Это не я потушил, а, наверное, пробки перегорели.

Тогда мать приказала:

— Пойди, Ефимка, притащи из сеней лестницу. Да поставь сначала сахарницу на полку, а то эти граждане в темноте разом сахар захапают.

Вышел Ефим в сени, смотрит: что за беда? И на улице темно, и на станции темно, и кругом темно. А тут еще небо в черных тучах и луна пропала.

Забежал Ефим в комнату и сказал:

— Зажигайте, мама, коптилку. Это не пробки перегорели, а, наверное, что-нибудь на заводе случилось.

Мать пошла в чулан за керосином, а Ефимка, разыскивая сапоги, торопливо полез под кровать. Левый сапог нашел, а правый никак.

— Наверное, это вы опять куда-нибудь задевали? — спросил он у притихших ребятишек.

— Это Валька задевала,— сознался Николашка.— Она стащила сапог за печку, воткнула в него веник и говорит, что это будет сад.

— Ефимка, а Ефимка,— тревожным шепотом спросил Николашка,— что это такое на улице жужукает?

— Я вот вам пожужукаю,— ответил Ефимка. И, выкинув из сапога березовый веник, он с опаской сунул руку внутрь голенища, потому что уже однажды эта негодница Валька, поливая свой сад, вкатила ему в сапог целую кружку колодезной воды.— Я вот ей хворостиной пожужукаю!

Но тут и он замолчал, потому что услышал сквозь распахнутое окно какое-то странное то ли жужжание, то ли гудение. Он натянул сапоги и выскочил из комнаты. В сенях столкнулся с матерью.

— Ты куда? — вскрикнула мать и крепко вцепилась в его руку мокрыми от керосина пальцами.

— Пусти, мама! — Ефимка рванулся и выбежал на крыльцо.

Оглянувшись, он торопливо затянул ремень, надел кепку и быстро побежал темной улицей через овражек, через мостик в гору — в ту сторону, где стоял их небольшой стекольный завод.

В сенях что-то стукнуло. Кто-то впотьмах шарил рукой по двери.

— Кто там? — спросила мать, а Валька и Николашка подвинулись к ней поближе.

— Не спишь, Маша? — послышался дребезжащий старческий голос.

И тогда мать узнала, что это соседка Марфа Алексеевна.

— Какой тут сон,— быстро заговорила обрадованная мать.— И свету нет, и аэроплан гудит, и самого нет. А тут еще Ефимка так и рванулся из рук, как будто бы его кипятком ошпарили.

— Комсомольцы,— с грустью проговорила бабка.

Слышно было, как отодвинула она табуретку и положила руку на клеенчатый стол.

— Вот так и у меня Верка, как потух свет да услыхала она, что гудит, кинулась сразу к двери. Я ей говорю: «Куда ты, дура?.. Ну мужики, ну парнишки... А ты ведь еще девчонка... Шестнадцать годов». А она постояла, подумала. «Бабуня,— говорит,— не сердись. Это белый аэроплан. Это тревога. У нас сбор... У меня там товарищи». Схватила в сенях с гвоздя сумку да, как кошка, прыгнула. Вот, Маша! Только я ее и видела.

— Сумку-то какую взяла? — спросила мать.

— А бог ее знает! Недавно притащила, сначала в комнате повесила. Да я сказала: «Убери, Верка, в сени, а то вся квартира карболкой пропахнет».

— Это военно-санитарная сумка,— вставил Николашка.— Это когда пробьет человека пулей или рванет его бомбой, вот тогда из этой сумки достают и завязывают. Я уже все узнал.

— Ты да не узнаешь! — вздохнула мать и, услышав, как загромыхал он табуреткой, спросила: — Ну и куда ты, Николашка, лезешь? Ну и что тебе не сидится? Только Валька задремала, а он — грох... грох...

— Мама,— отодвигаясь от подоконника, уже тише спросил Николашка,— а что это такое далеко бубухает: бубух да бубух?

— Где, паршивец, бубухает? — тихо переспросила вздрогнувшая мать.

И от этих глупых Николашкиных слов руки ее ослабли, а маленькая спящая Валька показалась ей тяжелой, как большой камень.

Она подвинулась к окошку.

И точно, как порывы шального ветра, как отголоски уже недалекой грозы, что-то вздрагивало, затихало, но это был не ветер и не гроза, это глухо и часто бабахали боевые орудия.

Чем ближе подбегал Ефим к заводу, тем чаще и чаще попадались ему торопящиеся люди, хлопали калитки, громыхали ворота и тарахтели телеги. Поднимаясь в гору, он нагнал комсомолку Верку.

— Бежим скорее, Верка. Ты не знаешь, где это бабахают?

— Погоди, Ефим! Подержи-ка сумку. Я чулок поправлю. Я уже спать собралась, вдруг — гудит. Насилу от бабки вырвалась.

— Что чулок,—ответил Ефим, забирая пахнувшую лекарствами сумку.— Что чулок! У меня и вовсе один сапог на босу ногу. Скорей бежим, Верка.

У поворота они столкнулись с двумя. Один был незнакомый, длинный, с винтовкой, другой — без винтовки, с наганом.

И тот, который с наганом, был член ревкома Семен Собакин.

— Стойте,— приказал Собакин.— Вы куда? На сбор? Там пока и без вас обойдутся. Бегите скорее на перекресток Малаховской дороги. Сейчас пойдут подводы для беженцев. Сидите, дежурьте и считайте. Пятнадцать подвод сразу на Верхние бугры, и пусть ждут у школы. Десять — по Спасской в самый конец. А все остальные к ревкому.

— Дай винтовку, Собакин,— попросил Ефим.— Раз я дежурный, то давай винтовку.

— Дай ему, Степа,— обернулся Собакин к своему длинному сутулому товарищу.

— Не дам,— удивленно и спокойно ответил товарищ.— Вот еще мода!

— Дай, а я на сборе сейчас же скажу, чтобы тебе другую выдали.

— Не дам! — уже сердито ответил товарищ.— Другая то ли еще будет, то ли нет. А эта на месте.— И, хлопнув ладонью по прикладу, он ловко закинул винтовку через плечо.

— Ну, хоть штык дай,— рассердился торопящийся Собакин.

— Это дам,— согласился товарищ.

И, сняв с пояса, он протянул Ефиму тяжелый немецкий штык в блестящих ободранных ножнах.

— Как бритва,— добродушно сказал он нахмурившемуся Ефиму.— Сам своими руками целый час точил.

...Они добежали до перекрестка темной и пустой дороги.

— Сядем под кустом,— тихо сказал Ефим.— Заодно я в сапог травы натолкаю, а то как бы и вовсе не сбить ногу без портянки.

Свернули и сели. Ефим сдернул сапог и, ощупав рукою траву, спросил:

— А что, Верка, нет ли у тебя в сумке широкого бинта или марли? Тут не трава, а кругом сухая полынь.

— Вот еще, Ефимка! И бинт есть и марля есть, только я не дам: это для раненых, а не на твои портянки.

— Пожалела, дуреха,— рассердился Ефим и, осторожно ступая, пошел в кусты.

Он ожег руку о крапиву. Наколол пятку колючкой. Наконец, нащупав большой лопух, он сел на землю и стал завертывать босую ногу в широкие пыльные листья.

Он обул сапог и задумался. Еще только позавчера он спокойно шел по этой дороге. Вот так же булькал ручей. Вот так же тихо насвистывала пичужка. Но не грохали тогда орудия. Не полыхало на черном небе зарево и не гудел издалека тяжелый церковный колокол: доон!.. доон!..

— Казаки,— пробормотал он, вспомнив клубные плакаты,— белые казаки.

И вдруг, как будто бы только сейчас впервые за весь вечер, он по-настоящему понял, что это уже не те безвредные намалеванные казаки, что были приляпаны вместе с плакатами на стенах ревкома и в клубе, а что это мчатся живые казаки на быстрых конях, с тяжелыми шашками и с плетеными нагайками.

Он вскочил и пошел к Верке.

— Верка,— сказал он, крепко сжимая ее руку,—

ты что? Ты не бойся. Скоро пойдем на сбор, там все наши.

— Дай ножик, Ефимка. Почему ты так долго?

— На, возьми,— и Ефим протянул ей холодный маслянистый клинок немецкого штыка.

В темноте что-то хрустнуло и разорвалось.

— Бери,— сказала Верка.— Завернешь ногу, лучше будет. Слышишь, стучит? Это, кажется, наши подводы едут.

— Вот глупая! — выругался Ефим, почувствовав, как вместе с клинком она сунула ему в руку что-то теплое и мягкое.— Вот дура. И зачем ты, Верка, свой шерстяной платок разрезала?

— Бери, бери. На что он мне такой длинный? А то собьешь ногу... Нам же хуже будет.

Пятнадцать подвод пошли на Верхние бугры. Десять — до конца Спасской. Но последние подводы сильно запаздывали. И только к полуночи позабытые всеми Ефим и Верка вернулись к ревкому.

Орудия гремели уже где-то совсем неподалеку. Вблизи загорелась старая деревня Щуповка. Свет опять погас. Захлопывались ставни, запирались ворота, и улицы быстро пустели.

— Вы что тут шатаетесь? — закричал появившийся откуда-то Собакин.

— Собакин! Чтоб ты сдох! — со злобой крикнул побелевший Ефимка.— Кто шатается? Где отряд? Где комсомольцы?

— Погоди,— переводя дух, ответил узнавший их Собакин.— Отряд уже ушел. Вы с подводами? Берите две подводы и катайте скорее на Песочный проулок. Там остались женщины и ребята. Сейчас Соломон Самойлов прибегал. Все уехали, а они остались. Оттуда

поезжайте прямо к новому мосту. За мостом сбор. Дальше — на Кожуховку. А там наши.

Собакин быстро кинулся прочь и уже откуда-то из темноты крикнул Ефиму:

— Смотри... ты... боевой! Вы отвечать будете, если беженцы с проулка не попадут на место.

— Верка,— пробормотал Ефим,— а ведь это наши остались. Это Самойловы, Васильевы, мать с ребятами, твоя бабка.

— Бабке что? Она старая, ей ничего,— шепотом ответила Верка.— А Самойловым плохо: они евреи.

Крепко схватившись за руки, они побежали туда, где только что оставили две подводы. Но, сколько они ни бегали, сколько ни кричали, подводчик как провалился.

— Едем сами,— решил Ефим.— Прыгай, Верка. А ждать больше некогда.

На повороте они чуть не сшибли женщину. В одной руке женщина тащила узел, другою держала ребенка, а позади нее, всхлипывая, бежали еще двое.

— Ты, куда, Евдокия? Это за вами подвода! — крикнул Ефим.— Стой здесь и никуда не беги. А мы сейчас воротимся.

Еще не доезжая до дома, он услышал крики, плач и ругань.

— Соломон, где ты провалился? — закричала старая бабка Самойлиха. И с необычайной для ее хромой ноги прытью она вцепилась в Ефимкину телегу.

— Это я, а не Соломон,— ответил Ефим.— Тащите скорее ребят и садитесь.

— Ой, Ефимка! — закричала обрадованная мать.

И тотчас же бросилась накладывать на телегу мешки, посуду, корзинки, ребят, подушки, все в одну кучу.

— Мама, не наваливайте много,— предупредил Ефим.— На дороге еще тетка Евдокия с ребятами.

— Соломон где? — уже в десятый раз спрашивала Самойлиха.— Он побежал лошадей доставать. Куда же без Соломона?

— Не видел я Соломона. Это мои подводы,— ответил Ефим, и, забежав во двор, он отвязал с цепи собачонку Шурашку.

Вернувшись к первой подводе, он увидел, что мать взваливает ножную швейную машину.

— Мама, оставьте машину,— попросил Ефим.— Где же место? Ведь у меня на дороге еще тетка Евдокия с ребятами.

— Что, Евдокия?.. Я вот тебе оставлю! — угрожающе и тяжело дыша, ответила мать.— Я тебе, дьяволу, покажу, как бегать...— И, кроме машины, она бухнула на телегу помятый медный самовар.

— Бросьте машину! — с внезапной злобой вскрикнул Ефимка. И, вскочив на телегу, одним пинком он сшиб самовар, потом рванул за край машину и сбросил ее на дорогу.

— Верка! — крикнул он, отталкивая оцепеневшую мать.— Бери вожжи. Сейчас трогаем.

Трах-та-бабах!..— грохнуло где-то уже совсем неподалеку.

— Соломон! — застонала старуха Самойлиха.— Как же мы без Соломона?

— Некогда Соломона... Найдется... Не маленький... Верка, поехали.

Трах-та-бабах!..— грохнуло где-то еще ближе.

Быстро захватив на перекрестке Евдокию Васильеву с ребятишками, Ефим с силою ударил вожжами.

И тогда обе телеги, гремящие чайниками, корзи-

нами, кастрюлями, жестянками, рванулись вперед по пыльной опустевшей дороге.

Трах-та-бабах!..— ударило еще три раза подряд.

Ошалелые кони шарахнулись в сторону. Собачонка Шурашка метнулась в проулок. А Ефимка рванул вправо, потому что возле нового моста уже загорелась разбитая снарядами ветхая извозчичья халупа.

У противоположной окраины поселка кое-как они перебрались через старый, прогнивший мостик... Когда они очутились на другом берегу, мать замолчала, бабка заплакала, Евдокия перекрестилась, а Ефимка сразу же круто свернул в лес.

Дорога попалась узкая и кривая. Близилось утро, но в лесу было еще так темно, что только по стуку колес Ефимка угадывал, что вторая подвода идет следом.

Ефим подстегнул коня, и телеги выкатили на просторную светлеющую опушку.

И тут Ефим понял, где они. Кожуховка-то, в которую собирались отряды и беженцы, была где-то далеко, влево за лесами, а впереди совсем близко дымило трубами уже проснувшееся село Кабакино. Но, угадав, куда они выехали, Ефим вовсе не обрадовался. Он попридержал коня и задумался.

— Кабакино,— тихо сказал он Верке, показывая рукою на окутанное туманами серое и угрюмое село.

— Что ты? — испуганно переспросила Верка.

— Оно самое. Видишь, колокольня с золоченым крестом. Это ихняя, другой нет.

— Куда, господи, занесло! — в страхе сказала мать.— Что же мы теперь делать будем, Ефимка?

— А я почем знаю,— сердито ответил Ефимка, очищая кнутом замазанные дегтем сапоги.— То ругаться, а теперь—что, что? Подержи-ка вожжи, Верка.

Он спрыгнул и пошел к опушке. У опушки остановился и стал присматриваться: нет ли другой дороги, чтобы миновать стороною это опасное село.

Это было село богатых садоводов, то самое знаменитое Кабакино, в котором полгода тому назад погиб весь первый взвод Тамбовского продотряда и возле которого только две недели тому назад разбили бомбами легковую машину губпродкома. И теперь, когда кругом шныряли прорвавшиеся через фронт казаки, чего хорошего могли ожидать беженцы на этом незнакомом пути?

Но влево никакой дороги не было.

И вдруг Ефимка увидел, как со стороны Кабакина выезжают навстречу три подводы, а сбоку подвод гарцует на конях кучка черных всадников. Тогда, отскочив назад и низко пригибаясь, как будто бы кто-то ударил его палкой по животу, Ефимка помчался к подводам.

Он схватил за узду и круто заворотил телегу.

— Гони, Верка! Да замолчите, чтобы вы сдохли! — крикнул он, услыхав, как дружно заорали разбуженные рывками и толчками ребята.

И, подскакивая на выбоинах и ухабах, обе подводы покатили назад. Так катили они долго, Ефимка молча нахлестывал измотавшегося коня и оборачивался по сторонам, отыскивая, куда бы свернуть с дороги.

Наконец он заметил маленькую тропку.

Задевая за пни и корни, подводы тихо подвигались по узенькой кривой тропинке. Иногда деревья склонялись так низко, что дуги лошадей с шорохом цеплялись за спутанные ветви.

Давно уже и далеко позади простучали и стихли колеса кабакинских подводчиков, но беженцы шаг за шагом всё глубже и глубже забирались в чащу леса.

Наконец ветви раздвинулись. Сверкнуло солнце. И подводы тихо въехали на маленькую круглую поляну.

Здесь тропка оканчивалась. Здесь нужно было остановиться, отдохнуть и подумать, что же делать дальше.

Остановились и стали разбираться.

— Доехали, Верка,— невесело сказал Ефим, бросая вожжи и устало подсаживаясь на сухое трухлявое бревно.

Они молча посмотрели друг на друга.

Лицо Ефимки горело и было в красных пятнах, как будто бы он только недавно упал головой в крапиву. Рубаха — в пыли, сапоги — в грязи. И только ободранные ножны штыка у пояса сверкали на солнце, как настоящие серебряные.

В черных косматых волосах Верки запутались сухие травинки и серо-красная голова репейника. От шеи к плечу тянулась яркая, как после удара хлыстом, полоска. А смятое ситцевое платье было разодрано от бедра до колена.

Верка взяла ведро и пошла за водой. Ходила она до́лго, но хорошей воды не нашла и принесла из болота. Вода была прозрачная, но теплая и пахла гнилушками.

Пришлось разводить костер и кипятить. Ефим распряг коней и повел поить.

— Где вода? — спросил Ефим у Верки, которая, укрывшись мешком, сидела и гадала, как бы зачинить разлохмаченное платье.

— Пойдем, я сама покажу... Все равно скоро не зачинишь,— сказала она, показывая на схваченные булавками лохмотья.— Посмотри-ка, Ефимка, что это у меня на шее?

— Ссадина,— ответил Ефим.— Здоровенная. Ты крепко зашиблась, Верка?

— Плечо ноет, да колено содрано. А тебе меня жалко, что ли?

— Ладно еще, что вовсе голову не свернуло,— огрызнулся Ефим.— Я ей говорю: «Бежим скорее!» А она: «Погоди... чулок поправлю». Вот тебе и нарвалась на Собакина. Ребята в отряде. Все вместе... кучей. А ты теперь возись, как старая баба, с ребятами.

— Ефимка! — помолчав, сказала Верка.— А ведь белые казаки бьют всех евреев начисто.

— Не всех. Какой-нибудь банкир... Зачем им его бить, когда они сами с ним заодно. Ты бы лучше книжки читала, чем по вечеринкам шататься. А то иду я, сидит она, как принцесса, да семечки пощелкивает. А возле нее Ванька Баландин на балалайке... Трынди-брынди...

— У Самойловых отец не банкир, а кочегар,— покраснела Верка.— У Евдокии Степан в пулеметчиках, взводный, что ли! Да и Вальку с Николашкой тоже было бы жалко. А ты заладил... Собакин... Собакин...

— Почему «тоже бы»? — обозлился догадавшийся Ефим. И, чтобы обидеть ее, он с издевкой напомнил:— Как на собрании, так она дура дурой, а тут: «тоже бы». Ее спрашивают, кто такой Фридрих Энгельс. А она думала, думала, да и ляпнула: «Это,— говорит,— какой-то народный комиссар...»

— Забыла,— незлобиво созналась Верка.— Я его тогда с Луначарским спутала.

— Как же можно с Луначарским?—опешил Ефимка.— То Фридрих Энгельс, а то Луначарский. То в Германии, а то в России. То жив, а то умер.

— Забыла,— упрямо повторила Верка.— Я мало училась.— И, помолчав, она хмуро сказала: — А что нам с тобой ссориться, Ефимка? Ведь ото всех наших мы с тобой только одни остались.

...Вскоре заполыхал костер, зашумел чайник, забурлила картошка, зафыркала каша, и все пошло дружно и споро.

А когда разостлали брезент на траве и, голодные и усталые, сели обедать всем табором, то показалось, что среди этой звонкой лесной тишины забыли всё — и о своей неожиданной беде и о своих тяжелых думах.

Но как ни забывай, а беда висела не пустяковая: куда идти, как выбираться?

И когда после обеда маленькие ребятишки завалились спать, то собрались вокруг Ефимки и ворчливая бабка, и тихая Евдокия, и глубоко оскорбленная Ефимкой мать...

И так прикидывали и так думали... Наконец решили, что пока все останутся на месте, а Ефимка пойдет через лес разведывать дорогу. Идти никуда Ефимке не хотелось, а крепко хотелось ему спать. Но он поднялся и подозвал Николашку, который тихонько подслушивал, о чем говорят старшие.

— Возьми, Николай,— отстегивая штык, сказал Ефимка,— повесь его на пояс. И будешь ты вместо меня комендантом.

— Зачем? — спросила мать.— На что такое баловство? Еще зарежется. Дай, Николашка, я спрячу.

Но, крепко сжав штык, Николашка отлетел чуть ли не на другой конец поляны, и мать только махнула рукой.

— Спрячь, Верка,— позевывая, сказал Ефим, подавая ей клеенчатый бумажник, из которого высовывался рыжий комсомольский билет.

— Зачем это? — не поняла мать. И вдруг, догадавшись, она нахмурилась и сказала, не глядя Ефимке в глаза: — Ты, Ефимка, того... Поосторожней...

— Как бы ночевать не пришлось,— дотрагиваясь

до почерневших жердей, сказал Ефим.— Наруби-ка ты, Верка, с комендантом веток да зачините у шалаша крышу. А то ударит гроза, куда ребятишек денем!

Переобув сапоги, он подошел к телегам, похлопал каурого конька по шее, взял с воза ременный кнут и, посмотрев на солнышко, пошел, не оборачиваясь, в лесную гущу.

— Как бы грозы не было,— сказала Евдокия, поглядывая на небо,— ишь, как тучи воротит.

Верка одернула наспех зашитое платье и, вспомнив Ефимкино приказание, крикнула Николашке, чтобы он бежал к ней со штыком рубить ветки и чинить худой шалаш.

На кусты налетели целой ватагой: Николашка, Абрамка, Степка. Вскоре навалили целую гору. Закидали дыры, натащили внутрь большие охапки пахучей травы, занавесили ход. И, еще не дожидаясь наступления грозы, ребятишки один за другим дружно полезли в шалаш.

Небо почернело. Кони настороженно зашевелили ушами. На притихшую зеленую полянку опускались тревожные сумерки.

Лежа у костра и изредка поправляя горячие картофелины, Верка вдруг подумала: «А что же будет, если казаки ударят так сильно, что не справится с ними и погибнет вся Красная Армия? Какая тогда будет жизнь?»

Костер совсем погас, угли подернулись пеплом, и только одна головешка, черная и корявая, тихонько потрескивая, чадила едким и синеватым дымком.

И тут же, кто его знает почему, Верка вспомнила, как давно однажды пришел ее отец веселый, потому что был праздник,— или родился, или женился какой-то царь. И отец сказал, что на радостях дяде Алексею

назначили досиживать в тюрьме не полтора года, как оставалось, а всего только восемь месяцев.

Все обрадовались, а Верка всех больше. Потому что раньше, когда дядя Алексей еще не сидел в тюрьме, он часто приходил в гости и дарил Верке или копейку, или пряник. А однажды на именины он подарил ей голубую блестящую ленту, такую невиданно красивую, что перепуганная от радости Верка, схватив подарок, как кошка умчалась на чердак и не слезала до тех пор, пока мать не прогнала ее оттуда веником.

«Нет, не может быть, чтобы разбили...» — подумала она. И опять вспомнила, как однажды уже после смерти отца, мать взяла ее с собой в один дом на кухню.

Когда мать стирала белье, дверь тихонько отворилась и, лениво позевывая, на кухню вошла огромная и гордая собака. Она подошла к углу, где стояла широкая тяжелая миска, сняла зубами крышку и достала большой кусок сочного вареного мяса. Широко вылупив глаза и боясь пошевельнуться, Верка смотрела на то, как спокойно, почти равнодушно съела собака этот кусок, потом сама накрыла миску крышкой и, не глядя ни на кого, так же лениво и гордо ушла в глубину тяжелых прохладных комнат.

«Нет, не погибнет! — опять успокоила себя Верка.— Разве же можно, чтобы погибла?»

Дым от головешки попал ей в лицо. Верка сощурилась, протирая глаза кулаком, и перед нею всплыло беззлобное лицо тихой побирушки Маремьяны, муж которой, стекловар, умер от ожога на заводе. Эта побирушка ходила под окнами и робко просила милостыню, но когда добиралась она до крыльца Григория Бабыкина, который был хозяином стекольного завода, то, крестясь и страшно ругаясь, грозно стучала палкой в тяжелые ворота.

И тогда Григорий Бабыкин высылал дворника Ермилу. А дворник Ермила, тихонько подталкивая побирушку, бормотал хмуро и виновато: «Уходи, Маремьяна. Мне что... Я человек нанятой. Уходи от греха. Видно, уж бог вас рассудит».

— Разве же можно, чтобы погибла? — убежденно повторила Верка и сердито хлопнула по голому плечу, в которое больно кололи черные невидимые комары.

— Что одна? Посидим вместе,— раздался за ее спиной знакомый голос.

— Ефимка... Дурак! — вскрикнула испуганная Верка.

И, не зная, что сказать от радости, она схватила его за плечи, потом выхватила из-под пепла костра две горячие картофелины и, перекатывая их на ладонях, протянула ему:

— Садись. Ешь. Это я для тебя испекла. Я-то жду, жду, а тебя нет и нет.

— И то дело,— устало опускаясь на траву, согласился Ефимка.— Есть хочу, как собака.

Заслышав голоса, вылезла мать, за нею Евдокия, и даже бабка Самойлиха, которая никак не могла уложить Розку, высунула из шалаша седую голову.

Но в том, что рассказал Ефимка, хорошего было мало: от встретившегося старика пастуха он узнал, что — один с утра, другой к полудню — проскакали по дороге два казачьих разъезда, что впереди, в Кабакине, бушует белая банда. Значит, оставалось только одно: бросить телеги, навьючить коней и двигаться к Кожухову через леса, через овраги пешком.

Все замолчали.

— Ефим,— предложила мать,— а что, если попробовать выбраться по-другому?

— Как еще по-другому? — удивился Ефимка.

— А так. У нас на лбу не написано, что мы беженцы. Мало ли кто. Ну, из голодающей губернии... ну, погорельцы. Женщины да ребята. Кто нас тронет?

— Нельзя,— насторожилась Верка.— Самойловы евреи. А белые казаки бьют их начисто.

— Ну, так давайте тогда разделимся,— рассердилась мать,— и пусть каждый идет сам по себе. Если мы целым табором, так нас каждый заметит, а по отдельности куда как легче будет.

— Так нельзя,— опять перебила Верка и с удивлением посмотрела на молчавшего Ефимку.

— Тебя не спрашивают,— оборвала ее мать.— А двадцать верст с ребятишками по оврагам, болотам да лесом — это разве можно? Ты думаешь, мне добра жалко? Мне не жалко, бог с ним. Можно одну телегу Евдокии отдать, другую — Самойлихе. А мы и так потихоньку доберемся. Где я Вальку поднесу, а где ты, Ефимка, поможешь.

Ефимка молчал, но он видел, как сбоку все больше и больше высовывается седая трясущаяся голова Самойлихи и как яростно укачивает Самойлиха плачущую Розку, стараясь не пропустить ни слова.

— Дура ты! — вполголоса сказал Ефимка и поднялся от костра.

— Это кто дура? — переспросила притихшая мать.

— Ты дура. Вот кто! — злобно выкрикнул Ефимка и, ударив кулаком любопытного каурого конька, плюнул и пошел к телегам.

— Что ты, Ефимка? — спросила Верка, подходя к нему в то время, когда он стаскивал с телеги брезентовое полотнище.

— Ничего. Спать надо,— коротко ответил Ефимка.— Укрываться чем будем?

Когда Верка притащила широкую жёсткую дерюгу, Ефимка, сидя на разостланном брезенте, перематывал портянки.

— Чтоб он пропал, этот Собакин!—опять выругался Ефимка и озабоченно спросил: — Розка-то чего орет? Только еще не хватало, чтоб заболела.

Легли рядом, укрылись дерюгой и замолчали.

Черные тучи, которые так беспросветно обложили вечером горизонт, тяжело и упрямо двигались на запад, обнажая холодное, блистающее звездами небо.

И вдруг среди великого множества Верка узнала одну знакомую звезду. Верка повернулась на спину, чтобы получше рассмотреть, не ошиблась ли. Нет, ошибки не было. Так же, крючком, стояли три звезды справа, четыре слева. Сверху не то змейка, не то блестящий птичий клюв, а посредине сияла спокойная, светлая, голубая — та сама, которую видела однажды Верка из окна, когда лежала она на жесткой койке тифозного барака.

— Ефимка,— с любопытством сказала, повернувшись на бок, Верка,— а какой, по-твоему, будет социализм? Ну вот, например, то так люди жили, а то будут как?

— Еще что! — сонным голосом отозвался Ефимка.— Как будут? Да очень просто.

— Ну, а все-таки. Как просто? То, например, работаешь, работаешь, пришла получка — получил, потом истратил, потом опять работаешь, потом воскресенье. Пошел гулять, или пить, или в гости, потом опять работаешь, потом опять воскресенье. Или, скажем, мужик... Смолотил он пшеницу, свез в город, купил корову, потом корова сдохла. Вот он опять посеял... У одного уродилась, он еще корову купил. А у другого или не уродилась, или градом побило...

— Почему же это сдохла? — удивился и не понял Ефимка.— Ты бы лучше книжки читала. А то: не уродилась... сдохла... Мелешь, а что, сама не знаешь.

— Ну, пускай не сдохла,— упрямо продолжала Верка.—Все равно. Я, Ефимка, книжки читала. И программу коммунистов. Самое-то главное я поняла. А вот как по-настоящему все будет — этого я еще не поняла. Ну, скажем, один рабочий хорошо работает, другой плохо. Так неужели же им всего будет поровну?

— Спи, Верка,— почти жалобно попросил Ефимка.— Что я тебе, докладчик, что ли? Нам вставать чуть свет. Тут еще казаки... война. А она вон про что.

— Интересно же все-таки, Ефимка,— разочарованно ответила Верка и, дернув за край дерюги, обидчиво спросила: — Что же это ты, Ефимка, на себя всю дерюгу стащил? У тебя ноги в сапогах, а у меня совсем голые.

— Вот еще! Чтоб ты пропала! — заворчал Ефимка. И, сунув ей конец дерюги, он отвернулся и сердито закрыл лицо фуражкой.

Проснулся Ефимка оттого, что кто-то тихонько поправил ему изголовье.

Открыл глаза и узнал мать.

— Ты что? — добродушно спросил он.

— Ничего,— позевывая, ответила мать и села рядом.— Так что-то не спится. Лежу, думаю. И так думаю и этак думаю. А что придумаешь? Тошно мне, Ефимка!

— Хорошего мало! — согласился Ефимка.— Всем плохо. А мне, думаешь, весело?

— Тебе что! — с горечью продолжала мать.— Что ты, что она — ваше дело десятое. Ей пятнадцать, тебе шестнадцать. А мне сорок седьмой пошел. Вот сплю, проснулась — смотрю... что такое? Кругом лес... ша-

лаш. Ни дома, ни Семена. Ребятишки в траве, как кутята, приткнулись. Вышла — гляжу, ты валяешься под дерюгой. Господи, думаю, зачем же это я тридцать лет крутилась, вертелась... Все старалась, чтобы как у людей, как лучше. И вдруг что же... Погас свет. Зажужжало, загрохало. И не успела я опомниться, как на, возьми... шалаш, лес. И как будто бы все эти тридцать лет так разом впустую и ухнули.

Мать замолчала.

— Сапоги-то отцовские утром переодень,— равнодушно предложила она.— Сапоги новые, малы ему. Всё на муку променять хотел. Теперь все равно бросать, а тебе как раз впору.

— Это хорошо, что сапоги,— обрадовался Ефимка.— Да ты, мама, не охай. Вот погоди, отгрохает война — и заживем мы тогда по-новому. Тогда такие дома построят огромные... в сорок этажей. Тут тебе и столовая, и прачечная, и магазин, и все, что хочешь,— живи да работай. Почему не веришь? Возьмем да и построим. А над сорок первым этажом поставим каменную башню, красную звезду и большущий прожектор... Пусть светит!

— А куда он светить будет? — с любопытством, высовывая из-под дерюги голову, спросила Верка.

— Ну, куда? — смутился застигнутый врасплох Ефимка.— Ну, никуда. А что ему не светить? Тебе жалко, что ли?

— Не жалко,— созналась Верка.— Я и сама люблю, когда светло. Пусть светит!

Верка хотела было уже поподробней выспросить Ефимку, как будет и что, но тут ей показалось, что Ефимкина мать тихонько плачет. Тогда она сунула голову под дерюгу и замолчала. Догадавшись, о чем

мать собирается говорить, притворился сонным, замолчал и Ефимка.

Мать посидела, вздохнула, встала и ушла в палатку.

— Это она на меня за Самойлиху обиделась,— вполголоса объяснил Ефим и, закрывая голову, угрожающе предупредил: — А если ты, Верка, опять со мной начнешь разговаривать, то я спихну тебя с брезента, и спи тогда, где хочешь.

Утром, разбирая и скидывая ненужный скарб, старуха Самойлиха нашла в телеге под соломой ободранную трехлинейную винтовку.

Как она сюда попала, этого никто не знал.

И обрадованный Ефим решил, что винтовку забыл потерявшийся подводчик.

Все домашнее барахло — мешки, узлы, зимнюю одежду — стащили в гущу орешника, закрыли брезентом, закидали хворостом на тот случай, если приведет судьба вернуться.

На каурого конька сложили одеяла, сумки с остатками провизии, котелок, ведро и чайник. А сбоку тощей коняки ухитрились приспособить старенькую плетеную корзину. Сунули в нее подушку и посадили двоих несмышленых малышей.

— Сейчас трогаем,— сказал Ефим, закидывая винтовку за плечо.— А где Верка?

— Здесь, здесь! Никуда не делась,— откликнулась Верка, выбегая из-за куста.

Взамен вчерашнего рваного платья на ней была короткая юбка клешем и синяя блузка-матроска.

— Ишь ты, как вырядилась! Откуда это? — удивился Ефим.

— Бабка в узелок сунула. Выбрасывать, что ли? —

задорно ответила Верка, на ходу пристегивая подвязки к новым чулкам.

И тут Ефимка увидел, что не только одна Верка, но и его мать и тихая Евдокия тоже были наряжены в новые башмаки и платья.

— Как к празднику,— усмехнулся Ефим и, хлопнув кнутовищем по высоким голенищам новеньких отцовских сапог, обернулся к ребятишкам и скомандовал: — А ну, кавалерия... Давай вперед!

Сначала было неплохо. Мальчишки шныряли по кустам, подбирая грибы, выламывая хлыстики и общипывая грозди ярко-красных волчьих ягод.

Но вскоре дорога ухудшилась. Попадались болотца, потом овраги, не крутые, но частые, после которых приходилось останавливаться на роздых и перевязывать кое-как притороченные вьюки.

Уже спускались сумерки, когда усталые, измотанные беженцы очутились опять без дороги в таком густом лесу, что ни клочка неба, ни единой звездочки нельзя было разглядеть сквозь шатер шумливой листвы.

Наспех выбрали бугорок посуше. Кое-как раскидали оставшееся барахло, вздули костер, и весь табор сразу же завалился спать.

Первой проснулась Верка. Вздрагивая от холода, она пробралась к костру. Несколько крупных капель упало на ее плечи. Рванул ветер. И с тяжелыми перегудами и перекатами загремели невиданные тучи.

Сгрудили ребятишек кучею. Накрыли их брезентовым полотнищем и, укрывшись кто чем попало, спрятались под дерево сами.

Гроза стихла только к рассвету. Все перемокли, продрогли, но вокруг не оставалось ни клочка сухой

травы. Чтобы хоть немного согреться на ходу, решили сейчас же двигаться дальше. Но тут явилась новая беда. Испуганная ночною грозою, сорвалась с привязи и пропала куда-то их старая кляча. Мокрый каурый конек ходил рядом, а клячи не было.

Долго рыскал Ефимка по лесу. Кидался то в одну, то в другую сторону. Свистел, покрикивал, прислушивался — и все без толку. Спускаясь по глинистому скату, он поскользнулся и шлепнулся в холодную липкую грязь. Молча выбрался, сел на пенек и опустил голову.

— Что, брат, попался! — тихо пробормотал Ефимка, зажмуривая красные, опухшие глаза.

— Ефимка,— сказала Верка, выбегая ему навстречу,— а тут совсем рядом дорога.

— Какая дорога, откуда?

— Не знаю. Я тоже бегала искать коня. Вдруг гляжу — дорога. На дороге чья-то убитая лошадь. В кустах телега. А под телегой двое — старик и мальчишка.

— Подожди здесь, Верка,— сказал Ефимка, когда выбрались они к дороге.

Он выглянул. Свесив морду в придорожную канаву, валялась мокрая серая лошаденка. Тут же рядом, у телеги, на соломе сидели старик и небольшой парнишка. Заметив человека с винтовкой, парнишка забеспокоился. Но старик, повернув голову, продолжал сидеть не двигаясь.

— Здравствуй, дедушка,— сказал Ефим, оглядываясь по сторонам и пытаясь угадать, что же это тут произошло.

— Здравствуй, коли здороваешься,— хриплым басом ответил старик.— Откуда в такую рань бог несет?

— Не здешний,— ответил Ефимка.— Ты скажи, куда эта дорога идет?

— Разно куда идет. Один конец в одну сторону, другой — в другую. Тебе куда надо?

— Мне? — И Ефим запнулся.— Мне никуда не надо. Я так спрашиваю.

— Ну, а никуда, так и гуляй по лесу. На что тебе дорога? — грубо ответил старик и, нахмурив косматые брови, прямо и безбоязненно спросил: — Это из вашей, что ли, банды мне коня ночью угробили? Я с парнишкой еду, вдруг: «Стой! Кто едет?» Потом бах, бах... Погодите, разбойники, добабахаетесь.

Старик тяжело повернулся и продолжал:

— Банда-то ваша откуда, кабакинские? Кто у вас там верховодит, Гришка Кумаков, что ли? Так и скажи ты этому Гришке, что повесить его, подлеца, мало. Что же ты молчишь, рот раззявил? Или ты думаешь, я винтовки твоей испугался?

— Мне Гришка Кумаков не нужен,— ответил Ефимка, с уважением разглядывая этого крепкого старика.— Ты скажи лучше, как бы это мне поскорее да похитрее на Кожуховку выбраться.

— Так бы и говорил, что на Кожуховку,— помолчав, ответил старик и охотно рассказал Ефимке, куда ему надо держать путь.

Вернулся тогда Ефимка в табор, напоил каурого коня, из подушки и веревок смастерил плохонькое седлышко, приладил за плечи винтовку и сунул в карман кусок хлеба.

Молча обступили его всем табором. Теперь оставалась только одна надежда, что сумеет Ефимка пробраться в лес, переплыть через реку и доберется до Кожуховки с просьбой о подмоге.

Провожала его Верка до самой дороги. Здесь они остановились.

— Ступай,— сказал Ефимка.— Коли не вернусь к ночи, то попробуй пробраться сама. Ну, иди... Чего же ты стала как столб!

— Ефимка,— дотрагиваясь рукою до веревочного стремени, тихо сказала Верка,— ты смотри, если с тобою что-нибудь случится, то и мне и всем нам будет тебя очень-очень жалко.

— А мне вас, дура, разве не жалко! — сердитым и дрогнувшим голосом выкрикнул Ефимка и ударил по коню каблуками.

Высунувшись из-за кустов, Верка видела, как быстро помчался он по сырой дороге. Остановился у ветхого мостика через ручей, оглянулся назад и, махнув ей рукой, круто свернул в лес.

Стало теперь как-то пусто, тихо и уныло в таборе. Никто уже не покрикивал, не поругивался, не распоряжался. Пригреваемые солнышком, уснули продрогшие за ночь ребятишки. Еле-еле разгорался сырой костер.

К вечеру опять где-то загремело, загрохотало. Потом по дороге с шумом и звоном промчалось несколько всадников.

Тогда потушили костер и собрались все в кучу.

Ждали, очень крепко ждали и надеялись они на своего хорошего и смелого парня — на Ефимку.

Свернув с дороги в лес, Ефимка вскоре очутился на той тропке, о которой рассказал ему старик. Здесь было тихо и пусто. Бойко и задорно поддавал ходу каурый конек.

Рысью промчались они мимо густых зарослей осинника. Разбрызгивая грязь, пролетели они хлюпкое болотце. Потом на горку — по сухому песку. Потом

поворот... Еще поворот. Мимо ушей посвистывал теплый влажный ветер. Ефимка покрепче надвинул фуражку, поправил на скаку винтовку и улыбнулся, радуясь тому, как быстро и просто остаются позади версты.

Опять поворот, еще поворот. Вдруг что-то грохнуло, и, едва не перелетев через голову коня, Ефимка остановился.

Не дальше как в сотне шагов от него, там, где тропка перекрещивалась с дорогою, стояли три всадника. И двое из них старательно целились вверх, сбивая выстрелами изоляционные чашечки телеграфных проводов.

И не успел Ефимка опомниться, как одна пуля с визгом пронеслась мимо его головы, а другая чуть не вышибла его из седла, крепко рванув приклад перекинутой за плечи винтовки.

Тогда Ефимка пригнулся так, что едва не обхватил руками шею каурого, и опомнился только после того, как почувствовал, что каурый тихо шагает среди низкорослого болотистого леса.

Ефимка остановился. Шапки на нем не было. Кусок приклада был вырван пулей. Потрогал мокрый лоб — пальцы покраснели. Вероятно, на скаку содрал он кожу о сухую ветку. Посмотрел на солнце. Солнце висело теперь уже не слева от него, а впереди и чуть справа.

«Как же выбираться? Плутать буду»,— с тревогой подумал Ефимка.

В сырой прохладе однотонно, как нечаянно тронутая струна, звенела болотная мошкара. Далеко и грустно куковала кукушка.

...Что же ты нам клялся до зари,
Что ж ты обещался, говорил...—

опять вспомнил Ефимка ту самую немудреную песенку, которую еще так недавно пели заводские девчата, возвращаясь с комсомольской вечерки.

А теперь, поникнув бледной головой,
Ты стоишь, проклятый, сам не свой.

Все тогда пели, и Верка пела, и он подпевал тоже.

И тут Ефимка почувствовал, как крепче и крепче колотится его сердце, как горячей, ярче краснеет его лицо и как тяжелая и гордая злоба начинает давить ему пересохшее горло. Был завод, школа, дом, комсомол, песня. А теперь ничего, кроме этих усталых женщин да побледневших, измученных ребятишек, которые его ждут, на него надеются, в то время как он тут без толку месит грязь в болоте.

— Ах, собаки!.. Ах, императоры!..— незаметно для себя так же протяжно и с той же злобою повторил он, как и тот избитый бандитами мужик, который встретился недавно в лесу.

Ефим спрыгнул с коня. Плеснул болотной водою на окровавленный лоб. Подтянул седло и поправил винтовку.

Солнце опять стало слева. Славный каурый двинул рысью. И слегка сгорбившемуся Ефимке вдруг показалось, что теперь уже никто и ничто не сможет помешать ему пронестись, пробиться, прорваться к своим— в Кожуховку.

Конь вынес его на ту же тропку. Вскоре засверкало широкое поле. Вправо на бугорке виднелся хутор. Кто-то махал Ефиму шапкой и кричал, по-видимому приказывая остановиться. Вскоре трое верховых, отделившись от ограды, кинулись за ним вдогонку. Первая пуля слабо взвизгнула где-то высоко и в стороне. Потом вторая.

«Врешь, не попадешь, а догнать не догонишь!» — злорадно подумал Ефимка, заскакивая на опушку негустой рощицы. И вдруг он увидел, что рощица быстро расступается. Внизу под горкой голубеет спокойная широкая река, а за рекой, за просторными лугами раскинулось на горе село Кожухово.

Вот они — мельница, колокольня, старый барский дом над обрывом, а на высоком шпиле дома бодро колышется еле-еле заметный отсюда красный флаг.

Ти-у...— опять взвизгнула пуля, но теперь уже неподалеку.

— Врешь, не попадешь, а догнать не догонишь,— гордо повторил Ефимка и вместе с конем бултыхнулся в воду.

Холодная вода залила сапоги. Еще несколько шагов, и вода подошла к седлу. Слева и справа от коня полетели брызги. Тогда, не раздумывая, Ефимка свалился в воду, ухватился за гриву, и облегченный каурый, высоко подняв морду, рванулся вплавь.

Только что успели они выскочить к кустам, на берег, как вдруг каурый вздрогнул, поднялся на дыбы, упал на колени. Он попробовал встать, но не встал, а грузно повалился на бок, задергал ногами и захрипел. И тотчас же Ефимка услышал плеск воды.

— Ах, вот как! — стиснув зубы, гневно пробормотал Ефимка. И, низко пригибаясь, он пополз обратно к берегу.

Отсюда, из-за куста, ему было видно, как три всадника один за другим уверенно спускались в воду.

Тогда, сдерживая дыхание, Ефимка медленно оттянул предохранитель и нацелился в грудь первого. Но рука дрожала и не слушалась. Он положил качающееся дуло на сук, нацелился с упора и, невольно зажмурившись, выстрелил.

Когда он открыл глаза, то увидел, что двое поспешно поворачивают назад, а одинокий конь, фырча и отряхиваясь, уже выбирается на этот берег.

Конь был буланый, белогривый, седло добротное, казачье, и Ефимка крепко вцепился в мокрый ременный повод.

Солнце светило ему прямо в лицо, и, сощурившись, никого не видя, Ефимка домчался до кладбищенской ограды, где его сразу же окликнули и остановили.

Он не знал пароля и от волнения ничего не мог объяснить. Тогда его спéшили, отобрали винтовку и вместе с винтовкой и конем повели в штаб.

Но шаг за шагом он начал приходить в себя. Телеги, подводы, походная кухня, распахнутые ворота, оседланные кони, пулеметные двуколки, и вдруг откуда-то шарахнула песня — знакомая, такая близкая и родная.

Ефимка поднял глаза на своего конвоира и улыбнулся.

— Чего смеешься? — удивился долговязый головастый парень и настороженно приподнял винтовку.

— Хорошо! — сказал Ефимка и больше ничего не сказал.

— Этто правда,— снисходительно согласился парень.— Казаков-то из-под Козлова вчера ох как шарахнули!

Вдруг парень отпрянул и вскинул винтовку, потому что Ефимка вскрикнул и круто свернул вправо, где стояла кучка командиров.

— Собакин! Чтоб ты пропал! — громко и радостно выругался Ефимка.

— Ты! Отку-у-уда? — развел руками Собакин.

— Отту-уда! — передразнил его Ефимка.— Наши здесь? Отец здесь? Самойлов здесь?

— Здесь... Все здесь...— ответил Собакин, и, обернувшись к долговязому конвоиру, он насмешливо крикнул: — Да ты что, ворона, винтовку на нас наставил? Смотри, убьешь, кто хоронить будет?

Уже совсем ночью сорок всадников тихо подвигались по дороге, сопровождая телеги с разысканными беженцами.

Несмотря на то что Ефимка встал с рассветом и с тех пор почти не сходил с коня, спать ему не хотелось.

Где-то за черными полями разгоралось зарево, и оттуда доносились отголоски орудийных взрывов.

— В Кабакине,— негромко сказал начальник отряда.— Это четвертый Донецкий полк дерется.

— Так я останусь? — уже во второй раз спросил у начальника Ефимка.

— Где останешься?

— У вас в отряде, вот где. Конь у меня есть, седло есть, винтовка есть. Отчего мне не остаться!

— Эх, как бабахает! — приподнимаясь на стременах и прислушиваясь к канонаде, сказал начальник.— Видно, там крепкое у них затевается дело... Оставайся,— обернулся он к Ефимке и тотчас же приказал:— Давай-ка скажи, чтобы задние подводы не тарахтели. Что у них там, ведра, что ли?

Возвращаясь, Ефимка задержался возле первой телеги:

— Ты не спишь, Верка?

— Нет, не сплю, Ефимка.

— Я остаюсь! Завтра прощай, Верка.

Оба замолчали.

— Ты будешь помнить? — задумчиво спросила Верка.

— Что помнить?

— Все. И как мы лесом и тропками с ребятами и как тогда ночью разговаривали. Я так до самой смерти не позабуду.

— Разве позабудешь!

Ефимка сунул руку в карман и вытащил яблоко.

— Возьми, съешь, Верка, это сладкое. Слышишь, как грохают. И это везде, повсюду и грохает и горит.

— И грохает и горит,— повторила Верка.

Выбравшись на бугорок, Ефимка остановился и посмотрел в ту сторону, где полыхало разбитое снарядами Кабакино.

Огромное зарево расстилалось все шире и шире. Оно освещало вершины соседнего леса и тревожно отсвечивало в черной воде спокойной реки.

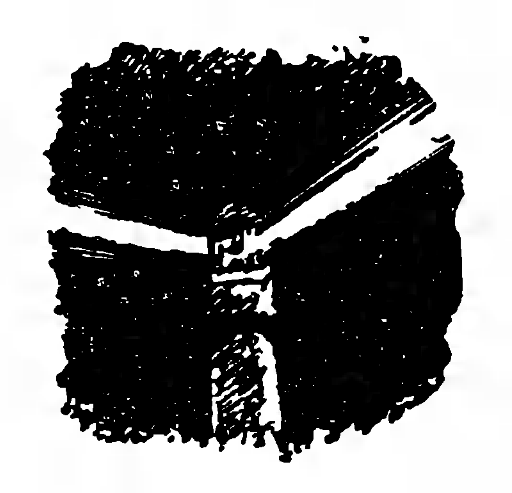
— Пусть светит! — вспомнив ночной разговор, задорно сказал Ефимка, показывая рукою на багровый горизонт.

— Пусть! — горячо согласилась Верка. И, помолчав, она попросила: — Ты, смотри, не уезжай, не попрощавшись. Может, больше и не встретимся.

— Нет, не уеду,— махнул ей рукой Ефимка.

Он дернул повод и мимо телег, мимо молчаливых всадников быстрою рысью помчался доложить начальнику, что его приказание исполнено.

1933 г.





ВОЕННАЯ ТАЙНА



ИЗ-ЗА КАКОЙ-ТО беды поезд два часа простоял на полустанке и пришел в Москву только в три с половиной. Это огорчило Натку Шегалову, потому что севастопольский скорый уходил ровно в пять и у нее не оставалось времени, чтобы зайти к дяде.

Тогда по автомату, через коммутатор штаба корпуса, она попросила кабинет начальника — Шегалова.

— Дядя,— крикнула опечаленная Натка,— я в Москве!.. Ну да: я, Натка. Дядя, поезд уходит в пять,

и мне очень, очень жаль, что я так и не смогу тебя увидеть.

В ответ, очевидно, Натку выругали, потому что она быстро затараторила свои оправдания. Но потом сказали ей что-то такое, отчего она сразу обрадовалась и заулыбалась.

Выбравшись из телефонной будки, комсомолка Натка поправила синюю косынку и вскинула на плечи не очень-то тугой походный мешок.

Ждать ей пришлось недолго. Вскоре рявкнул гудок, у подъезда вокзала остановилась машина, и крепкий старик с орденом распахнул перед Наткой дверцу.

— И что за горячка? — выбранил он Натку.— Ну, поехала бы завтра. А то «дядя», «жалко»... «поезд в пять часов»...

— Дядя,— виновато и весело заговорила Натка,— хорошо тебе — «завтра». А я и так на трое суток опоздала. То в горкоме сказали: «завтра», то вдруг мать попросила: «завтра». А тут еще поезд на два часа... Ты уже много раз был в Крыму да на Кавказе. Ты и на бронепоезде ездил и на аэроплане летал. Я однажды твой портрет видела. Ты стоишь, да Буденный, да еще какие-то начальники. А я нигде, ни на чем, никуда и ни разу. Тебе сколько лет? Уже больше пятидесяти, а мне восемнадцать. А ты — «завтра» да «завтра»...

— Ой, Натка!—почти испуганно ответил Шегалов, сбитый ее бестолковым, шумным натиском.— Ой, Натка, и до чего же ты на мою Маруську похожа!

— А ты постарел, дядя,— продолжала Натка.— Я тебя еще знаешь каким помню? В черной папахе. Сбоку у тебя длинная блестящая сабля. Шпоры: грох, грох. Ты откуда к нам приезжал? У тебя рука была прострелена. Вот однажды ты лег спать, а я и еще одна девочка — Верка — потихоньку вытащили твою саблю,

спрятались за печку и рассматриваем. А мать увидала нас да хворостиной. Мы—реветь. Ты проснулся и спрашиваешь у матери: «Отчего это, Даша, девчонки ревут?» — «Да они, проклятые, твою саблю вытащили. Того гляди, сломают». А ты засмеялся: «Эх, Даша, плохая бы у меня была сабля, если бы ее такие девчонки сломать могли. Не трогай их, пусть смотрят». Ты помнишь это, дядя?

— Нет, не помню, Натка,— улыбнулся Шегалов.— Давно это было. Еще в девятнадцатом. Я тогда из-под Бессарабии приезжал.

Машина медленно продвигалась по Мясницкой. Был час, когда люди возвращались с работы. Неумолчно гремели грузовики и трамваи. Но все это нравилось Натке — и людской поток, и пыльные желтые автобусы, и звенящие трамваи, которые то сходились, то разбегались своими путаными дорогами к каким-то далеким и неизвестным ей окраинам: к Дангауэровке, к Дорогомиловке, к Сокольникам, к Тюфелевой и Марьиной рощам и еще и еще куда-то.

И, когда, свернув с тесной Мясницкой к Земляному валу, шофер увеличил скорость так, что машина с легким, упругим жужжанием понеслась по асфальтовой мостовой, широкой и серой, как туго растянутое суконное одеяло, Натка сдернула синий платок, чтобы ветер сильней бил в лицо и трепал, как хочет, черные волосы.

В ожидании поезда они расположились на тенистой террасе вокзального буфета. Отсюда были видны железнодорожные пути, яркие семафоры и крутые асфальтовые платформы, по которым спешили люди на дачные поезда.

Здесь Шегалов заказал два обеда, бутылку пива и мороженое.

— Дядя,— задумчиво сказала Натка,— три года тому назад я говорила тебе, что хочу быть летчиком или капитаном морского парохода. А вот случилось так, что послали меня сначала в совпартшколу,— учись, говорят, в совпартшколе,— а теперь послали на пионерработу: иди, говорят, и работай.

Натка отодвинула тарелку, взяла блюдечко с розовым, быстро тающим мороженым и посмотрела на Шегалова так, как будто она ожидала ответа на заданный вопрос.

Но Шегалов выпил стакан пива, вытер ладонью жесткие усы и ждал, что скажет она дальше.

— И послали на пионерработу,— упрямо повторила Натка.— Летчики летят своими путями. Пароходы плывут своими морями. Верка — это та самая, с которой мы вытащили твою саблю,— через два года будет инженером. А я сижу на пионерработе и не знаю — почему.

— Ты не любишь свою работу? — осторожно спросил Шегалов.— Не любишь или не справляешься?

— Не люблю,— созналась Натка.— Я и сама, дядя, знаю, что нужная и важная... Все это я знаю сама. Но мне кажется, что я не на своем месте. Не понимаешь? Ну вот, например: когда грянула гражданская война, взяли бы тогда тебя и сказали: не трогайте, Шегалов, винтовку, оставьте саблю и поезжайте в такую-то школу и учите там ребят грамматике и арифметике. Ты бы что?

— Из меня грамматик плохой бы тогда вышел,— насторожившись, отшутился Шегалов. Он помолчал, вспомнил и, улыбнувшись, сказал: — А вот однажды сняли меня с отряда, отозвали с фронта. И целые три месяца в самую горячку считал я вагоны с овсом и сеном, отправлял мешки с мукой, грузил бочонки с капу-

стой. И отряд мой давно уже разбили. И вперед наши давно уже прорвались. И назад наших давно уже шарахнули. А я все хожу, считаю, вешаю, отправляю, чтобы точнее, чтобы больше, чтобы лучше. Это как, по-твоему?

Шегалов глянул в лицо нахмурившейся Натки и добродушно переспросил:

— Ты не справляешься? Так давай, дочка, подучись, подтянись. Я и сам раньше кислую капусту только в солдатских щах ложкой хлебал. А потом пошла и капуста вагонами, и табак, и селедка. Два эшелона полудохлой скотины и те сберег, выкормил, выправил. Приехали с фронта из шестнадцатой армии приемщики. Глядят — скотина ровная, гладкая. «Господи,— говорят,— да неужели же это нам такое привалило? А у нас полки на одной картошке сидят, усталые, отощалые». Помню, один неспокойный комиссар так и норовит, так и норовит со мною поцеловаться.

Тут Шегалов остановился и серьезно посмотрел на Натку.

— Целоваться я, конечно, не стал: характер не позволяет. Ешьте, говорю, товарищи, на доброе здоровье. Да... Ну вот. О чем это я? Так ты не робей, Натка, тогда все, как надо, будет.—И, глядя мимо рассерженной Натки, Шегалов неторопливо поздоровался с проходившим мимо командиром.

Натка недоверчиво глянула на Шегалова. Что он: не понял или нарочно?

— Как не справляюсь?—с негодованием спросила она.— Кто тебе сказал? Это ты сам выдумал. Вот кто!

И, покрасневшая, уязвленная, она бросила ему целый десяток доказательств того, что она справляется. И справляется неплохо, справляется хорошо. И что на конкурсе на лучшую подготовку к летним лагерям они

взяли по краю первое место. И что за это она получила вот эту самую путевку на отдых в лучший пионерский лагерь, в Крым.

— Эх, Натка! — пристыдил ее Шегалов.— Тебе бы радоваться, а ты... И посмотрю я на тебя... ну до чего же ты, Натка, на мою Маруську похожа!.. Тоже была летчик! — с грустной улыбкой докончил он и, звякнув шпорами, встал со стула, потому что ударил звонок и рупоры громко закричали о том, что на севастопольский № 2 посадка.

Через тоннель они вышли на платформу.

— Поедешь назад — телеграфируй,— говорил ей на прощание Шегалов.— Будет время — приеду встречать, нет — так кого-нибудь пришлю. Погостишь два-три дня. Посмотришь Шурку. Ты ее теперь не узнаешь. Ну, до свиданья!

Он любил Натку, потому что крепко она напоминала ему старшую дочь, погибшую на фронте в те дни, когда он носился со своим отрядом по границам пылающей Бессарабии.

Утром Натка пошла в вагон-ресторан. Там было пусто. Сидел рыжий иностранец и читал газету; двое военных играли в шахматы.

Натка попросила себе вареных яиц и чаю. Ожидая, пока чай остынет, она вынула из-за цветка позабытый кем-то журнал. Журнал оказался прошлогодним.

«Ну да... все старое: «Расстрел рабочей демонстрации в Австрии», «Забастовка марсельских докеров».— Она перевернула страничку и прищурилась.— И вот это... Это тоже уже прошлое». Перед ней лежала фотография, обведенная черной траурной каемкой: это была румынская, вернее, молдавская еврейка-комсомолка Марица Маргулис. Присужденная к пяти го-

дам каторги, она бежала, но через год была вновь схвачена и убита в суровых башнях кишиневской тюрьмы. Смуглое лицо с мягкими, не очень правильными чертами. Густые, немного растрепанные косы и глядящие в упор яркие, спокойные глаза.

Вот такой, вероятно, и стояла она; так, вероятно, и глядела она, когда привели ее для первого допроса к блестящим жандармским офицерам или следователям беспощадной сигуранцы.

...Марица Маргулис.

Натка закрыла журнал и положила его на прежнее место.

Погода менялась. Дул ветер, и с горизонта надвигались стремительные, тяжелые облака. Натка долго смотрела, как они сходятся, чернеют, потом движутся вместе и в то же время как бы скользят одно сквозь другое, упрямо собираясь в грозовые тучи.

Близилась непогода, и официанты поспешно задвигали тяжелые запылившиеся окна.

Поезд круто затормозил перед небольшой станцией. В вагон вошли еще двое: высокий, сероглазый, с крестообразным шрамом ниже левого виска, а с ним шестилетний белокурый мальчуган, но с глазами темными и веселыми.

— Сюда,— сказал мальчуган, указывая на свободный столик.

Он проворно взобрался на стул и, стоя на коленях, подвинул к себе стеклянную вазу.

— Папа...— попросил он, указывая пальцем на большое красное яблоко.

— Хорошо, но потом,— ответил отец.

— Ладно, потом,— согласился мальчуган и, взяв яблоко, положил его рядом с тарелкой.

Человек достал папиросу.

— Алька,— попросил он,— я забыл спички. Пойди принеси.

— Где? — спросил мальчуган и быстро соскочил со стула.

— В купе, на столике, а если нет на столике, то в кармане, в пальто.

— То в кармане в пальто,— повторил мальчуган и направился к открытой двери вагона.

Человек в сером френче открыл газету, а Натка, которая с любопытством слушала весь этот короткий разговор, посмотрела на него искоса и неодобрительно.

Но вот за окном, подавая сигнал к отправлению, засвистел кондуктор.

Человек во френче отложил газету и быстро вышел. Вернулись они уже вдвоем.

— Ты зачем приходил? Я бы и сам принес,— спросил мальчуган, опять забираясь коленями на сиденье стула.

— Я это знаю,— ответил отец.— Но я вспомнил, что позабыл другую газету.

Поезд ускорил ход. С грохотом пролетел он через мост, и Натка загляделась на реку, на луга, по которым хлестал грозовой ливень. И вдруг Натка заметила, что мальчуган, спрашивая о чем-то у отца, указывает рукой в ее сторону. Отец, не оборачиваясь, кивнул головой.

Мальчуган, придерживаясь за спинки стульев, направился к ней и приветливо улыбнулся.

— Это моя книжка,— сказал он, указывая на торчавший из-за цветка журнал.

— Почему твоя? — спросила Натка.

— Потому что это я забыл. Ну, утром забыл,—объяснил он. подозревая, что Натка не хочет отдать ему книжку.



— Это моя книжка,— сказал он, указывая на торчавший из-за цветка журнал.

— Что же, возьми, если твоя,— ответила Натка, заметив, как заблестели его глаза и быстро сдвинулись едва заметные брови.— Тебя как зовут?

— Алька,— отчетливо произнес он и, схватив журнал, убежал к своему месту.

Еще раз Натка увидала их уже тогда, когда она сошла в Симферополе. Алька смотрел в распахнутое окно и что-то говорил отцу, указывая рукой на голубые вершины уже недалеких гор.

Поезд умчался дальше, на Севастополь, а Натка, вскинув сумку, зашагала в город, чтобы сегодня же с первой автомашиной уехать на берег этого совсем незнакомого ей моря.

В синих шароварах и майке, с полотенцем в руках, извилистыми тропками спускалась Натка Шегалова к пляжу. Когда она вышла на платановую аллею, то встретила поднимающихся в гору ребят-новичков. Они шли с узелками, баульчиками и корзинками, веселые, запыленные и усталые. Они держали наспех подобранные круглые камешки и хрупкие раковины. Многие из них уже успели набить рты кислым придорожным виноградом.

— Здоро́во, ребята! Откуда? — спросила Натка, поравнявшись с этой шумной ватагой.

— Ленинградцы!.. Мурманцы!..— охотно закричали ей в ответ.

— Машиной,— спросила Натка,— или с парохода?

— С парохода, с парохода!— точно обрадовавшись хорошему слову, дружно загалдели только что приплывшие ребята.

— Ну, идите, да идите не по аллее, а сверните влево, вверх по тропке,— тут ближе.

Когда Натка уже спустилась на горячие камни, к

самому берегу, то увидела, что по дороге из Ялты во весь дух катит на велосипеде старший вожатый пионерского лагеря Алеша Николаев.

— Натка,— соскакивая с велосипеда, закричал он сверху,— уральцы приехали?

— Не видала, Алеша. Ленинградцев сейчас встретила да утром человек десять каких-то. Кажется, опять украинцы.

— Ну, значит, еще не приехали... Натка,— закричал он опять, вскакивая в седло велосипеда,— выкупаешься, зайди ко мне или к Федору Михайловичу. Есть важное дело.

— Какое еще дело? — удивилась Натка, но Алеша махнул рукой и умчался под гору.

Море было тихое: вода светлая и теплая.

После всегда холодной и быстрой реки, в которой привыкла Натка купаться еще с детства, плыть по соленым спокойным волнам показалось ей до смешного легко. Она заплыла далеко. И теперь отсюда, с моря, эти кипарисовые парки, зеленые виноградники, кривые тропинки и широкие аллеи — весь этот лагерь, раскинувшийся у склона могучей горы, показался ей светлым и прекрасным.

На обратном пути она вспомнила, что ее просил зайти Алеша. «Какие у него ко мне дела, да еще важные?» — подумала Натка и, свернув на крутую тропку, раздвигая ветви, направилась в ту сторону, где стоял штаб лагеря.

Вскоре она очутилась на полянке, возле низенькой будки с водопроводным краном. Ей захотелось пить. Вода была теплая и невкусная. Недавно неожиданно обмелел пополнявшийся горными ключами бассейн. В лагере встревожились, бросились разыскивать но-

вые источники и наконец нашли небольшое чистое озеро, которое лежало в горах. Но работы подвигались что-то очень медленно.

Алешу Николаева Натка не застала. Ей сказали, что он только что ушел в гараж. Оказывается, у уральцев в двенадцати километрах от лагеря сломалась машина и они прислали гонцов просить о помощи.

Гонцы — это Толька Шестаков и Владик Дашевский — сидели тут же на скамейке, раскрасневшиеся и гордые.

Однако гордость эта не помешала Тольке набить на дороге карманы яблоками, а Владику — запустить огрызком в спину какому-то толстому, неповоротливому мальчугану.

Мальчуган этот долго и сердито ворочался и все никак не мог понять, от кого ему попало, потому что Толька и Владик сидели невозмутимые и спокойные.

— Ты откуда? Вас сколько приехало? — спросила Натка у неповоротливого и недогадливого паренька.

— Из-под Тамбова. Один я приехал,— басистым и застенчивым голосом ответил мальчуган.— Из колхоза я. Меня в премию послали.

— Как — в премию? — не совсем поняла Натка.

— Баранкин мое фамилие. Семен Михайлов Баранкин,— охотно объяснил мальчуган.— А послали меня в премию за то, что я завод придумал.

— Какой завод?

— Походный, фильтровальный,— серьезно ответил Баранкин, и, недоверчиво посмотрев в ту сторону, где сидели смирные и лукавые гонцы, он добавил сердито: — И кто это в спину кидается? Тут и так вспотел, а еще кидаются.

Натка не успела расспросить Баранкина подробнее, потому что с крыльца ее окликнул высокий старик. Это и был начальник лагеря, Федор Михайлович.

— Заходи,— сказал он, пропуская Натку в комнату.— Садись. Вот что, Ната,— начал он таким ласковым голосом, что Натка сразу встревожилась,— в верхнем санаторном отряде заболел вожатый Корчаганов, а помощница его Нина Карашвили порезала ногу о камень. Ну конечно, нарыв. А у нас, сама видишь, сейчас приемка, горячка; хорошо, ты так кстати подвернулась.

— Но я ничего не понимаю ни в приемке, ни в горячке,— испугалась Натка.— Я и сама тут, Федор Михайлович, третий день.

— Да тебе и понимать ничего не надо,— взмахнул длинными, костлявыми руками напористый старик.— Там есть и фельдшерица и сестры. Они сами примут. А твое дело что? Ты будешь вожатым. Ну, разобьешь по звеньям, наметишь звеньевых, выберете совет отряда. Да что тебе объяснять? Была же ты вожатым!

— Два года,— сердито ответила Натка.— А долго ли, Федор Михайлович, этот Корчаганов болеть будет? Он, может быть, еще недели две пролежит?

— Что ты, что ты! — отмахиваясь руками и качая головой, заговорил начальник.— Ну, пять, шесть дней. А там снова гуляй сколько хочешь. Вот и хорошо, что быстро договорились. Я люблю, чтоб быстро. Ну, а теперь иди, иди. А то Нина одна совсем запуталась.

— Да сколько хоть человек в этом отряде? — унылым голосом спросила Натка.

— Там узнаешь, иди, иди,— повторил старик, поднимаясь со скрипучего камышового стула. И, широко шагая к выходу, он добавил: — Вот и хорошо. Очень хорошо, что быстро договорились.

...Всех отрядов в лагере было пять. Три дня в верхнем санаторном, куда неожиданно попала вожатой Натка, бушевала неуемная суета.

Только что прибыла последняя партия — средневолжцы и нижегородцы.

Девчата уже вымылись и разбежались по палатам, а мальчики, грязные и запыленные, нетерпеливо толпились у дверей ванной комнаты.

В ванную они заходили партиями по шесть человек. Дорвавшись до воды, они визжали, барахтались, плескались и затыкали пальцами краны так, что вода била брызгами в широко распахнутое окно, из-под которого уже несколько раз доносился строгий голос копавшегося в цветочных грядках чернорабочего Гейки.

— Будет, будет вам баловаться! — хриплым басом кричал в окно босой длиннобородый Гейка.— Вот погодите, сорву крапиву да через окно крапивой. И что за баловная нация!..

Несколько раз забегал в ванную дежурный по отряду, веснушчатый пионер Иоська Розенцвейг, и, отчаянно картавя, кричал:

— Что за безобразие? Прекратите это безобразие!

И новенькие ребята, которые еще не знали, что сам-то Иоська всего только третий день в лагере, а озорник он еще больший, чем многие из них, затихали. Под грозные Иоськины окрики они смущенно выскакивали из воды и, кое-как вытершись, натягивали трусы.

Выбегали они из ванной стайками. Чистые, в синих трусах, в серых рубахах с резинкой, и, еще не успев подвязать красные галстуки, наперегонки неслись занять очередь к парикмахеру.

— Иоська! — окликнула Натка.— Вот что, дежурный. Всех, кто от парикмахера, направляй к фельдшеру — оспу прививать... А то как по площадке гоняться,

то все тут, а как оспу прививать, то никого нет. Ну-ка, быстренько!

— Оспу! — выбегая на площадку, грозно кричал маленький и большеголовый Иоська.— Кто не прививал, вылетай живо!

— Нина! — окликнула Натка, увидав на террасе свою незадачливую помощницу, которая тихонько переступала, опираясь на бамбуковую палку.— Ты зачем ходишь? Ты сиди. Сколько у нас октябрят, Нина?

— Октябрят у нас десять человек, как раз звено. К ним звеньевым надо Розу Ковалеву. А как с черкесом Ингуловым? Он, Натка, ни слова по-русски.

— Ингулова, Нина, надо в то же звено, в котором казачонок-кубанец.

— Лыбатько?

— Ну да, Лыбатько. Он немного говорит по-черкесски. А башкирку Эмине оставь пока у октябрят. Они хорошо друг друга понимают и без языка. Вот она как носится!

Из-за угла стремительно вылетел дежурный Иоська.

— Время к ужину! — запыхавшись, крикнул он, отдуваясь и подпрыгивая, как будто кто-то поймал его арканом за ногу.

— Подавай сигнал,— ответила Натка,— сейчас я приду.

«Надо Иоську в звеньевые выделить,— подумала Натка.— Маленький, смешной, а проворный парень».

В половине девятого умывались, чистили зубы. С целой пачкой градусников приходила заступившая на ночь дежурная сестра, и Натка отправлялась с коротким рапортом о делах минувшего дня к старшему вожатому всего лагеря. После этого она была свободна.

Вечер был жаркий, лунный, и с волейбольной площадки, где играли комсомольцы, долго раздавались крики, удары мяча и короткие судейские свистки.

Но Натка не пошла к площадке, а, поднявшись в гору, свернула по тропинке, к подножию одинокого утеса.

Незаметно зашла она далеко, устала и села на каменную глыбу под стволом раскидистого дуба.

Под обрывом чернело спокойное море. Где-то тарахтела моторная лодка. Тут только Натка разглядела, что почти рядом с ней, под тенью кипарисов, притаившись у обрыва, под скалой, без света в окнах, стоит маленький, точно игрушечный, домик.

Чьи-то шаги послышались из-за поворота, и Натка подвинулась глубже в черную тень листвы, чтобы ее не заметили. Вышли двое. Луна осветила их лица. Но даже в самую черную ночь Натка узнала бы их по голосам. Это был тот высокий, белокурый, во френче, а рядом с ним, держась за руку, шагал маленький Алька.

Перед тем как подойти к дереву, в тени которого пряталась Натка, они, по-видимому, о чем-то поспорили и несколько шагов прошли молча.

— А как по-твоему,— останавливаясь, спросил высокий,— стоит ли нам, Алька, из-за таких пустяков ссориться?

— Не стоит,— согласился мальчуган и добавил сердито:— Папка, папка, ты бы меня хоть на руки взял. А то мы все идем да идем, а дома все нет и нет.

— Как нет? Вот мы и пришли! Ну, смотри — вот дом, а вот я уже и ключ вынул.

Они свернули к крыльцу, и вскоре в крайнем окошке, выходящем на море, вспыхнул свет.

«Они через Севастополь приехали,— догадалась Натка.— Что же они здесь делают?»

В комнате у дежурной сестры Натке сказали, что Толька Шестаков, подкравшись на четвереньках в палату к девчонкам, тихонько схватил башкирку Эмине за пятку, отчего эта башкирка ужасно заорала, да рыжеволосая толстушка Вострецова долго хохотала и мешала девчатам спать. А в общем, улеглись спокойно. Это порадовало Натку, и она пошла за угол в свою комнатку, которая была здесь же, рядом с палатами.

Ночь была душная. Ночью в море что-то гремело, но спала Натка крепко и к рассвету увидела хороший сон.

Проснулась Натка около семи. Завернувшись в простыню, она пошла под душ. Потом босиком вышла на широкую террасу.

Далеко в море дымили уходящие к горизонту военные корабли. Отовсюду из-под густой непросохшей зелени доносилось звонкое щебетание. Неподалеку от террасы чернорабочий Гейка колол дрова.

— Хорошо!— негромко крикнула Натка и рассмеялась, услыхав откуда-то из-под скалы такой же, как и ее, вскрик — веселое чистое эхо.

— Натка... ты что?— услышала она позади себя удивленный голос.

— Корабли, Нина...— не переставая улыбаться, ответила Натка, указывая рукой на далекий сверкающий горизонт.

— А ты слышала, Натка, как сегодня ночью они в море бахали? Я проснулась и слышу: у-ух! у-ух! Встала и пошла к палатам. Ничего, все спят. Один Владик Дашевский проснулся. Я ему говорю: «Спи». Он лег. Я — из палаты. А он шарах на террасу. Забрался на перила, ухватился руками за столб, и не оторвешь его. А в море огни, взрывы, прожекторы. Мне и самой-то интересно. Я ему говорю: «Иди, Владик, спать».

И просила, и ругала, и обещала на линейке вызвать. А он стоит молчит, ухватился за столб и как каменный. Неужели ты ничего не слыхала?

— Нина,— помолчав, спросила Натка,— ты не встречала здесь таких двоих?.. Один высокий, в сапогах и в сером френче, а с ним маленький, белокурый, темноглазый мальчуган.

— В сером френче...— повторила Нина.— Нет, Натка, в сером френче с мальчуганом не встречала. А кто это?

— Я и сама не знаю. Такой забавный мальчуган.

— Видела я человека во френче,— не сразу вспомнила Нина.— Только тот был без мальчугана и ехал верхом по тропке в горы. Конь у него был высокий, худой, а сапоги грязные.

— И большой шрам на лице,—подсказала Натка.

— Да, большой шрам на лице. Это кто, Натка?— спросила Нина и с любопытством посмотрела на подругу.

— Не знаю, Нина.

— Я встал, можно звонить подъем?—басистым голосом сообщил, выдвигаясь из-за двери, дежурный.

— Можно,— сказала Натка.— Звони. «Экий увалень!» — подумала она, глядя, как, размахивая короткими руками, Баранкин уверенно направился к колоколу.

Это и был тот самый пионер тамбовского колхоза Баранкин, которого послали «в премию» за то, что он во время весеннего сева организовал походный ремонтно-фильтровальный завод.

Все оборудование этого завода умещалось на ручной тележке и состояло из двух лоханей, одного решета, трех старых мешков, двух сгребков и кучи тряпок. И, выезжая в поле за тракторами, этот ребячий завод

фильтровал воду для моторов и во время стоянок очищал тракторы от грязи.

Баранкин подошел к колоколу, крепко зажал в кулак конец лохматой бечевки и ударил так здорово, что разом обернувшиеся Нина и Натка закричали ему, чтобы он звонил потише.

Среди соснового парка, на песчаном бугре, ребята, разбившись кучками, расположились на отдых.

Занимался каждый чем хотел. Одни, собравшись возле Натки, слушали, что читала она им о жизни негров, другие что-то записывали или рисовали, третьи потихоньку играли в камешки, четвертые что-то строгали, пятые просто ничего не делали, а, лежа на спине, считали шишки на соснах или потихоньку баловались.

Владик Дашевский и Толька Шестаков разместились очень удобно. Если они повертывались на правый бок, было слышно то, что читала Натка про негров. Если на левый, им было слышно то, что читал Иоська про полярные путешествия ледокола «Малыгин». Если отползти немного назад, то можно было из-за куста, и очень незаметно, запустить в спину Кашину и Баранкину еловую шишку. И, наконец, если подвинуться немного вперед, можно было кончиком прута пощекотать пятки башкирки Эмине, которая бойко обставляла в камешки трех русских девочек и затесавшегося к ним октябренка Карасикова.

Так они и сделали. Послушали про негров и про ледокол. Бросили две шишки в спину Баранкину, но не решились провести Эмине прутом по пяткам, потому что заранее знали, что подпрыгнет она с таким визгом, как будто ее за ногу хватила собака.

— Толька,— спросил Владик,— а ты слышал, как

ночью сегодня бабахнуло? Я сплю, вдруг бабах... бабах... Как на фронте. Это корабли в море стреляли. У них маневры, что ли. А я, Толька, на фронте родился.

— Врать-то! — равнодушно ответил Толька. — Ты всегда что-нибудь да придумаешь.

— Ничего не врать, мне мама все рассказала. Они тогда возле Брест-Литовска жили. Ты знаешь, где в Польше Брест-Литовск? Нет? Ну, так я тебе потом на карте покажу. Когда пришли в двадцатом красные, этого мать не запомнила. Тихо пришли. А вот когда красные отступали, то очень хорошо запомнила. Грохот был или день, или два. И день и ночь грохот. Сестренку Юльку да бабку Юзефу мать в погреб спрятала. Свечка в погребе горит, а бабка все бормочет, молится. Как чуть стихнет, Юлька наверх вылезает. Как загрохочет, она опять нырк в погреб.

— А мать где?— спросил Толька.— Ты все рассказывай, по порядку.

— Я и так по порядку. А мать все наверху бегает: то хлеб принесет, то кринку молока достанет, то узлы завязывает. Вдруг к ночи стихло. Юлька сидит. Нет никого, тихо. Хотела она вылазить. Толкнулась, а крышка погреба заперта. Это мать куда-то ушла, а сверху ящик поставила, чтобы она никуда не вылазила. Потом хлопнула дверь — это мать. Открыла она погреб. Запыхалась, сама растрепанная. «Вылезайте»,— говорит. Юлька вылезла, а бабка не хочет. Не вылазит. Насилу уговорили ее. Входит отец с винтовкой. «Готовы? — спрашивает.— Ну, скорее». А бабка не идет и злобно на отца ругается.

— Чего же это она ругалась?— удивился Толька.

— Как отчего? Да оттого ругалась, зачем отец поляк, а с русскими красными уходит.

— Так и не пошла?

— И не пошла. Сама не идет и других не пускает. Отец как посадил ее в угол, так она и села. Вышли наши во двор да на телегу. А кругом все горит: деревня горит, костел горит... Это от снарядов. А дальше у матери все смешалось: как отступали, как их окружали, потому что тут на дороге я родился. Из-за меня наши от красных отбились и попали в плен к немцам, в Восточную Пруссию. Там мы четыре или пять лет и прожили.

— Отец-то почему с винтовкой приходил?

— А он, Толька, в народной милиции был. Когда в Польшу пришли красные, так у нас народная милиция появилась. Помещиков ловили и еще там разных... Как поймают, так и в ревком.

— Нельзя было отцу оставаться,— согласился Толька.— Могли бы, пожалуй, потом и повесить.

— Очень просто. У нас дедушка нигде не был, только в ревкоме рассыльным, и то год в тюрьме держали. А сестра у меня — ей уже сейчас двадцать восемь лет,— так она и теперь в тюрьме сидит. Сначала посадили ее — три года сидела. Потом выпустили — три года на воле была. Теперь опять посадили. И уже четыре года сидит.

— Скоро опять выпустят?

— Нет, еще не скоро. Еще четыре года пройдет, тогда выпустят. Она в Мокотовской тюрьме сидит. Оттуда скоро не выпускают.

— Она коммунистка?

Владик молча кивнул головой, и оба притихли, обдумывая свой разговор и прислушиваясь к тому, что читала Натка о неграх.

— Толька!— тихо и оживленно заговорил вдруг Владик.— А что, если бы мы с тобой были ученые? Ну, химики, что ли. И придумали бы мы с тобой такую

мазь или порошок, которым если натрешься, то никто тебя не видит. Я где-то такую книжку читал. Вот бы нам с тобой такой порошок!

— И я читал... Так ведь все это враки, Владик,— усмехнулся Толька.

— Ну и пусть враки! Ну, а если бы?

— А если бы?— заинтересовался Толька.— Ну, тогда мы с тобой уж что-нибудь придумали бы.

— Что там придумывать! Купили бы мы с тобой билеты до заграницы.

— Зачем же билеты?— удивился Толька.— Ведь нас бы и так никто не увидел.

— Чудак ты!— усмехнулся Владик.— Так мы бы сначала не натершись поехали. Что нам на советской стороне натираться? Доехали бы мы до границы, а там пошли бы в поле и натерлись. Потом перешли бы границу. Стоит жандарм — мы мимо, а он ничего не видит.

— Можно было бы подойти сзади да кулаком по башке стукнуть,— предложил Толька.

— Можно,— согласился Владик.— Он, поди-ка, тоже, как Баранкин, все оглядывался бы, оглядывался: откуда это ему попало?

— Вот уж нет,— возразил Толька.— В Баранкина это мы потихоньку, в шутку. А тут так дернули бы, что, пожалуй, и не завертишься. Ну ладно! А потом?

— А потом... потом поехали бы мы прямо к тюрьме. Убили бы одного часового, потом дальше... Убили бы другого часового. Вошли бы в тюрьму. Убили бы надзирателя...

— Что-то уж очень много убили бы, Владик!— поежившись, сказал Толька.

— А что их, собак, жалеть?— холодно ответил Владик.— Они наших жалеют? Недавно к отцу товарищ

приехал. Так когда стал он рассказывать отцу про то, что в тюрьмах делается, то меня мать на улицу из комнаты отослала. Тоже умная! А я взял потихоньку сел в саду под окошком и все до слова слышал. Ну вот, забрали бы мы у надзирателя ключи и отворили бы все камеры.

— И что бы мы сказали?— нетерпеливо спросил Толька.

— Ничего бы не сказали. Крикнули бы: «Бегите, кто куда хочет!»

— А они бы что подумали? Ведь мы же натертые, и нас не видно.

— А было бы им время раздумывать? Видят — камеры отперты, часовые побиты. Небось сразу бы догадались.

— То-то бы они обрадовались, Владик!

— Чудак! Просидишь четыре года да еще четыре года сидеть, конечно, обрадуешься... Ну, а потом... потом зашли бы мы в самую богатую кондитерскую и наелись бы там разных печений и пирожных. Я один раз в Москве четыре штуки съел. Это когда другая сестра, Юлька, замуж выходила.

— Нельзя наедаться,— серьезно поправил Толька.— Я в этой книжке читал, что есть ничего нельзя, потому что пирожные — они ведь не натертые, их наешься, а они в животе просвечивать будут.

— А ведь и правда будут!— согласился Владик.

И оба они расхохотались.

— Сказки все это,— помолчав, сознался и сам Владик.— Все это сказки. Чепуха!

Он отвернулся, лег на спину и долго смотрел в небо, так что Тольке показалось, что он прислушивается к тому, что читает Натка.

Но Владик не слушал, а думал о чем-то другом.

— Сказки,— повторил он, поворачиваясь к Тольке.— А вот в Австрии есть коммунист один. Он раньше солдатом был. Потом стал коммунистом. Так этот и без всяких натираний невидимый.

— Как — невидимый?— насторожился Толька.

— А так. С тех пор как убежал он из тюрьмы, три года его полиция ищет и все никак найти не может. А он то здесь появится, то там, у нас. В Львове он прямо открыто на собрании деповских рабочих выступил. Все так и ахнули. Пока полиция прибежала, а он уже полчаса проговорил.

— Ну, и что же полиция? Ну, и куда же он девался?

— А вот поди спроси — куда,— с гордостью ответил Владик.— Как только полиция в двери, вдруг хлоп... свет погас. А окон много, и все окна почему-то распахнуты. Кинулась полиция к механику, а механик кричит, ругается. «Идите, говорит, к черту! У меня и без того беда: кажется, обмотка якоря перегорела».

— Так это он нарочно!— с восхищением воскликнул Толька.

— А вот поди-ка ты докажи, нарочно или не нарочно,— усмехнулся Владик и добавил уже снисходительно:— Рабочие прячут, оттого и невидимый. А ты что думал? Порошок, что ли?

Издалека донесся гул колокола — к обеду, и ребятишки, хватая подушки, простыни и полотенца, с визгом повскакали со своих мест.

После обеда полагалось ложиться отдыхать. Но в третьей палате плотники еще с утра пробивали новую дверь на террасу. Койки были вынесены, на полу валялись стружки и штукатурка, а плотники запаздывали.

Поэтому второму звену разрешено было отдыхать в парке.

Владик и Толька забрались в орешник. Толька вскоре задремал, но Владику не спалось. Он ждал сегодня важного письма, но почтальон к обеду почему-то не приехал. Владик вертелся с боку на бок и с завистью глядел на спокойно похрапывающего Тольку. Вскоре вертеться ему надоело, он приподнялся и подергал Тольку за ногу:

— Вставай, Толька! Чего спишь? Ночью выспишься.

Но Толька дрыгнул ногой и повернулся к Владику спиной. Владик рассердился и дернул Тольку за руку:

— Вставай... вставай, Толька! Кругом измена! Все в плену. Командир убит... Помощник контужен. Я ранен четырежды, ты трижды. Держи знамя! Бросай бомбы! Трах-та-бабах! Отобьемся!..

И, всучив ошалелому Тольке полотенце вместо знамени и старый сандалий вместо бомбы, Владик потащил товарища через кусты под горку.

— За такие дела можно и по шее...— начал было рассерженный Толька.

— Отбились!— торжественно заявил Владик.— За такие геройские дела представляю тебя к ордену.— И, сорвав колючий репейник, Владик прицепил его к Толькиной безрукавке.— Брось, Толька, дуться! Вон под горою какой-то дом. Вон за горою какая-то вышка. Вон там, в овраге, что-то стучит. Вон под ногами у нас кривая тропка. Что за дом? Что за вышка? Кто стучит? Куда тропка? Гайда, Толька! Все спят, никого нет, и мы всё разведаем.

Толька зевнул, улыбнулся и согласился.

Быстро, но осторожно, чтобы никому не попасться на глаза, они перебегали дорожки, ныряли в чащу кустарника, пролезали через колючие ограды, ползли вверх, спускались вниз, ничего не оставляя на своем пути незамеченным.

Так они наткнулись на ветхую беседку, возле которой стояла позеленевшая каменная статуя. Потом нашли глубокий заброшенный колодец. Затем попали в фруктовый сад, откуда мгновенно умчались, заслышав ворчание злой собаки.

Продравшись через колючие заросли дикой ажины, они очутились на заднем дворе небольшой лагерной больницы.

Они осторожно заглянули в окно и в одной из палат увидели незнакомого мальчишку, который, скучая, лениво вертел красное яблоко.

Они легонько постучали в стекло и приветливо помахали мальчишке руками. Но мальчишка рассердился и показал им кулак. Они обиделись и показали целых четыре.

Тогда злорадный мальчишка неожиданно громко заорал, призывая няньку. Испуганные ребята разом перемахнули через ограду и помчались наугад по тропинке.

Вскоре они очутились высоко над берегом моря. Слева громоздились изрезанные ущельями горы. Справа, посреди густого дубняка и липы, торчали остатки невысокой крепости.

Ребята остановились. Было очень жарко.

Торжественно гремел из-за пыльного кустарника мощный хор невидимых цикад.

Внизу плескалось море. А кругом — ни души.

— Это древняя крепость,— объяснил Владик.— Давай, Толька, поищем, может быть, и наткнемся на что-нибудь старинное.

Искали они долго. Они нашли выцветшую папиросную коробку, жестяную консервную банку, стоптанный башмак и рыжий собачий хвост. Но ни старинных мечей, ни заржавленных доспехов, ни тяжелых цепей, ни человечьих костей им не попалось.

Тогда, раздосадованные, они спустились вниз. Здесь, под стеной, меж колючей травы, они наткнулись на темное, пахнувшее сыростью отверстие.

Они остановились, раздумывая, как быть. Но в это время издалека, от лагеря, похожий отсюда на комариный писк, раздался сигнал к подъему.

Надо было уходить, но они решили вернуться сюда еще раз, захватив бечевку, палку, свечку и спички.

Полдороги они пробежали молча. Потом устали и пошли рядом.

— Владик,— с любопытством спросил Толька,— вот ты всегда что-нибудь выдумываешь. А хотел бы ты быть настоящим старинным рыцарем? С мечом, со щитом, с орлом, в панцире?

— Нет,— ответил Владик.— Я хотел бы быть не старинным, со щитом и с орлом, а теперешним, со звездою и с маузером. Как, например, один человек.

— Как кто?

— Как Дзержинский. Ты знаешь, Толька, он тоже был поляк. У нас дома висит его портрет, и сестра под ним написала по-польски: «Милый рыцарь. Смелый друг всего пролетариата». А когда он умер, то сестра в тюрьме плакала и вечером на допросе плюнула в лицо какому-то жандармскому капитану.

Пароход с почтой запоздал, и поэтому толстый почтальон, тяжело пыхтя и опираясь на старую суковатую палку, поднялся в гору только к ужину.

Отмахиваясь от обступивших его ребят, он называл их по фамилиям, а тех, кого знал, то и просто по именам.

— Коля,— говорил он басом и тащил за рукав тихо стоявшего мальчугана,— ну-ка, брат, распишись. Да не лезьте под руки, озорной народ! Дайте человеку

расписаться. Тебе, Мишаков, нет письма. Тебе, Баранкин, письмо. И кто это тебе такие толстые письма пишет?

— Это мне брат из колхоза пишет,— громко отвечал Баранкин, крепко напирая плечом и протискиваясь сквозь толпу ребят.— Это брат Василий. У меня два брата. Есть брат Григорий — тот в Красной Армии, в броневом отряде. А это брат Василий — он у нас в колхозе старшим конюхом. Григория взяли, а Василий уже отслужил. У нас три брата да три сестры. Две грамотные, а одна еще неграмотная, мала девка.

— А теток у тебя сколько?

— А корова у вас есть?

— А курицы есть? А коза есть?— закричали Баранкину сразу несколько человек.

— Теток у меня нет,— охотно отвечал Баранкин, протягивая руку за шершавым пакетом.—Корова у нас есть, свинью закололи, только поросенок остался. А коз у нас в деревне не держат. От козы нам пользы мало, только огороду потрава. А что смеетесь?— добродушно и удивленно обернулся он, услышав вокруг себя дружный смех.— Сами спрашивают, а сами смеются.

Когда уже большинство ребят разошлись, то подошел Владик Дашевский и спросил, нет ли письма ему. Письма не было. Он неожиданно погрозил пальцем почтальону, потом равнодушно засвистел и пошел прочь, сбивая хлыстиком верхушки придорожной травы.

Натка Шегалова получила заказное с Урала от подруги — от Веры.

Сразу после ужина весь санаторный отряд ушел с Ниной на нижнюю площадку, где затевались игры.

В просторных палатах и на широкой лужайке перед террасой стало по-необычному тихо и пусто.

Натка прошла к себе в комнату, распечатала письмо, из которого выпал потертый и почему-то пахнувший керосином фотоснимок.

Возле толстого, охваченного чугунными брусьями столба, опустившись на одно колено и оттягивая пряжки кривой железной «кошки», стояла Вера. Ее черная глухая спецовка была перетянута широким брезентовым поясом, а к металлическим кольцам пояса были пристегнуты молоток, плоскогубцы, кусачки и еще какие-то инструменты.

Было понятно и то, что Верка собирается забраться на столб, и что она торопится, потому что неподалеку от нее смотрел на провода не то инженер, не то электротехник, а рядом с ним стоял кто-то маленький, черноволосый — вероятно, бригадир или десятник. И лицо у этого черноволосого было озабоченное и сердитое, как будто его только что крепко выругали. День был солнечный. Вдалеке виднелись неясные серые громады незаконченных построек и клочья густого, черного дыма.

Письмо было короткое. Верка писала, что жива, здорова. Что практика скоро кончается. Что за работу по досрочному монтажу понижающей подстанции она получила премию. Что за короткое замыкание она получила выговор. А в общем все хорошо — устала, поздоровела и перед началом занятий обязательно заедет с Урала в Москву, и там хорошо бы с Наткой встретиться.

Натка задумалась. Она с любопытством посмотрела еще раз на черную, пыльную спецовку, на тяжелые, толстые ботинки, на ту торопливую хватку, с которой пристегивала Верка железные десятифунтовые «кошки», и с досадой отодвинула фотоснимок, потому что она завидовала Верке.

Неожиданно обе половины оконной занавески раздвинулись и оттуда высунулась круглая голова Баранкина.

— Баранкин,— удивилась и рассердилась Натка,— ты почему не на площадке? Ребята играют, а ты что?

— Это не игра,— убежденно произнес Баранкин, наваливаясь грудью на подоконник.— Ну, завязали мне ноги в мешок — беги, говорят. Я шагнул и—бац на землю. Шагнул и — опять бац. А они смеются. Потом положили в ложку сырое яйцо, дали в руки и опять— беги! Конечно, яйцо хлоп и разбилось. Разве же это игра? У нас в колхозе за такую игру и хворостиной недолго.— Он укоризненно посмотрел на Натку и добродушно добавил:— Я тут буду. Никуда не денусь. А лучше пойду помогу Гейке дрова пилить.

Круглая голова Баранкина скрылась.

Но через минуту раскрасневшееся лицо его опять просунулось в комнату.

— Забыл,— спокойно сказал он, увидав недовольное лицо Натки.— Проходил мимо площадки, где комсомольцы в мяч играют. Остановили и наказывают: беги шибче, и если Шегалова свободна, пусть скорее идет. Совсем забыл,— повторил он и, неловко улыбнувшись, почему-то вспомнил:— У нас в колхозе както ночью амбар подожгли. Брата не было. Кинулся я в сарай лошадь запрягать — темно. А чересседельник с гвоздя как соскочит да мне прямо по башке. Так всю память и отшибло. Насилу я во двор вылез. А амбар горит, горит...

— Баранкин,— спросила Натка, положив руку на его крепкое плечо,— у тебя мать есть?

— Есть. Александрой зовут,— охотно и обрадованно ответил Баранкин.— Александра Тимофеевна. Она у нас в колхозе скотницей. Всю эту весну пролежала.

Теперь ничего... поздоровела. Бык ее в грудь боднул. У нас хороший бык, породистый. В Моршанске прошлую зиму колхоз за шестьсот рублей купил... Иду, иду!— крикнул Баранкин, оборачиваясь на чей-то далекий хриплый окрик.— Это Гейка зовет,— объяснил он.— Мы с ним дружки.

...Когда Натка спускалась к площадке, солнце уже скрывалось за морем. Бесшумно заскользили серые вечерние стрижи. Задымили сторожевые костры на виноградниках. Зажглись зеленые огни створного маяка. Ночь надвигалась быстро, но игра была в самом разгаре.

«Хорошие свечки дает Картузик»,— подумала Натка, глядя на то, как тугой мяч гулко взвился к небу, повис на мгновение над острыми вершинами старых кипарисов и по той же прямой плавно рванулся к земле. Натка подпрыгнула, пробуя, крепко ли затянуты сандалии, поправила косынку и, уже не спуская глаз с мяча, подбежала к сетке и стала на пустое место, слева от Картузика.

— Пасовать,— вполголоса строго сказал ей Картузик.

— Есть пасовать,— также вполголоса ответила она и сильным ударом послала мяч далеко за сетку.

— Пасовать,— повторил Картузик.— Спокойней, Натка.

Но вот он, крученый, хитрый мяч, метнулся сразу на третью линию. Отбитый косым ударом, мяч взвился прямо над головой отпрыгнувшего Картузика.

— Дай!— вскрикнула Натка Картузику.

— Возьми!— ответил Картузик.

— Режь!— вскрикнула Натка, подавая ему невысокую свечку.

— Есть!— ответил он и с яростью ударил по мячу вниз.

— Один — ноль,— объявил судья и, засвистев, предупредил: — Шегалова и Картузик, не переговариваться, а то запишу штрафное очко.

Натка рассмеялась. Невозмутимый Картузик улыбнулся, и они хитро и понимающе переглянулись.

— Шегалова,— крикнул ей кто-то из ребят,— тебя Алеша Николаев зачем-то ищет!

— Еще что!— отмахнулась Натка.— Что ему ночью надо? Там Нина осталась.

Темнота сгущалась. На счете «один — ноль» догорела заря. На «восемь — пять» зажглись звезды. А когда судья объявил сэт-бол, то из-за гор вылезла такая ослепительно яркая луна, что хоть опять начинай всю игру сначала.

— Сэт-бол!— крикнул судья, и почти тотчас же черный мяч взвился высоко над серединой сетки.

«Дай!»— глазами попросила Натка у Картузика.

«Возьми!»—ответил он молчаливым кивком головы.

«Режь!»— зажмуривая глаза, вздрогнула Натка и еще втемную услышала глухой удар и звонкий свисток судьи.

— Шегалова и Картузик, не переговариваться!— добродушно сказал судья. Но уже не в виде замечания, а как бы предупреждая.

Возвращаясь домой, Натка встретила Гейку; он волок за собой под гору целую кипу гремящих и подпрыгивающих жердей. Узнав Натку, он остановился.

— Федор Михайлович спрашивал,— угрюмо сообщил он Натке.— Меня посылал искать, да я не нашел. Не знаю, зачем-то шибко ему понадобились.

«Что-нибудь случилось?»— с тревогой подумала Натка и круто свернула с дороги влево. Маленькие

камешки с шорохом посыпались из-под ее ног. Быстро перепрыгивая от куста к кусту, по ступенчатой тропинке она спустилась на лужайку.

Все было тихо и спокойно. Она постояла, раздумывая, стоит ли идти в штаб лагеря или нет, и, решив, что все равно уже поздно и все спят, тихонько прошла в коридор.

Прежде чем зайти к дежурной и узнать, в чем дело, она зашла к себе, чтобы вытряхнуть из сандалий набившиеся туда острые камешки. Не зажигая огня, она села на кровать. Одна из пряжек что-то не расстегивалась, и Натка потянулась к выключателю. Но вдруг она вздрогнула и притихла: ей показалось, что в комнате она не одна.

Не решаясь пошевельнуться, Натка прислушалась и теперь, уже ясно расслышав чье-то дыхание, поняла, что в комнате кто-то спрятан. Она тихонько повернула выключатель.

Вспыхнул свет.

Она увидала, что у противоположной стены стоит небольшая железная кровать, а в ней крепко и спокойно спит все тот же и знакомый и незнакомый ей мальчуган. Все тот же белокурый и темноглазый Алька.

Все это было очень неожиданно, а главное — совсем непонятно.

Свет ударил спящему Альке в лицо, и он заворочался. Натка сдернула синий платок и накинула его поверх абажура.

Зашуршала дверь, и в комнату просунулось сонное лицо дежурной сестры.

— Ольга Тимофеевна,— полушепотом спросила Натка,— кто это? Почему это?

— Это Алька,— равнодушно ответила дежурная.— Тебя весь вечер искали, искали. Тебе на столе записка.

Записка была от Алешки Николаева.

«Натка!— писал Алеша.— Это Алька, сын инженера Ганина, который работает сейчас по водопроводке у Верхнего озера. Сегодня случилась беда: перерезали подземный ключ, и вода затопляет выемки. Сам инженер уехал к озеру. Ты не сердись — мы поставили пока кровать к тебе, а завтра что-нибудь придумаем».

Возле кроватки стояла белая табуретка. На ней лежали: синие трусики, голубая безрукавка, круглый камешек, картонная коробочка и цветная картинка, изображавшая одинокого всадника, мчавшегося под ослепительно яркой пятиконечной звездой.

Натка открыла коробочку, и оттуда выпрыгнули к ней на колени два серых кузнечика.

Натка тихонько рассмеялась и потушила свет. На Алешу Николаева она не сердилась.

Не доезжая до верхних бараков у новой плотины, инженер свернул ко второму участку. Еще издалека он увидел в беспорядке выкинутые на берег тачки, мотыги и лопаты. Очевидно, вода застала работавших врасплох.

Инженер соскочил с коня. Мутная жижа уже больше чем на полтора метра залила выемку. В воде торчал невыдернутый разметочный кол и спокойно плавали две деревянные лопаты.

Инженер понял, что, поднявшись еще на полметра, вода пойдет назад, заливая соседнюю впадину, а когда вода поднимется еще на метр, перельется через гребень и, круто свернув направо, затопит и сорвет первый участок, на котором шли работы по прокладке деревянных желобов.

— Плохо, Сергей Алексеевич!— закричал старший десятник Дягилев, спускаясь с горы впереди двух под-

вод, которые, с треском ломая кустарник, волокли доски и бревна.

— Когда прорвало?— спросил инженер.— Шалимов где?

— Разве же с таким народом работать можно, Сергей Алексеевич? С таким народом только из пустого в порожнее переливать. Прорвало часов в девять. Шалимовская бригада работала... Как рвануло это снизу, им бы сейчас же брезент тащить да камнями заваливать, а они — туды, сюды, меня искать... Пока то да се, пока меня разыскали, а ее — дыру-то — чуть ли не в сажень разворотило.

— Шалимов где?

— Сейчас придет. В своей деревне рабочих собирает.

Всю ночь стучали топоры, полыхали костры и трещали смоляные факелы. К рассвету сколотили плот и целых три часа сбрасывали рогожные кули со щебнем в то место, откуда била прорвавшаяся вода. И, когда наконец, сбросив последнюю руду балласта, забили подводную дыру, мокрый, забрызганный грязью инженер вытер раскрасневшееся лицо и сошел на берег.

Но едва только он опустился на колени, доставая из костра горящий уголек, как на берегу раздались шум, крики и ругань. Он вскочил и отшвырнул нераскуренную папиросу.

Вырываясь со дна, гораздо правее, чем в первый раз, вода клокотала и пенилась, как в кипящем котле. Закупоренную родниковую жилу прорвало в другом месте и, по-видимому, прорвало еще сильнее, чем прежде.

Мимо обозленных землекопов инженер подошел к Дягилеву и Шалимову. Он повел их по краю лощины

к тому месту, где лощина была перегорожена невысокой, но толстой каменистой грядой.

— Вот!— сказал он.— Поставим сюда тридцать человек. Ройте поперек, и мы спустим воду по скату.

— Грунт-то какой, Сергей Алексеевич!— возразил Дягилев, переглядываясь с Шалимовым.— Хорошо, если сначала от силы метров сорок за сутки возьмем, а дальше, сами видите, голый камень.

— Ройте,— повторил инженер.— Ройте посменно, без перерыва. А дальше взорвем динамитом.

— Нет у нас динамита, Сергей Алексеевич, напрасно только людей замотаем.

— Ройте,— отвязывая повод застоявшегося коня, повторил инженер.— Надо достать, а то пропала вся наша работа.

Спустившись в лагерь и не заходя к Альке, инженер пошел к телефону и долго, настойчиво вызывал Севастополь. Наконец он дозвонился, но из Взрывсельпрома ему ответили, что без наряда от Москвы динамита ему не могут отпустить ни килограмма.

Выехав на шоссейную дорогу, инженер повернул направо и по-над берегом моря высоко поскакал к мысу, где среди скалистого парка высились красивые белые здания. Это было прежде богатое поместье, а теперь шеф пионерского лагеря, дом отдыха ЦИК и Совнаркома — Ай-Су.

Соскочив у высокой узорной решетки, он зашел в дежурку и спросил, есть ли среди отдыхающих товарищи Самарин или Гитаевич. Ему ответили, что Самарин еще с утра уехал в Ялту и вернется только к вечеру, а Гитаевич здесь.

Инженер взял пропуск и, похлопывая плетью о голенище грязного сапога, пошел к виднеющемуся в глубине аллеи просвету.

Гитаевича он встретил у лесенки, ведущей к морю. Это был черноволосый с проседью человек в больших круглых очках, с широкой черной бородой.

— Здравствуйте!— громко сказал инженер, прикладывая руку к козырьку.

Гитаевич с удивлением посмотрел на этого внезапно возникшего человека в грязных сапогах и в запачканном глиною френче.

— Ба!.. Ба!.. Сергей!— улыбаясь, заговорил он резким, каркающим голосом.— Откуда? И в каком виде — сапоги, френч... нагайка! Что ты, прямо из разведки в штаб полка?

— Дело, товарищ Гитаевич,— сказал Сергей, сжимая протянутую руку.— Спешное дело.

— Уволь, уволь,— заговорил Гитаевич, усаживаясь на скамейку.— Газет не читаю, телеграмм не распечатываю. О чем хочешь? Старину вспомним... дивизию, Бессарабию. Так поговорим — это с большим удовольствием, а от дела избавь. У меня здесь ни чина, ни должности, ни обязанностей. Лежу на солнышке да вот, видишь, стихи читаю.

— Дело, товарищ Гитаевич,— упрямо повторил Сергей.— Если бы не важное, то и не просил бы.

— Палицын где?.. Матусевич? И этот... как его? Ну, со шрамом на щеке... Ах ты! Да как же его, этого, что со шрамом?— как бы не расслышав Сергея, продолжал Гитаевич.

— Много со шрамами было, товарищ Гитаевич. Я и сам со шрамом,— продолжал Сергей.— Мне динамит нужен. Взрывсельпром не дает. Говорит, Москву запрашивать надо. А если вы напишете, то даст. Ваш дом отдыха — наш шеф. Вы отдыхаете, значит, вы тоже шеф.

— Какой динамит? Какие шефы?— с раздражени-

ем и беспокойством переспросил Гитаевич.— И откуда ты на мою голову свалился? Я выкупался, иду, читаю стихи, а он вдруг: дело... динамит... шефы... Ну, что у тебя такое? Наверное, какая-нибудь ерунда?

— Дело ерундовое,— согласился Сергей и рассказал все, что ему было нужно.

Окончилось тем, что Гитаевич поморщился, взял протянутую ему бумагу, карандаш, что-то написал и передал Сергею.

— Возьми,— грубовато сказал он.— От тебя не отстанешь.

— Ваша школа, товарищ Гитаевич,— ответил Сергей и, спрятав бумагу, добавил:— Знавал я на Украине одного комиссара дивизии, которого однажды командующий на гауптвахту посадил. Иначе, говорит, этот не отстанет.

Прищурив под дымчатыми стеклами узкие строгие глаза, Гитаевич взглянул искоса и насмешливо, как бы подбадривая Сергея: ну, дескать, продолжай, продолжай. Но Сергей теперь и сам неспроста посматривал на Гитаевича и молча доставал из портсигара папиросу.

— Так посадил, говоришь?— неожиданно веселым, но все тем же каркающим голосом спросил Гитаевич, и, взяв Сергея за руку, он дружески хлопнул его по плечу.— Давно это было, Сергей,— уже тише добавил он.

— Давно, товарищ Гитаевич.

— Так ты теперь не в армии?

— Инженер. Командир запаса.

— Почему же, Сережа, ты инженер? Я что-то не припоминаю, чтобы у тебя какие-нибудь инженерские задатки были... Постой, куда же ты?— спросил Гитаевич, увидав, что Сергей поднимается и застегивает полевую сумку.— Да, у тебя динамит. Ну, когда выбе-

решь свободное время, заходи. Только заходи без всякого дела. Пойдем к морю, выкупаемся, поговорим. Ты один?— глядя в лицо Сергея и почему-то тише и ласковей спросил Гитаевич.

— Один. То есть нас двое — я и Алька,— ответил Сергей.— Двое, я и сын,— повторил он и замолчал.

— Ну, до свиданья,— сказал Гитаевич, который, по-видимому, что-то хотел сказать или о чем-то спросить, но раздумал — не сказал и не спросил, а только крепче, чем обыкновенно, пожал протянутую ему руку.

Чтобы сократить путь к озеру, Сергей взял наперерез через тропку, но, еще не доезжая до перевала, он вспомнил, что позабыл заехать в лагерь и заказать машину на Севастополь. Досадуя на свою оплошность и опасаясь, как бы машину не угнали в другое место, он остановил усталого коня.

Тропинка была глухая, заросшая травою и засыпанная мелкими камнями. Неподалеку торчали остатки маленькой старинной крепости с развалившейся башенкой, на обломках которой густо разросся низкорослый кудрявый кустарник. Конь насторожил уши— на тропку из-за кустов выскочили два мальчугана. Один из них держал палку, к концу которой была привязана обыкновенная стеариновая свеча, а другой тащил большой клубок тонкой бечевки.

Столкнувшись с незнакомым человеком, оба они смутились.

— Из лагеря?— спросил Сергей.— А ну-ка, подите сюда!

— Из лагеря,— хмуро и неохотно ответил тот, который был повыше, стараясь спрятать за спину палку со свечой.— Мы гуляли.

— Вот что,— сказал Сергей.— Вы потом погуляете, а сейчас я вам дам записку. Тащите ее во весь дух

к начальнику лагеря и скажите: пусть через час приготовит мне машину на Севастополь.

Пока он писал, оба мальчугана переглянулись, и старший успокоенно кивнул младшему.

Догадавшись, что встретившийся человек ни в чем плохом их не подозревает, они охотно приняли записку и поспешно скрылись в кустарнике.

В горах на месте катастрофы вода разлилась широко. Над низовым кустарником, пронзительно чирикая, носились встревоженные пичужки. Сухие травы, стебли, рыжая пухлая пена — все это плавало и кружилось на поверхности мутной воды.

— Много вынули?— спросил Сергей у бригадира Шалимова, который ругался по-татарски с маленьким сухощавым землекопом.

— А не мерил еще,— медленно выговаривая русские слова, ответил Шалимов.— Кубометров десять, должно быть, вынули.

— Мало,— сказал Сергей.— Плохо работаешь, Шалимов.

— Грунт тяжелый,— равнодушно ответил Шалимов,— не земля, а камень.

— Ну, камень! До камня еще далеко. Смотри, Шалимов, беда будет. Зальет второй участок, и оставим мы ребят без воды.

— Как можно без воды?— согласился Шалимов.— Пить нету, обед варить нету, ванну делать нету, цветы поливать нету. Как можно без воды? — разведя руками, закончил он и невозмутимо сел на камень, собираясь вступить в длинный и благодушный разговор.

— Плохо, Сергей Алексеевич!— крикнул запыхавшийся десятник Дягилев. — Вы посмотрите на



...Они охотно приняли записку.

выемку — так и рвет со дна, так и рвет! И откуда такая силища? Это не ключ, а сама подземная речка.

— Видел,— ответил Сергей.— До утра продержимся.

— Ой ли продержимся, Сергей Алексеевич?

— Надо продержаться.

Сергей приказал: как только обнажится каменная гряда, поставить бурить скважины, а землекопов перебросить рыть канаву к другой небольшой впадине, которая могла оттянуть воду и задержать перелив еще на три-четыре часа.

— Дягилев,— сказал он напоследок,— я вернусь ночью, к рассвету. Ты отвечаешь. Да не ругайтесь вы с Шалимовым, а работайте. Как ни приду, или Шалимов на тебя жалуется, или ты на Шалимова. С рабочими за прошлую десятидневку рассчитались?

— Давно уже, Сергей Алексеевич. Это еще по старой ведомости, до вашего приезда, прежним техником подписана была.

— Вы потом покажите мне все эти ведомости,— сказал Сергей.— Я поехал.

Возле Ялты хлынул грозовой ливень. Это задержало машину на два часа: шофер был вынужден уменьшить скорость, потому что на крутых поворотах скользкой дороги машину сильно заносило. В Севастополь они прибыли только в восемь вечера. Понадобились долгие телефонные звонки, понадобилось вмешательство секретаря райкома и даже коменданта города для того, чтобы получить пропуск и открыть уже запечатанные склады Взрывсельпрома.

И, когда небольшой, но тяжелый ящик был осторожно погружен на машину, стрелка часов уже подходила к половине одиннадцатого.

Луна сквозь сплошные черные тучи не обозначалась даже слабым просветом. Скрылись очертания горных вершин. Растворились в темноте рощи, сады, поля, виноградники, и только полоса широкого ровного шоссе, как бы расплавленного ослепительным светом автомобильных фар, сверкала влажной желтоватой белизной.

— Ну, давай!— подбадривающе сказал Сергей, усаживаясь рядом с шофером.— Ночь темная, а дорога длинная.

Только теперь, сидя на кожаных подушках вздрагивающего автомобиля, Сергей почувствовал, что он сильно устал. Запахнув плащ и крепче надвинув фуражку, он закрыл глаза. И так в полусне, только по собачьему лаю да по кудахтанью распуганных кур угадывая проносящиеся мимо поселки и деревушки, сидел он долго и молча.

Ра-а! Ра-а-а!..— звонко и тревожно гудел сигнал, и машину плавно покачивало на бесчисленных крутых поворотах.

Дорога забирала в горы.

И эта непроницаемая, беззвездная тьма, и этот свежий и влажный ветер, приглушенный собачий лай, запах сена и спелого винограда напомнили Сергею что-то радостное, но очень молодое и очень далекое.

И вот почему-то пылал костер. Тихо звеня уздечками, тут же рядом ворочались разномастные кони.

Ра-а-а!..— звонко гудела машина, взлетая в гору все круче и круче.

...Темные кони, вороные и каурые, были невидимы, но один, белогривый, маленький и смешной Пегашка, вскинув короткую морду, поднял длинные уши, настороженно прислушиваясь к неразгаданному шуму.

— Это мой конь!— сказал Сергей, поднимаясь от костра и тренькая звонкими шпорами.

— Да,— согласился начальник заставы,— эта худая, недобитая скотина — твой конь. Но что это шумит впереди на дороге?

— Хорошо! Посмотрим!— гневно крикнул Сергей и вскочил на Пегашку, который сразу же оказался самым лучшим конем в этой разбитой, но смелой армии.

— Плохо!— крикнул ему вдогонку умный, осторожный начальник заставы.— Это тревога, это белые.

И тотчас же погас костер, лязгнули расхваченные винтовки, а изменник Каплаухов тайно разорвал партийный билет.

— Это беженцы!— крикнул возвратившийся Сергей.— Это не белые, а просто беженцы. Их много, целый табор.

И тогда всем стало так радостно и смешно, что, наскоро расстреляв проклятого Каплаухова, вздули они яркие костры и весело пили чай, угощая хлебом беженских мальчишек и девочек, которые смотрели на них огромными доверчивыми глазами.

— Это мой конь!— гордо сказал Сергей, показывая ребятишкам на маленького белогривого Пегашку.— Это очень хороший конь.

Но глупые ребятишки не понимали и молча жадно грызли черный хлеб.

— Это хороший конь! — гневно и нетерпеливо повторил Сергей и посмотрел на глупых ребятишек недобрыми глазами.

— Хороший конь,— слегка картавя, звонко повторила по-русски худенькая, стройная девчонка, вздрагивавшая под рваной и яркой шалью.— И конь хороший, и сам ты хороший.

Ра-а-а!..— заревела машина, и Сергей решил: «Стоп! Довольно. Теперь пора просыпаться».

Но глаза не открывались.

«Довольно!» — с тревогой подумал он, потому что хороший сон уже круто и упрямо сворачивал туда, где было темно, тревожно и опасно.

Но тут его крепко качнуло, машина остановилась, и шофер громко сказал:

— Есть! Закурим. Это Байдары.

— Байдары...— машинально повторил Сергей и открыл глаза.

Машина стояла на самой высокой точке перевала. Запутавшиеся в горах тучи остались позади. Далеко под ногами в кипарисовой черноте спало все южное побережье. Кругом было тихо и спокойно. Сон прошел. Они закурили и быстро помчались вперед, потому что было уже далеко за полночь.

Проснувшись, Натка увидела Альку.

Алька стоял, открыв коробку, и удивлялся тому, что она пуста.

— Это ты открыла или они сами повылазили? — спросил Алька, показывая на коробку.

— Это я нечаянно,— созналась Натка.— Я открыла и даже испугалась.

— Они не кусаются,— успокоил ее Алька.— Они только прыгают. И ты очень испугалась?

— Очень испугалась,— к великому удовольствию Альки, подтвердила Натка и потащила его в умывальную комнату.

— Алька,— спросила Натка, когда, умывшись, вышли они на террасу,— скажи мне, пожалуйста, что ты за человек?

— Человек? — удивленно переспросил Алька.— Ну, просто человек. Я да папа.— И, серьезно поглядев на нее, он спросил: — А ты что за человек? Я тебя узнаю́. Это ты с нами в вагоне ехала.

— Алька,— спросила Натка,— почему это ты да папа? А почему ваша мама не приехала?

— Мамы нет,— ответил Алька.

И Натка пожалела о том, что задала этот неосторожный вопрос.

— Мамы нет,— повторил Алька, и Натке показалось, что, подозревая ее в чем-то, он посмотрел на нее недоверчиво и почти враждебно.

— Алька,— быстро сказала Натка, поднимая его на руки и показывая на море,— посмотри, какой быстрый, большой корабль.

— Это сторожевое судно,— ответил Алька.— Я его видел еще вчера.

— Почему сторожевое? Может быть, обыкновенное?

— Это сторожевое. Ты не спорь. Так мне папа сказал, а он лучше тебя знает.

В этот день готовились к первому лагерному костру, и Натка повела Альку к октябрятам.

На лужайке босой пионер Василюк, забравшись на спину согнувшегося Баранкина, учил легонькую и ловкую башкирку Эмине вспрыгивать на плечи с развернутым красным флагом.

— Ты не так прыгаешь, Эмка,— терпеливо повторял Василюк.— Ты когда прыгнешь, то стой спокойно, а не дрыгай ногами. Ты дрыгнешь — я колыхнусь, и полетим мы с тобой прямо Баранкину на голову. Эх, ты! Ну, и как мне с тобой сговориться?— огорчился он, увидав, что Эмине не понимает его.— Ну ладно, беги. Потом Юлай придет, он уж тебе по-вашему объяснит.

Эмине спрыгнула и, заметив Альку, остановилась и с любопытством разглядывала этого маленького, незнакомого ей человека.

— Пионер?— смело спросила она, указывая на его красный галстук.

— Пионер,— ответил Алька и протянул ей цветную картинку с мчавшимся всадником.— Это белый,— хитро прищуриваясь и указывая пальцем на всадника, попробовал обмануть ее Алька.— Это белый. Это царь.

— Это красный,— еще хитрее улыбнувшись, ответила Эмине.— Это Буденный.

— Это белый,— настойчиво повторил Алька, указывая на саблю.— Вот сабля.

— Это красный,— твердо повторила Эмине, указывая на серую папаху.— Вот звезда!

И, рассмеявшись, оба очень довольные, что хорошо поняли друг друга, они вприпрыжку понеслись к кустам, откуда доносилось нестройное пение октябрят.

Проводив Альку к октябрятам, Натка повернула к сосновой роще и натолкнулась на звеньевого третьего звена Иоську. В одной руке Иоська тащил что-то длинное, свернутое в трубочку, а в другой — маленький, крепко завязанный узелок.

— Ты откуда? Куда?

— В клуб бегал,— быстро и неохотно ответил Иоська, подпрыгивая и увертливо пряча узелок за спину. — В клуб за плакатами. Мы сейчас рассказ будем читать о танках.

— Иоська,— удивилась Натка,— почему же это о танках, когда у тебя сегодня по плану не танки, а памятка пионеру-автодоровцу?

— Памятка потом. Мы сегодня с купанья шли — глядим, четыре танка ползут. Интересно! Я скорей в библиотеку. Давай, думаю, сегодня, пока интересно, будем читать о танках.

— Ну ладно, Иоська. Это хорошо. А что это ты в узелке за спиной прячешь?

— Это? Это орехи,— с отчаянием заговорил Иоська, еще нетерпеливей подпрыгивая и отскакивая от Натки.— Это я такую игру придумал. Мне инструктор написал семь вопросов о танках. Ну вот, кто угадает, а кто не угадает...

— Да ты хоть скажи, откуда орехи-то взял?

Но тут увертливый Иоська подпрыгнул так высоко, как будто бы камни очень сильно прижгли ему голые пятки, и, замотав головой, не дожидаясь расспросов, он юркнул в кусты.

Из-за подготовки к костру перепутались и разорвались все звенья. Певцы ушли в хоровой кружок, гимнасты — на спортивную площадку, танцоры — в клуб. И, пользуясь этой веселой суматохой, никем не замеченные, двое ребят скрылись потихоньку из лагеря.

Добравшись по глухой тропке до развалин маленькой крепости, они вытащили клубок тонкой бечевы и огарок стеариновой свечки. Раздвигая заросли густой душистой полыни, они пробрались к небольшой черной дыре у подножия дряхлой башенки.

Ярко жгло полуденное солнце, и от этого пахнувшее сыростью отверстие казалось еще более черным и загадочным.

— А что, если у нас бечевы не хватит, тогда как?— спросил Владик, привязывая свечку к концу длинной палки.— А что, если вдруг под ногами обрыв? Я, знаешь, Толька, где-то читал такое, что вот идешь... идешь подземным ходом, вдруг — бац, и летишь ты в пропасть. А внизу, в этой пропасти, разные гадюки... змеи...

— Какие еще змеи?— переспросил Толька, поглядывая на сырую черную дыру.— И что ты, Владик,

всегда какую-нибудь ерунду придумаешь? То тебе порошком натереться, то тебе змеи. Ты лучше бы свечку покрепче привязал, а то слетит свечка, вот тебе и будут змеи.

— А что, Толька,— обматывая свечку, задумчиво продолжал Владик,— а что, если мы спустимся, вдруг обвалится башня и останемся мы с тобой запертыми в подземных ходах? Я где-то тоже такое читал. Сначала они свечи поели, потом башмаки, потом ремни, а потом, кажется, и друг друга сожрали. Очень интересная книга.

— И что ты, Владик, всегда какую-то ерунду читаешь?— совсем уже унылым голосом спросил Толька и опять покосился на черную дыру.

— Лезем!— оборвал его Владик.— Мало ли что я говорю! Это я тебя, дурака, дразню.

Он зажег свечу и осторожно спустил ноги на покатый каменистый вход.

Толька, держа в руках клубок с разматывающейся бечевой, полез вслед за ним.

Потихоньку ощупывая каждый камешек, они прошли метров пять. Здесь ход круто сворачивал направо. Оглянувшись еще раз на просвет, они решительно повернули вправо. Но, к своему разочарованию, они очутились в небольшом затхлом подвальчике, заваленном мусором и щебнем. Никакого подземного хода не было.

— Тоже, крепость!— рассердился Толька.— А все, Владик, ты. Полезем да полезем. Ну, вот тебе и полезли. Идем лучше назад, а то я ногой в какую-то дрянь наступил.

Они выбрались из погреба и, цепляясь за уступы, залезли на поросшую кустами башенку. Отсюда было видно море — огромное и пустынное.

Опустившись на траву, ребята притихли и, щурясь от солнца, лежали долго и молча.

— Толька!— спросил вдруг Владик, и, как всегда, когда он придумывал что-нибудь интересное, глаза его заблестели.—А что, Толька, если бы налетели аэропланы, надвинулись танки, орудия, собрались бы белые со всего света, и разбили бы они Красную Армию, и поставили бы они все по-старому? Мы бы с тобой тогда как?

— Еще что!—равнодушно ответил Толька, который уже привык к странным фантазиям своего товарища.

— И разбили бы они Красную Армию,— упрямо и дерзко продолжал Владик,—перевешали бы коммунистов, перекидали бы в тюрьмы комсомольцев, разогнали бы всех пионеров, тогда бы мы с тобой как?

— Еще что!— уже с раздражением повторил Толька, потому что даже он, привыкший к выдумкам Владика, нашел эти слова очень уж оскорбительными и невероятными.— Так бы наши им и поддались! Ты знаешь, какая у нас Красная Армия? У нас советская... На весь мир. У нас у самих танки. Глупый ты, дурак. И сам ты все знаешь, а сам нарочно спрашивает, спрашивает...

Толька покраснел и, презрительно фыркнув, отвернулся от Владика.

— Ну и пусть глупый! Пусть знаю,— спокойнее продолжал Владик.— Ну, а если бы? Тогда бы мы с тобой как?

— Тогда бы и придумали,— вздохнул Толька.

— Что там придумывать?— быстро заговорил Владик.— Ушли бы мы с тобой в горы, в леса. Собрали бы отряд, и всю жизнь, до самой смерти, нападали бы мы на белых и не изменили, не сдались бы никогда. Никогда!— повторил он, прищуривая блестящие серые глаза.

Это становилось интересным. Толька приподнялся на локтях и повернулся к Владику.

— Так бы всю жизнь одни и прожили в лесах?— спросил он, подвигаясь поближе.

— Зачем одни? Иногда бы мы с тобой переодевались и пробирались потихоньку в город за приказами. Потом к рабочим. Ведь всех рабочих они все равно не перевешают. Кто же тогда работать будет — сами буржуи, что ли? Потом во время восстания бросились бы все мы к городу, грохнули бы бомбами в полицию, в белогвардейский штаб, в ворота тюрьмы, во дворцы к генералам, к губернаторам. Смелее, товарищи! Пусть грохает.

— Что-то уж очень много грохает!— усомнился Толька.— Так, пожалуй, и все дома закачаются.

— Пусть качаются,— ответил Владик.— Так им и надо.

— Тише, Владик! — зашипел вдруг Толька и стиснул локоть товарища.— Смотри, Владик, кто это?

Из-за кустов вышел незнакомый чернобородый человек. В руках он держал что-то продолговатое, завернутое в бумагу. По-видимому, он очень торопился. Оглядываясь по сторонам, он постоял некоторое время не двигаясь, потом уверенно раздвинул кустарники и исчез в черной дыре, из которой еще только совсем недавно выбрались ребятишки.

Не позже чем через пять-шесть минут он вылез обратно и поспешно скрылся в кустах.

Озадаченные ребята молча переглянулись, потихоньку соскользнули вниз и, осторожно пригибаясь, выскочили на тропку.

Здесь-то и встретили они возвращавшегося от Гитаевича Сергея, который и приказал им передать записку начальнику лагеря.

...— Ты знаешь, где мой папа? — спросил Алька, перед тем как лечь спать.— У него случилась какая-то беда. Он сел на коня и уехал в горы.

Алька подумал, повертелся под одеялом и неожиданно спросил:

— А у тебя, Натка, случалась когда-нибудь беда?

— Нет, не случалась,— не совсем уверенно ответила Натка.— А у тебя, Алька?

— У меня?— Алька запнулся.— А у меня, Натка, очень, очень большая случилась. Только я тебе про нее не сейчас расскажу.

«У него умерла мать»,— почему-то подумала Натка, и, чтобы он не вспоминал об этом, она села на край кровати и рассказала ему смешную историю о толстой кошке, которую обманул хитрый заяц.

— Спи, Алька,— сказала Натка, закончив рассказ.— Уже поздно.

Но Альке что-то не спалось.

— Ну, расскажи мне сам что-нибудь,— попросила Натка.— Расскажи какую-нибудь историю.

— Я не знаю истории,—подумав, ответил Алька.— Я знаю одну сказку. Очень хорошая сказка. Только это не такая... не про кошек и не про зайцев. Это военная, смелая сказка.

— Расскажи мне, Алька, смелую военную сказку,— попросила Натка, и, потушив свет, она подсела к нему поближе.

Тогда, усевшись на подушку, Алька рассказал ей сказку про гордого Мальчиша-Кибальчиша, про измену, про твердое слово и про неразгаданную Военную Тайну.

Потом он уснул, но Натка долго еще ворочалась, обдумывая эту странную Алькину сказку.

Было уже очень поздно, когда далекий, но силь-

ный гул ворвался в открытое настежь окно, как будто бы ударили в море залпом могучие, тяжелые батареи.

Натка вздрогнула, но тут же вспомнила, что еще с вечера всех вожатых предупредили, что если ночью в горах будут взрывы, то пусть не пугаются — это так надо.

Она быстро прошла в палату.

Однако набегавшиеся за день ребята продолжали крепко спать, и только трое или четверо подняли головы, испуганно прислушиваясь к непонятному грохоту. Успокоив их, Натка пошла к себе. Распахнув дверь, она увидела, что, ухватившись за спинку кровати, Алька стоит на подушке и смотрит широко открытыми, но еще сонными глазами.

— Что это?—спросил он тревожным полушепотом.

— Спи, Алька, спи!— быстро ответила Натка, укладывая его в постель.— Это ничего... Это твой папа поправляет беду.

— А, папа...— уже закрывая глаза, с улыбкой повторил Алька и почти тотчас же заснул.

...Ребята-октябрята были самым дружным народом в отряде. Держались они всегда стайкой: петь так петь, играть так играть. Даже реву задавали они и то не поодиночке, а сразу целым хором, как это было на днях, когда их не взяли на экскурсию в горы.

К полудню Натка увела их на поляну, к сосновой роще, потому что звеньевой октябрят Роза Ковалева была в этот день помощником дежурного по лагерю.

Едва только Натка опустилась на траву, как октябрята с криком бросились занимать места поближе и быстро раскинулись вокруг нее веселой босоногой звездочкой.

— Расскажи, Натка!

— Почитай, Натка!

— Покажи картинки!

— Спой, Натка!— на все голоса закричали октябрята, протягивая ей книжки, картинки и даже неизвестно для чего подсовывая прорванный барабан и сломанное чучело полинялой бесхвостой птицы.

— Расскажи, Натка, интересное,— попросил обиженно октябренок Карасиков.— А то вчера Роза обещала рассказать интересное, а сама рассказала, как мыть руки да чистить зубы. Разве же это интересное?

— Расскажи, Натка, сказку,— попросила синеглазая девчурка и виновато улыбнулась.

— Сказку?—задумалась Натка.—Я что-то не знаю сказок. Или нет... я расскажу вам Алькину сказку. Можно?— спросила она у насторожившегося Альки.

— Можно,— позволил Алька, горделиво посматривая на притихших октябрят.

— Я расскажу Алькину сказку своими словами. А если я что-нибудь позабыла или скажу не так, то пусть он меня поправит. Ну вот, слушайте!

...В те дальние-дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был Мальчиш-Кибальчиш.

В ту пору далеко прогнала Красная Армия белые войска проклятых буржуинов, и тихо стало на тех широких полях, на зеленых лугах, где рожь росла, где гречиха цвела, где среди густых садов да вишневых кустов стоял домишко, в котором жил Мальчиш, по прозванию Кибальчиш, да отец Мальчиша, да старший брат Мальчиша, а матери у них не было.

Отец работает — сено косит. Брат работает — сено возит. Да и сам Мальчиш то отцу, то брату помогает или просто с другими мальчишами прыгает да балуется.

Гоп!.. Гоп!.. Хорошо! Не визжат пули, не грохают снаряды, не горят деревни. Не надо от пуль на пол ложиться, не надо от снарядов в погреба прятаться, не надо от пожаров в лес бежать. Нечего буржуинов бояться. Некому в пояс кланяться. Живи да работай — хорошая жизнь!

Вот однажды — дело к вечеру — вышел Мальчиш-Кибальчиш на крыльцо. Смотрит он — небо ясное, ветер теплый, солнце к ночи за Черные Горы садится. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится Мальчишу, будто то ли что-то гремит, то ли что-то стучит. Чудится Мальчишу, будто пахнет ветер не цветами с садов, не медом с лугов, а пахнет ветер то ли дымом с пожаров, то ли порохом с разрывов. Сказал он отцу, а отец усталый пришел.

— Что ты?— говорит он Мальчишу.— Это дальние грозы гремят за Черными Горами. Это пастухи дымят кострами за Синей Рекой, стада пасут да ужин варят. Иди, Мальчиш, и спи спокойно.

Ушел Мальчиш. Лег спать. Но не спится ему — ну никак не засыпается. Вдруг слышит он на улице топот, у окон — стук. Глянул Мальчиш-Кибальчиш, и видит он: стоит у окна всадник. Конь — вороной, сабля — светлая, папаха — серая, а звезда — красная.

— Эй, вставайте!— крикнул всадник.— Пришла беда, откуда не ждали. Напал на нас из-за Черных Гор проклятый буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды. Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию.

Так сказал эти тревожные слова краснозвездный всадник и умчался прочь. А отец Мальчиша подошел к стене, снял винтовку, закинул сумку и надел патронташ.

— Что же,— говорит старшему сыну,— я рожь густо сеял — видно, убирать тебе много придется. Что же,— говорит он Мальчишу,— я жизнь круто прожил, и пожить за меня спокойно, видно, тебе, Мальчиш, придется.

Так сказал он, крепко поцеловал Мальчиша и ушел. А много ему расцеловываться некогда было, потому что теперь уже всем и видно и слышно было, как гудят за лугами взрывы и горят за горами зори от зарева дымных пожаров...

— Так я говорю, Алька?— спросила Натка, оглядывая притихших ребят.

— Так... так, Натка,— тихо ответил Алька и положил свою руку на ее загорелое плечо.

— Ну вот... День проходит, два проходит. Выйдет Мальчиш на крыльцо: нет... не видать еще Красной Армии. Залезет Мальчиш на крышу. Весь день с крыши не слезает. Нет, не видать. Лег он к ночи спать. Вдруг слышит на улице топот, у окошка — стук. Выглянул Мальчиш: стоит у окна тот же всадник. Только конь худой да усталый, только сабля погнутая, темная, только папаха простреленная, звезда разрубленная, а голова повязанная.

— Эй, вставайте!— крикнул всадник.— Было полбеды, а теперь кругом беда. Много буржуинов, да мало наших. В поле пули тучами, по отрядам снаряды тысячами. Эй, вставайте, давайте подмогу!

Встал тогда старший брат, сказал Мальчишу:

— Прощай, Мальчиш... Остаешься ты один... Щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, а голова на плечах... Живи как сумеешь, а меня не дожидайся.

День проходит, два проходит. Сидит Мальчиш у трубы на крыше, и видит Мальчиш, что скачет издалека незнакомый всадник...

Доскакал всадник до Мальчиша, спрыгнул с коня и говорит:

— Дай мне, хороший Мальчиш, воды напиться. Я три дня не пил, три ночи не спал, три коня загнал. Узнала Красная Армия про нашу беду. Затрубили трубачи во все сигнальные трубы. Забили барабанщики во все громкие барабаны. Развернули знаменосцы все боевые знамена. Мчится и скачет на помощь вся Красная Армия. Только бы нам, Мальчиш, до завтрашней ночи продержаться.

Слез Мальчиш с крыши, принес напиться. Напился гонец и поскакал дальше.

Вот приходит вечер, и лег Мальчиш спать. Но не спится Мальчишу — ну какой тут сон?

Вдруг он слышит на улице шаги, у окошка — шорох. Глянул Мальчиш и видит: стоит у окна все тот же человек. Тот, да не тот: и коня нет — пропал конь, и сабли нет — сломалась сабля, и папахи нет — слетела папаха, да и сам-то стоит — шатается.

— Эй, вставайте!— закричал он в последний раз.— И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться.

Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота — некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли — никого не осталось.

Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит.

Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал.

— Так я говорю, Алька?— спросила Натка, чтобы перевести дух, и оглянулась.

Уже не одни октябрята слушали эту Алькину сказку.

Кто его знает когда, подползло бесшумно все пионерское Иоськино звено. И даже башкирка Эмине, которая только едва понимала по-русски, сидела задумавшаяся и серьезная. Даже озорной Владик, который лежал поодаль, делая вид, что он не слушает, на самом деле слушал, потому что лежал тихо, ни с кем не разговаривая и никого не задевая.

— Так, Натка, так... Еще лучше, чем так,— ответил Алька, подвигаясь к ней еще поближе.

— Ну вот... Сел на завалинку старый дед, опустил голову и заплакал.

Больно тогда Мальчишу стало. Выскочил тогда Мальчиш-Кибальчиш на улицу и громко-громко крикнул:

— Эй же вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтоб буржуины пришли и забрали нас в свое проклятое буржуинство?

Как услышали такие слова мальчиши-малыши, как заорут они на все голоса! Кто в дверь выбегает, кто в окно вылезает, кто через плетень скачет.

Все хотят идти на подмогу. Лишь один Мальчиш-Плохиш захотел идти в буржуинство. Но такой был хитрый этот Плохиш, что никому ничего он не сказал, а подтянул штаны и помчался вместе со всеми, как будто бы на подмогу.

Бьются мальчиши от темной ночи до светлой зари. Лишь один Плохиш не бьется, а все ходит да высматривает, как бы это буржуинам помочь. И видит



Уже не одни октябрята слушали эту Алькину сказку.

Плохиш, что лежит за горкой громада ящиков, а спрятаны в тех ящиках черные бомбы, белые снаряды да желтые патроны. «Эге,— подумал Плохиш,— вот это мне и нужно».

А в это время спрашивает Главный Буржуин у своих буржуинов:

— Ну что, буржуины, добились вы победы?

— Нет, Главный Буржуин,— отвечают буржуины,— мы отцов и братьев разбили, и совсем была наша победа, да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш, и никак мы с ним все еще не справимся.

Очень удивился и рассердился тогда Главный Буржуин, и закричал он грозным голосом:

— Может ли быть, чтобы не справились с Мальчишем? Ах вы, негодные трусищи-буржуищи! Как это вы не можете разбить такого маловатого? Скачите скорей и не возвращайтесь назад без победы.

Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им сделать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним.

— Радуйтесь!— кричит он им.— Это все я, Плохиш, сделал. Я дров нарубил, я сена натащил, и зажег я все ящики с черными бомбами, с белыми снарядами да с желтыми патронами. То-то сейчас грохнет!

Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья.

Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется.

Вдруг как взорвались зажженные ящики! И так грохнуло, будто бы тысячи громов в одном месте ударили и тысячи молний из одной тучи сверкнули.

— Измена!— крикнул Мальчиш-Кибальчиш.

— Измена!— крикнули все его верные мальчиши.

Но тут из-за дыма и огня налетела буржуинская си-

ла, и скрутила и схватила она Мальчиша-Кибальчиша.

Заковали Мальчиша в тяжелые цепи. Посадили Мальчиша в каменную башню. И помчались спрашивать: что же с пленным Мальчишем прикажет теперь Главный Буржуин делать?

Долго думал Главный Буржуин, а потом придумал и сказал:

— Мы погубим этого Мальчиша. Но пусть он сначала расскажет нам всю их Военную Тайну. Вы идите, буржуины, и спросите у него:

— Отчего, Мальчиш, бились с Красной Армией Сорок Царей да Сорок Королей, бились, бились, да только сами разбились?

— Отчего, Мальчиш, и все тюрьмы полны, и все каторги забиты, и все жандармы на углах, и все войска на ногах, а нет нам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь?

— Отчего, Мальчиш, проклятый Кибальчиш, и в моем Высоком Буржуинстве, и в другом — Равнинном Королевстве, и в третьем — Снежном Царстве, и в четвертом — Знойном Государстве в тот же день в раннюю весну и в тот же день в позднюю осень на разных языках, но те же песни поют, в разных руках, но те же знамена несут, те же речи говорят, то же думают и то же делают?

Вы спросите, буржуины:

— Нет ли, Мальчиш, у Красной Армии военного секрета?

И пусть он расскажет секрет.

— Нет ли у наших рабочих чужой помощи?

И пусть он расскажет, откуда помощь.

— Нет ли, Мальчиш, тайного хода из вашей страны во все другие страны, по которому как у вас кликнут, так у нас откликаются, как у вас запоют, так у

нас подхватывают, что у вас скажут, над тем у нас задумаются?

Ушли буржуины, да скоро назад вернулись:

— Нет, Главный Буржуин, не открыл нам Мальчиш-Кибальчиш Военной Тайны. Рассмеялся он нам в лицо.

— Есть,— говорит он,— и могучий секрет у крепкой Красной Армии. И, когда б вы ни напали, не будет вам победы.

— Есть,— говорит,— и неисчислимая помощь, и, сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, все равно не перекидаете, и не будет вам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь.

— Есть,— говорит,— и глубокие тайные ходы. Но, сколько бы вы ни искали, все равно не найдете. А и нашли бы, так не завалите, не заложите, не засыплете. А больше я вам, буржуинам, ничего не скажу, а самим вам, проклятым, и ввек не догадаться.

Нахмурился тогда Главный Буржуин и говорит:

— Сделайте же, буржуины, этому скрытному Мальчишу-Кибальчишу самую страшную Муку, какая только есть на свете, и выпытайте от него Военную Тайну, потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой важной Тайны.

Ушли буржуины, а вернулись теперь они не скоро. Идут и головами покачивают.

— Нет,— говорят они,— начальник наш Главный Буржуин. Бледный стоял он, Мальчиш, но гордый, и не сказал он нам Военной Тайны, потому что такое уж у него твердое слово. А когда мы уходили, то опустился он на пол, приложил ухо к тяжелому камню холодного пола, и, ты поверишь ли, о Главный Буржуин, улыбнулся он так, что вздрогнули мы, буржуины, и страшно нам стало, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминучая погибель?..

— Это не по тайным... это Красная Армия скачет!— восторженно крикнул не вытерпевший октябренок Карасиков.

И он так воинственно взмахнул рукой с воображаемой саблей, что та самая девчонка, которая еще недавно, подскакивая на одной ноге, безбоязненно дразнила его «Карасик-ругасик», недовольно взглянула на него и на всякий случай отодвинулась подальше. Тут Натка оборвала рассказ, потому что издалека раздался сигнал к обеду.

— Досказывай,— повелительно произнес Алька, сердито заглядывая ей в лицо.

— Досказывай,— убедительно произнес раскрасневшийся Иоська.— Мы за это быстро построимся.

Натка оглянулась. Никто из ребятишек не поднимался. Она увидела много-много ребячьих голов — белокурых, темных, каштановых, золотоволосых. Отовсюду на нее смотрели глаза — большие, карие, как у Альки, ясные, васильковые, как у той синеглазой, что попросила сказку, узкие, черные, как у Эмине, и много-много других глаз — обыкновенно веселых и озорных, а сейчас задумчивых и серьезных.

— Хорошо, ребята, я доскажу.

...И стало нам страшно, Главный Буржуин, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминучая погибель?

— Что это за страна?— воскликнул тогда удивленный Главный Буржуин.— Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают Военную Тайну и так крепко держат свое твердое слово? Торопитесь же, буржуины, и погубите этого гордого Мальчиша. Заряжайте же пушки, вынимайте сабли, раскрывайте наши буржуинские знамена, потому что слышу я, как трубят тревогу наши сигнальщи-

ки и машут флагами наши махальщики. Видно, будет у нас сейчас не легкий бой, а тяжелая битва.

— И погиб Мальчиш-Кибальчиш...— произнесла Натка.

При этих неожиданных словах лицо у октябренка Карасикова сделалось вдруг печальным, растерянным, и он уже не махал рукой. Синеглазая девчурка нахмурилась, а веснушчатое лицо Иоськи стало злым, как будто его только что обманули или обидели. Ребята заворочались, зашептались, и только Алька, который знал уже эту сказку, один сидел спокойно.

— Но... видели ли вы, ребята, бурю?— громко спросила Натка, оглядывая приумолкших ребят.— Вот так же, как громы, загремели и боевые орудия. Так же, как молния, засверкали огненные взрывы. Так же, как ветры, ворвались конные отряды, и так же, как тучи, пронеслись красные знамена. Это так наступала Красная Армия.

А видели ли вы проливные грозы в сухое и знойное лето? Вот так же, как ручьи, сбегая с пыльных гор, сливались в бурливые, пенистые потоки, так же при первом грохоте войны забурлили в Горном Буржуинстве восстания, и откликнулись тысячи гневных голосов и из Равнинного Королевства, и из Снежного Царства, и из Знойного Государства.

И в страхе бежал разбитый Главный Буржуин, громко проклиная эту страну с ее удивительным народом, с ее непобедимой армией и с ее неразгаданной Военной Тайной.

А Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зеленом бугре у Синей Реки. И поставили над могилой большой красный флаг.

Плывут пароходы — привет Мальчишу!
Пролетают летчики — привет Мальчишу!

Пробегут паровозы — привет Мальчишу!
А пройдут пионеры — салют Мальчишу!

Вот вам, ребята, и вся сказка.

...Рано утром, когда большая вода уже схлынула, к Сергею подбежал десятник Дягилев. Он запыхался и оттолкнул старика татарина, который тихо и бестолково жаловался Сергею на то, что его обсчитали:

— Нет, вы подумайте! Ну и народ! Головы им рвать надо... Где Шалимов? Скажите, Сергей Алексеевич, чтобы этого черта Шалимова сейчас же сюда позвали.

— Зачем черта? Зачем ругаешься? — раздался из-за кустов равнодушный голос Шалимова.— Ты дело говори, а то кричит-пищит, как петух под лисицей. Ну, на что тебе нужен Шалимов?

— Ночью замок сорвали,— плачущим голосом объяснил Дягилев.— Начисто. Вместе с пробоем. Ружье украли, двустволку. Шкатулка запертая стояла. В ней шестьдесят рублей казенных денег, документы, ведомости, расписки. Что же это такое, Сергей Алексеевич? — недоуменно разводя руками, спросил Дягилев.

И, обернувшись к кучке насторожившихся татар, он погрозил кулаком.

— Зачем кулаком махаешь? — все так же невозмутимо переспросил Шалимов.— Воры есть русские, воры есть татары. Всякие есть воры. Зачем, пустой человек, зря кулаком махать?

Шалимов сердито вздернул брови и укоризненно добавил:

— Вон татары землю копают, а вон твой русский идет, водки напился. Разве хороший человек с утра напивается?

И точно, подошел вдрызг пьяный дядёк и, неуклюже погрозив Шалимову, бессмысленно рассмеялся.

— Спать, спать иди! — ловко выпирая пьяного, прикрикнул смутившийся Дягилев.— И что за народ! Что за народ! — скороговоркой докончил он и беспомощно махнул рукой.

Сергей приказал рыть к скату метровую канаву и рубить крепежные стойки. Он обернулся, отыскивая того старика, который жаловался, что его обсчитали, но старика уже нигде не было. Тогда вместе с Дягилевым он пошел вниз, к дощатому бараку, где помещалась десятниковская конторка.

Рассерженный Дягилев ругал теперь и русских, и татар, и всех, кого попало.

— Как хотите, Сергей Алексеевич, а работать я, право, не согласен. Пусть Шалимов остается. Мотаешься, мотаешься... Всюду ругань, всем не так. А тут еще вон что!

Ни дягилевской двустволки, ни шестидесяти рублей Сергею не было жалко, но он крепко досадовал, что вместе с денежной шкатулкой пропали ведомости и документы.

Он приказал заявить в милицию, а сам, протирая сонные глаза, вышел из барака.

По пути на первый участок Сергей опять увидел все того же пьяного. Пьяный этот стоял, прислонившись к выступу, и нескладно пел про субботу и про день ненастный, когда нельзя в поле работать. Сергей хотел подойти и спросить, что за беда и почему человек напился спозаранку. Но пьяный тут же свалился под кусты и заснул.

На первом участке работа шла своим чередом. Здесь молодой вихрастый бригадир огорченно рассказывал, что сто восемьдесят метров желоба уже проложено и что было бы больше, да, опасаясь прорыва воды, всю ночь они перетаскивали материалы в гору.

Сергей пообещал прислать от Дягилева пару лошадей и десяток чернорабочих.

Выбравшись на берег под горячее солнце, Сергей почувствовал, что ему крепко хочется спать, но надо было еще повидать Альку. Из-за Альки он взял этот отпуск. Из-за Альки он согласился проследить за работами по прокладке водопровода. И все-таки с Алькой приходилось встречаться ему редко. Сама работа была пустяковая. Но все что-то не ладилось. Например, совсем недавно, перед его приездом, пропало сорок лопат. И вовсе уж бестолково вынули двести кубометров земли не оттуда, откуда было надо.

Сергей наскоро выкупался, вымыл грязные сапоги, одернул помятый френч и пошел к лагерю.

За обедом звеньевой Иоська спросил у Владика, почему тот вчера не был ни на спортивном кружке, ни на отрядной площадке.

Насторожившийся Владик открыл рот, чтобы сразу соврать, будто бы он работал в мастерской. Но тут, как назло, раздавая мороженое, подошел дежурный по столу пионер Башкатов, а при нем никак нельзя было соврать, потому что он сам вчера в мастерской был за старшего.

Чтобы замять разговор, Владик быстро повернулся и как бы нечаянно опрокинул Иоськину вазочку с мороженым. Но это вышло неловко, и всем было видно, что опрокинул Владик нарочно.

— Хулиган! — рассердился Иоська и быстро выхватил из рук Башкатова то мороженое, которое Башкатов протягивал Владику.

Все рассмеялись, а Владик рванул вазочку, и мороженое плюхнулось в салатник.

Поднялся шум, чуть не драка, а кончилось тем, что

подошел дежурный по лагерю и Владика с позором выставили из-за стола.

Обозленный Владик показал Иоське кулак и тотчас же ушел прочь.

Сразу же после обеда Натка отправилась к берегу, в штаб. Там на сегодня был назначен совет вожатых— готовились к общелагерному костру третьей смены, который был назначен на послезавтра.

Во время перерыва Алеша Николаев спросил:

— Что это, Шегалова, ребята сегодня все время гудят, спорят... Сказка, сказка... Я что-то ничего не понял. Про что ты им рассказывала?

— Сказку, Алеша, рассказывала. Хорошая сказка.

— Отчего вздумалось тебе рассказывать сказку? Ну, рассказала бы что-нибудь про настоящее. Вот, например, читала ты, опять пионер предотвратил железнодорожное крушение? Взяла бы и рассказала.

— Рассказала уже,— рассмеявшись, ответила Натка.— Ну, говорят, шел, ну, увидел, что у рельсы гайка развинтилась, ну, побежал и сказал сторожу. Это что! Так и каждый из нас обязательно сделал бы. А ты вот послушай... «Заковали Мальчиша в тяжелые цепи. Посадили Мальчиша в каменную башню. И помчались спрашивать: что же теперь Главный Буржуин прикажет с пленным Мальчишем делать?»

— Черт тебя знает, что ты городишь, Натка! — перебил ее Алеша.— Какой Главный Буржуин? Кого заковали?

— Мальчиша заковали! — настойчиво повторила Натка. И тотчас же успокоила: — А про крушение я еще раз обязательно расскажу. Сама знаю... транспорт, грузопотоки... Первый год, что ли? — И, неожиданно улыбнувшись, она повторила: — «Плывут пароходы— привет Мальчишу! Бегут паровозы — привет Мальчи-

шу!» Это тебе что! Не транспорт, что ли? А пройдут, Алеша, пионеры — салют Мальчишу! Эх ты... гайка! — рассмеявшись, закончила Натка, и, схватив Алешу за руку, она потащила его на крыльцо, мимо которого шумно волокли на площадку новый огромный плакат.

...После совещания Натка вспомнила, что еще не готовы к празднику костюмы для отрядных танцорок. На складе она выбрала охапку ярких лоскутьев, связку разноцветных лент и сверток глянцевой бумаги. Чтобы не возвращаться круговой дорогой, она прошла напрямик. Но вышло не совсем ладно. Кустарник вскоре сомкнулся так плотно, что Натке приходилось поминутно останавливаться, а бесчисленные случайные тропки петляли и разбегались совсем не туда, куда было надо.

Вдруг что-то больно царапнуло пониже колена. Натка охнула и увидела, что это колючая проволока.

— Я вас, бездельники! Я вот вас хворостиной! — раздался грозный голос.

Кусты за изгородью раздвинулись, и перед Наткой оказался распоясанный, босоногий Гейка.

Увидав нагруженную поклажей Натку, Гейка сконфузился и, насупившись, объяснил:

— Сторож в баню пошел, а ребятишки в сад лазят. Груши еще вовсе зеленые, твердые — кабан не раскусит. Все равно лезут. Вечор двоих ваших поймал. «Стыдно! — говорю.— Вас, голоштанных, и пирожными кормят и мороженым. Всякие вам повара, доктора, а вы вон что!» По-настоящему надо бы их крапивой, да вижу — скраснели. Такие негодники! Отобрал я у них зеленые груши, дал по спелому яблоку. Все одно стоят и молчат. «Ладно,— говорю им,— бегите. Эх вы... босоногая диктатура!»

Гейка улыбнулся. Он показал Натке дорогу, по-

стоял, глядя ей вслед, и, все еще продолжая чему-то улыбаться, с шумом исчез за кустами.

Натка взобралась на бугор, нырнула в орешник и, услышав голоса, раздвинула ветви. Перед ней оказалась небольшая обрывистая поляна, и здесь, не дальше чем в десяти шагах, лежали Сергей и Алька.

Конечно, надо было незаметно отойти, но, как назло, концы цветных лоскутьев запутались в колючках, и теперь Натка стояла, боясь шелохнуться, чтобы не заметили и не подумали, будто она прячется нарочно.

— Папка,— предложил Алька,— знаешь, давай споем нашу любимую песню. То ты уедешь, то ты приедешь, а мы не поем да не поем.

— Спой лучше один, Алька. Я ночью на работе сто раз кричал, ругался, и у меня горло охрипло.

— А ты бы без крику,— посоветовал Алька.— Ну давай начинай, и я тоже.

Это была хорошая песня. Это была песня о заводах, которые восстали, об отрядах, которые, шагая в битву, смыкались все крепче и крепче, и о героях-товарищах, которые томились в тюрьмах и мучились в холодных застенках.

И странно: теперь, когда на пустой полянке смешной октябренок Алька, подергивая отца за рукав и покачивая в такт головой, звонко распевал эту замечательную песню, вдруг показалось Натке, что все хорошо и что работать ей весело.

Вот-вот, поднимая ребят, ударит колокол, и с шумом, с визгом сорвется с постелей весь ее неугомонный отряд. А Владик с Толькой, вероятно, уже и так проснулись и в ожидании сигнала ерзают, сорванцы, по койкам и, конечно, мешают другим спать.

«А много нашего советского народа вырастает»,—

прислушиваясь к песне, подумала Натка. Выдергивая зацепившийся лоскут, она обломала ветку и испуганно притихла.

— Папка,— заглядывая Сергею в лицо, спросил Алька,— отчего это, когда мы поем «Заводы, вставайте» и «шеренги смыкайте», то все хорошо и хорошо. А вот как допоем до «товарищей в тюрьмах, в застенках холодных», то ты всегда лежишь и глаза жмуришь.

— Отчего же всегда? — ответил Сергей.— Солнце в глаза светит, оттого и жмурю.

— А когда луна? — помолчав немного, переспросил Алька.

— А когда луна, то от луны. Вот какой ты чудак, Алька!

— А когда ни солнце, ни звезды, ни луна? — громко и уже настойчиво повторил Алька.— Я и сам знаю почему.

Он вскочил, протянул руку, показывая куда-то под обрыв, вниз, на серые камни. Молча взглянул на отца и быстро поднял руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего удивленная Натка так и не смогла увидеть.

Натка подвинулась. Из-под ее ног с шумом покатились камешки. Алька обернулся, и теперь Натке уже не оставалось ничего, кроме как спрыгнуть навстречу.

— Это и есть она самая! — закричал Алька, глядя на запутавшуюся в цветных лентах и лоскутьях девушку.

— Наташа? — догадался Сергей.

— Я и есть самая,— подтвердила Натка.

— Ну, что Алька?

— Бегает, балуется. Такой...— Натка запнулась,— такой малыш. Не дергай, Алька, за ленты. Мы из них

к празднику Эмине костюм сделаем. Вы еще с нею не поссорились?

— Нет, не поссорились,— ответил Алька.— Это мы с Васькой Бубякиным уже подрались. Он берет, а я не даю. Он говорит: дай! А я — не дам. Он меня — раз. А я его — раз, раз тоже. Только мы уже опять два раза помирились.

И, обернувшись к отцу, Алька объяснил:

— Эмине — это маленькая девчонка такая веселая, башкирка. Сегодня плаксун Карасиков стал реветь: муу! муу! Она подпрыгнула, хохочет, скачет около него на одной ноге да по-башкирскому дразнится: тыр-быр-тыр, бур-тыр-тыр... Да быстро так, а сама все скачет, скачет. Очень хорошая башкирка. Только боится, когда ее за пятки схватишь: орет на всю палату.

Издалека загудел сигнальный колокол. Натка заторопилась:

— Алька ко мне? Или вы его с собой возьмете?

— Нет, не с собою,— ответил, поднимаясь, Сергей.— Пойду отдохну, потом к озеру, а с утра в Ялту. Ну, бегите. Значит, послезавтра увидимся.

— Обязательно послезавтра,— приказал Алька.— Вечером будет костер, музыка, а потом... Нет, лучше не скажу. Придешь, тогда сам увидишь.

Они убежали.

Сергей постоял, подошел к обрыву, куда только что молча показывал Алька. Он поглядел вниз и тоже улыбнулся, как будто бы и он что-то видел там, меж глыбами серого влажного камня.

Потом он свистнул, одернул ремень и зашагал вниз, на ходу припоминая, что надо послать на первый участок обещанных лошадей и надо разыскать того старика татарина, который жаловался, что его обсчитали.

Бригадиру Шалимову Сергей верил не очень.

На другой день, сразу же после завтрака, Тольку Шестакова отослали за краской на нижний склад. Толька подмигнул Владику, чтобы Владик подождал.

Но на складе, как нарочно, пришлось долго стоять в очереди. Все отряды спешно заканчивали предпраздничные работы. То и дело подбегали гонцы и требовали проволоки, шпагата, бумаги, краски, кумачу, фонарей, свечей, гвоздей. Все торопились, и всем было некогда.

Когда Толька наконец вернулся в отряд, оказалось, что куда-то исчез Владик.

Толька носился туда и сюда, рыскал по всем углам и до того намозолил всем глаза, что Натка засадила его приколачивать мелкими гвоздиками золотую каемку по краям пятиконечной звезды.

Едва Толька уселся, как откуда-то вынырнул Владик, который никуда далеко не уходил, а нарочно, чтобы дождаться друга, прошмыгнул вне очереди принимать ванну.

С досады и чтобы поскорее им освободиться, Владик тоже вызвался приколачивать гвоздики. Но хитрая Натка сразу смекнула, что от такой работы толку будет мало, и, всучив Владику целую кипу маленьких флажков, приказала тащить их вниз и сдать дежурному по главной лагерной площадке.

В другое время Владик обязательно заспорил бы, но сейчас это было невыгодно: ему нужно было казаться послушным.

Сердито глянув на Тольку, он спокойно вышел, а очутившись за дверью, напролом, через кустарник, через ручейки и овражки он помчался вниз, чтобы поскорей вернуться и, пользуясь предпраздничной сума-

тохой, убежать с Толькой к развалинам старых башен.

Однако, когда взмокший Владик вернулся, Тольку он не застал. Оказывается, сразу же после ухода Владика Натка выругала Тольку за то, что он криво забивает гвоздики, и турнула его прочь. А обрадованный Толька тотчас же ринулся догонять Владика, но не напролом, а мимо сада, через мостик и дальше по тропке.

«Вот еще напасть!» — подумал огорченный Владик и сгоряча дал подзатыльник подвернувшемуся черкесёнку Ингулову. Но тут на помощь Ингулову выглянул здоровенный пионер, кубанец Лыбатько, и Владику пришлось уносить ноги подальше.

На поляне, под кипарисами, злой и усталый Владик наткнулся на Альку и октябренка Карасикова, которые копошились возле толстого чурбана, пытаясь спихнуть его под откос, в болотце. Здесь Владик вспомнил, что и октябренку Карасикову надо дать щелчка: Карасиков утром наябедничал, что Владик запихал Баранкину под простыню жестяную мыльницу и платяную щетку.

Но тут оглянулся Алька и, спокойно глядя на грозное лицо Владика, попросил, чтобы он помог им сдвинуть тяжелый чурбан.

Такая смелая просьба Владику понравилась.

Через минуту чурбан с треском полетел вниз и, как бомба, плюхнулся в болотце, заставив разлететься во все стороны обалдевших лягушек.

— Ты хороший человек, Алька! — присаживаясь на траву, задумчиво проговорил Владик.

Алька улыбнулся и с любопытством посмотрел Владику в глаза.

— Ты хороший человек,— внезапно придумал Владик.— Жалко, что ты мал еще, а то я взял бы тебя

к себе в товарищи. Мы бы залезли с тобой на самую высокую гору, стали бы с винтовками и сторожили бы оттуда всю страну.

— И я бы тоже залез,— обиженно вставил Карасиков, который после того, как увидел, что щелчка не будет, осмелел и подвинулся поближе.

— Или нет,— охваченный новой фантазией и показывая Карасикову кукиш, продолжал Владик.— Я бы стоял с винтовкой, ты бы смотрел в подзорную трубу, а Толька сидел бы возле радиопередатчика. И чуть что — нажал ключ, и сразу искры, искры... тревога!.. тревога!.. Вставайте, товарищи!.. Тогда разом повсюду загудят гудки — паровозы, пароходы, сверкнут прожектора. Летчики — к самолетам. Кавалеристы — к коням. Пехотинцы — в поход. И рабочие бегут на заводы, и работницы бегут. Спокойней, товарищи! Нам не страшно!

— Я бы тоже побежал! — уныло завопил оскорбленный Карасиков.— Раз все бегут — значит, я тоже.

Этот жалобный возглас охладил Владика. Он сразу потух, остыл и продолжал уже негромко и насмешливо:

— А потом после боя вдруг вспомнил бы: а где это, братцы, наш герой Карасиков? Ни среди живых его нет, ни среди мертвых, ни среди раненых. А кто это ворочается в спальне под кроватью? Ах, это вы, гражданин Карасиков! Ах, вы умеете только языком болтать да ябедничать, как я Баранкину под простыню мыльницу да щетку запихал! Да раз ему за такие дела щелчка! Два щелчка! То-то, карасятина!

Не успел отщелканный Карасиков пикнуть, как озорной Владик уже исчез.

Карасиков хныкнул и вопросительно посмотрел на Альку.

— Ничего! — успокоил Алька.— Он тебе только два раза. А про все другое — это он нарочно. Там Красная Армия и без нас сторожит. Там не один часовой, а тысячи часовых, и все стоят и не шелохнутся.

— И я бы тоже не шелохнулся,— не уступал Карасиков.

— Нет, ты бы шелохнулся!—рассердился Алька.— Почему же вчера на утренней линейке все стоят смирно, а ты ворочался, ворочался... даже Натка заругалась?

— И вовсе не ворочался. Это оттого, что у меня шнурок оборвался и штаны вниз сползали,— обидчиво возразил Карасиков.

— А разве же у часовых сползают! — снисходительно усмехнулся Алька.— Эх ты, хвастунишка!

Из-за кустов выскочил Иоська.

— Где вы запропастились? — размахивая руками, затараторил он.— Бегите скорее! В море катер! Сейчас встречать... Гости едут. Матросы!.. Ворошиловцы!..

Уже выбивали дробь барабанщики, трубили сигналисты, кричали звеньевые, и гулко в море заревела сирена причаливающего катера.

Это приплыли пионеры севастопольского военизированного лагеря — ворошиловцы.

В длинных черных брюках, в матросках с голубыми полосатыми воротниками, на подбор рослые, здоровые, они шагали быстро, уверенно, и видно было, что они крепко дорожат и гордятся своей выправкой и дисциплиной.

Среди них Владик увидел знакомого мальчишку и нетерпеливо крикнул ему:

— Мишка, здорóво!

Но тот только повел глазами и чуть-чуть улыбнулся, как бы давая понять, что хотя он и сам рад, но все это потом, а сейчас он пионер, матрос, ворошиловец, в строю.

После ужина ребята получили новые трусы, безрукавки и галстуки. Везде было шумно, бестолково и весело.

Барабанщики подтягивали барабаны, горнисты отчаянно гудели на блестящих, как золото, трубах. На террасе взволнованная башкирка Эмине уже десятый раз легко взлетала по чужим плечам чуть не к потолку и, раскинув в стороны шелковые флажки, неумело, но задорно кричала:

— Привет старай гвардий от юнай смена!

На крыльце, рассевшись, как воробьи, громко и нестройно пели октябрята. Тут же рядом вспотевший Баранкин заколачивал последние гвозди в башенку фанерного танка, а прыткий Иоська вертелся около него, подпрыгивал, похваливал, поругивал и поторапливал, потому что танк надо было еще успеть выкрасить.

— Так, значит, завтра? — уговаривался Толька с Владиком.

— Сказано, завтра.

— И чтобы не получилось, как сегодня. Я туда — он сюда. Он сюда, а я туда. Как только приведут, скомандуют «разойдись», я сразу нырк, ты тоже. И на верхней тропке, возле беседки, встретимся.

— А если там кто-нибудь уже есть?

— Тогда шарах в кусты. Сиди да посвистывай.

— Я-то свистну! — усмехнулся Владик, и, щелкнув языком, он рассыпался такой оглушительной трелью, что Натка подозрительно посмотрела на этих друзей и погрозила пальцем.

...Наступил вечер праздника.

При первом ударе колокола затихли песни, оборвались споры, прекратились игры, и все поспешней, чем обыкновенно, бросились к своим местам в строю.

— Ты не видала папу? — уже в третий раз спрашивал огорченный Алька у Натки.

— Нет, Алька, еще не видала. А ну, ребята, одернуть безрукавки, поправить галстуки. Как у тебя шнурок, Карасиков? Опять трусы сползать будут?

Пока ребята одергивали и оправляли друг друга, она успокоила Альку:

— Ты не печалься. Раз он сказал, что придет,— значит, придет. Наверно, на работе немного задержался.

На другом конце линейки разгневанный звеньевой Иоська ахал и прыгал возле насупившегося Баранкина.

— Сам танк заставлял красить, а теперь сам ругается,— хмуро оправдывался Баранкин.

— Так разве же я тебя галстуком заставлял красить? — возмущался Иоська.— И тут пятно, и там пятно. Эх, Баранкин, Баранкин! Ты бы хоть раньше сказал, а теперь и кладовая заперта и кастелянша ушла. Ну, что мне теперь делать, Баранкин?

— Раньше я пошел галстук горячей водой с мылом мыть, а сейчас, когда высохло, гляжу — опять на сухом видно. Я макнул кисть, вдруг кто-то меня толк под руку. Ну, вот и брызнуло. Разве же, когда человек работает, тогда толкаются? Я, когда человек работает, лучше его за сто шагов обойду, а толкать никак не буду.

— Значит, у беседки,— еще раз шепотом напомнил Толька.— Спички взял?

— Взял... Помалкивай,— тихо ответил Владик и

неосторожно похлопал по заправленной в трусы безрукавке.

Неполный спичечный коробок брякнул, и звеньевой Иоська разом обернулся:

— Ты зачем спички взял? Нехорошо! Брось, Владик.

— А тебе что? — испуганно прошипел Владик.— Какие спички?

— Звено, Владик, ударное, а у одного галстук в краске, у другого спички спрятаны... Брось лучше. Стыдно! Да чего ты грозишься? А то не посмотрю, что товарищ, и скажу вожатой.

— Ну, говори... Провокатор!

Иоська отшатнулся. Доброе веснушчатое лицо перекосилось, губы дернулись, кулаки сжались. Но в это же самое мгновение снизу, от главного штаба, взвилась сигнальная ракета — «всем сбор». И от фланга к флангу раздалась громкая команда: «Внимание!»

Если бы это был не Иоська, а кто-либо другой, то, вероятно, несмотря на сигнал, несмотря на команду, позорная драка в строю была бы неминуема.

Но Иоська сразу опомнился, тяжело задышал и, медленно разжимая кулаки, стал в строй.

Все это случилось так быстро, что почти никто из ребят ничего не заметил.

Сразу же рассчитались, повернули направо и с дружной песней о юном барабанщике, слава о котором не умрет никогда, двинулись вниз.

Внизу, невдалеке от моря, с трех сторон окаймленная крутыми цветущими холмами, распласталась широкая лагерная площадка.

На скамьях, на табуретках, на скалистых уступах, на возвышенных зеленых лужайках расположились ребята, нетерпеливо ожидая, когда в конце праздника

вспыхнет невиданно огромный костер, искусно выложенный в форме высокой пятиконечной звезды.

Условившись о месте сбора, ребята Наткиного отряда разбежались, каждый куда хотел.

Уже загремела музыка. Подплывала на моторке ялтинская делегация. Подошли летчики из военного санатория, и, неторопливо покачиваясь на седлах, подъехали старики татары из соседнего колхоза.

В толпе Натку окликнул знакомый ей комсомолец Картузиков.

— Ну что?.. Здóрово? — не останавливаясь, спросил он.— Приходи завтра на волейбол.— И уже издалека он крикнул: — Забыл... Там тебе письмо... спешное. На столе в дежурке лежит.

«Что за спешное? — с неудовольствием подумала Натка.— И от кого бы? От Верки только что было. Мать спешного посылать не станет. А больше будто бы и неоткуда. Успею!» — подумала она и пошла туда, где танцующий хоровод ребят окружил смущенных летчиков.

Раскрасневшиеся летчики неумело маневрировали и так и этак, пытаясь вырваться из заколдованного круга. Стоило им сделать шаг, и веселый хоровод двигался вместе с ними. И так до тех пор, пока они не оказались припертыми к стенке беседки. Тут их расхватали, растащили и рассадили всех порознь, чтобы никому из ребят не было обидно.

Натка постояла, постояла и снова вспомнила о письме.

«А что, ведь успею еще и сейчас,— подумала она.— Добежать долго ли?»

Она одернула майку и, не отвечая ни на чьи вопросы, помчалась к дежурке.

И все-таки письмо оказалось от матери. Письмо

было серьезное и бестолковое. Мать писала, что отца куда-то переводят надолго и отец обещает ехать всей семьей. Там будет квартира в три комнаты, огород и сарай. Езды туда целая неделя. И что отец ходит веселый, а пятилетний братишка Ванька еще веселей и уже разбил Наткину дареную чернильницу. И что она, мать, хотя не скучная, но и веселиться ей не с чего. Здесь жили, жили, а там еще кто знает? Сторона там чужая, и народ, говорят, не русский.

Два раза Натка прочла это письмо, но так и не поняла: кто переводит? Куда переводят? Какая сторона и какой народ?

Поняла она только одно: что мать просит ее приехать пораньше и в Москве, у дяди, никак не задерживаться.

Натка задумалась. Вдруг волны быстрой, веселой музыки, потом многоголосая знакомая песня рванулись через окно в пустую дежурку.

Натка сунула письмо за майку, выбежала и увидела с горки, что лагерный праздник уже гремит и сверкает сотнями огней.

Это проходили парадом физкультурники.

— Ты что пропала? Я тебя искал,— сердито спросил откуда-то выползший Алька.— Идем скорее, а то, пока я тебя искал, какой-то мальчишка сел на мою табуретку, и мне теперь нигде и ничего не видно.

Натка взяла его за руку и пробралась к тому краю, где стоял десяток свободных стульев.

— Туда нельзя,— остановил ее озабоченный Алеша Николаев.— Это места для шефов. И чего только опаздывают!

— Ну, что шефы! Придут — мы тогда уступим. Он же маленький, и ему ничего не видно, Алеша.

— Пусти одного, потом другой, потом третий...—

ворчливо начал было Алеша, но не кончил, потому что на площадку с приветственным словом вышел летчик.

Не успел он дойти до середины, как все бесчисленные огни разом погасли, в темноте что-то зашипело, треснуло. Через две-три секунды высоко над площадкой вспыхнул огонек, и, поддерживаемая парашютом, повисла в воздухе маленькая серебристая модель аэроплана.

Тогда с земли, с лужаек, из-за кустов, из-за скалистых камней вырвался такой победно-торжествующий крик, что летчик недоуменно покачал головой и почти целую минуту молчал, не зная, как ему быть и с чего начать.

Но потом он выпрямился и слово за словом нашел такие простые, горячие слова, что все примолкли, притихли, а заслушавшийся Иоська, который и сам давно уже мечтал быть летчиком, нечаянно оступился и едва не полетел, но только не к далекому синему небу, а в глубокую канаву с колючками.

Потом выскочили девчонки — танцорки и физкультурницы, и тут же сразу случилась заминка. Сначала пробежал легкий говорок, потом громче, громче и, наконец, зашумело, загудело:

— Идут... Идут... Идут...

Из глубины аллеи показалось человек десять уже пожилых людей. Это и была делегация шефов лагеря из дома отдыха ЦИК в Ай-Су.

Натка поспешно встала и взяла Альку на руки.

Когда стихли приветствия и шефы сели на места, а праздник пошел своим чередом, Натка увидела, что крайний стул, как раз тот самый, с которого она встала, остался свободным. Она потихоньку подвинула стул, села и посадила Альку на колени.

В то время как девчата-физкультурницы строили

замысловатую пирамиду, Натка искоса разглядывала прибывших шефов. И вдруг на соседнем стуле она увидела очень знакомое лицо.

«Кто это? — растерялась Натка.— Лицо смуглое, чернобородый. Седина, очки... Да кто же это?»

Как раз в эту минуту все дружно захлопали, засмеялись.

Засмеялся и чернобородый: карр! карр! И тогда обрадованная Натка сразу поняла, что это, уж конечно, Гитаевич, тот самый, который так часто бывал у Шегалова и с которым так подружилась Натка, когда два года тому назад она целый месяц гостила у дяди в Москве.

Натка придвинула стул, взяла Гитаевича за руку и заглянула ему в лицо.

Он узнал ее сразу и засмеялся-закаркал так громко, что удивленный Алька соскользнул с Наткиных колен и с откровенным любопытством уставился на этого странного, похожего на цыгана человека.

— Кто это у тебя? — шутливо спросил Гитаевич.— Для сына велик, для братишки мал. Племянник, что ли?

— Это Алька Ганин, сын одного инженера. Он к моему отряду прикомандирован,— пошутила Натка.

Гитаевич угловато двинулся.

Он протер очки и, как показалось Натке, что-то уж очень пристально посмотрел на стоявшего перед ним маленького человечка.

— Я побегу... мне пора. Я сюда вернусь,— заторопился Алька и с обидою добавил: — Эх, папка, папка, так и не пришел.

— Сережи Ганина? — глядя вслед убегающему Альке, переспросил Гитаевич.

— Да, Ганина. А вы его разве знаете?

— Я-то его знаю,— ответил Гитаевич,— очень давно. Еще по армии знаю.

— Значит, вы их всех хорошо знаете? — помолчав немного, спросила Натка.— А где, Гитаевич, у Альки мать? Она умерла?

Гром барабанов и гул музыки заглушили ответ. Это проходили лагерные военизированные отряды пионеров. Сначала с лучшими стрелками впереди прошла пехота. Шаг в шаг, точно не касаясь земли, прошли матросы-ворошиловцы. За ними — девочки-санитарки. Потом как-то хитроумно проползли фанерные танки. Затем по опустевшей площадке забегали какие-то прыткие ловкачи. Что-то по земле размотали, растянули и скрылись.

Музыканты ударили «Марш Буденного». Двойной ряд пионеров расступился, и в строю, по четыре, на колесных и игрушечных конях выехал «Первый сводный октябрятский эскадрон имени мировой революции».

Там был и Алька.

Поддерживая равнение, эскадрон проходил быстрым шагом и под взрывы дружного хохота, под музыку и песню буденовского марша, подхваченную и пионерами, и гостями, и шефами, скрылся на противоположном конце площадки.

— Жулики! — обиженно объяснил кому-то сидевший неподалеку Карасиков.— Разве же они сами едут? Их с другого конца на бечевках тянут. Я уже все узнал. Это если бы и меня потянули, я бы тоже поехал.

Теперь почти вся площадка заполнилась ребятами. Затевались массовые игры, и выступали отрядные кружки.

Ночь была душная. Гитаевич вытер лоб и обернулся к Натке, отвечая на ее вопросы:

— У него мать не умерла. Его мать была румынской комсомолкой, потом коммунисткой, и была убита...

— Марица Маргулис! — почти вскрикнула пораженная Натка.

Гитаевич кивнул головой и сразу закашлял, заулыбался, потому что со всех ног к ним бежал с площадки всадник «Первого октябрятского эскадрона имени мировой революции» — счастливый и смеющийся Алька.

В это время Натке сообщили, что Катюша Вострецова разбила себе нос и ревет во весь голос, а у Федьки Кукушкина схватило живот и, вероятно, этот обжора Федька объелся под шумок незрелым виноградом.

Натка оставила Альку с Гитаевичем и пошла в дежурку.

Катюша уже не ревела, а только всхлипывала, придерживая мокрый платок у переносицы, а перепуганный Федька громко сознался, что съел три яблока, две груши, а сколько винограду, не знает, потому что было темно.

— Танком ее по носу задело,— сердито объяснял Натке звеньевой Василюк.— Я ей говорю: не суйся. Так нет, растяпа, не послушалась. Иоськина башня повернулась — и бац ей орудием прямо по носу!

Растяпу Катюшу и обжору Федьку Натка приказала отправить домой, а сама по-над берегом пошла к Альке.

Вскоре она остановилась. Перед ней расстилалось невидимое отсюда море, и только слышно было, как равномерно плещутся волны.

На небе ни луны, ни звезд не было, и только где-то, но очень далеко и слабо, мерцал быстрый летящий огонек — должно быть, пограничного костра. И вдруг Натка подумала, что совсем ведь недалеко, всего только на другом берегу моря, лежит эта тяжелая страна Румыния, где погибла Марица...

Кто-то тронул ее за руку. Она нехотя обернулась и увидела Сергея.

— Алька где? Я спрашивал, и мне сказали, что он с вами, Наташа.

— Он со мною,— обрадовалась Натка.— Сейчас он сидит с Гитаевичем. Пойдемте... Он вас ждал, ждал...

— Опоздал я, Наташа,— виновато ответил Сергей.— Там у меня всякая чертовщина творится.

Они не дошли до Гитаевича всего несколько шагов, как опять разом погас свет и все смолкло.

— Стойте! — шепнула Натка.— Сейчас зажгут костер.

В темной тишине резко зазвучал горн, и сейчас же по краям площадки вспыхнули пять дымных факельных огней. Горн зазвучал еще раз, и огни стремительно, точно по воздуху, рванулись к центру площадки.

Долго огонь бежал и метался внутри подожженного костра. То он вырывался меж сучьев, то опять забирался вглубь, то шарахался по земле. И вдруг, как бы устав шутить и баловаться, огромный вихрь пламени взметнулся и загудел над костром.

Тяжелые ветви скорчились, затрещали. Тысячи горящих искр помчались в небо. Стало так светло и жарко, что даже те, кто сидел далеко, щурили глаза и вытирали лица, а сидевшие поближе повскакали и с визгом кинулись прочь.

Когда Натка обернулась, то увидела, что Сергей уже держит Альку на руках, а раскрасневшийся, взволнованный Алька быстро рассказывает отцу о делах минувшего дня.

Было уже поздно, когда кое-как, вразброд, вернулся Наткин отряд к дому.

Не успела еще Натка взойти на крыльцо, а к ней уже подбежала встревоженная дежурная сестра и ти-

хо рассказала, что всего десять минут назад Владик Дашевский привел исцарапанного, разбитого Тольку Шестакова и у Тольки, кажется, вывихнута рука.

Натка кинулась в дежурку. Там, сгорбившись на клеенчатом диване, с лицом, заляпанным йодом, с примочкой под глазом и с рукою на перевязи, сидел Толька. Видно было, что ему очень больно, но что из какого-то упрямства он сознаваться в этом не хочет.

— Как же это? Где это вы? — подсаживаясь рядом, участливо спросила Натка.

Толька молчал. Вмешалась дежурная:

— Говорит, что когда заканчивался костер и стали ребята разбегаться, то, чтобы обогнать всех, бросились они с Владиком прямой тропинкой... А там ручьи, кусты, камни, овраги. Сорвался где-то на берегу и брякнулся.

Разыскали сонного Гейку. Гейка засуетился и быстро запряг лошадь.

Тольку повезли в свой же лагерный лазарет, а Натка, несмотря на полночь, собралась с докладом к начальнику: строго-настрого было приказано обо всех несчастных случаях доносить ему во всякое время дня и ночи.

Перед тем как идти, Натка завернула в палату. Она вошла бесшумно, неожиданно и, несмотря на полутьму, успела заметить, как Владик быстро повернулся и притих. Значит, он еще не спал.

— Владик,— спросила Натка,— расскажи, пожалуйста, где... как это все случилось?

Владик не отвечал.

— Дашевский,— строго повторила Натка,— ты не ври. Я же видела, что ты не спишь. Говори, или я сегодня же расскажу про тебя начальнику лагеря.

С начальником Владик разговаривать не хотел, и, сердито приподнявшись, сухо и коротко он слово в

слово повторил то, что уже говорил дежурной сестре Толька.

— Черт вас ночью по оврагам носит,— не сдержавшись, выругалась Натка и в потемках устало побрела к начальнику.

А Сергей опоздал на праздник вот из-за чего.

Вернувшись из Ялты, после обеда Сергей пошел по участкам. На первом дела подвигались быстро и толково, поэтому, не задерживаясь, Сергей прошел на второй.

Там еще не закончили рыть запасной водослив, а крепить совсем еще не начинали. Он спросил: «Где Дягилев?» Ему ответили, что Дягилев на третьем. Тогда и Сергей пошел к плотине, на третий.

Поднимаясь к озеру, еще издалека Сергей увидел впереди на тропке того самого старика татарина, который и был ему нужен. В это время верхом на тощей коняге Сергея догнал десятник Шалимов и, соскочив с седла, пошел рядом.

— Плохо дело, начальник! — вздохнул Шалимов и вытер концом башлыка пыльное морщинистое лицо.— Люди работают плохо.

— Сам вижу, что плохо. Водослив еще не кончили, крепить не начинали. Хорошего мало!

— Грунт тяжелый,— еще глубже вздохнул Шалимов,— камень, щебенка. Человек работает, работает, ничего не заработает. Крепко жалуются. Вчера на работу трое не вышло. Сегодня опять некоторые говорят: если не будет прибавки, то никто не выйдет. Ну, что мне, начальник, делать? — И Шалимов огорченно развел руками.

— Почему это только тебе, а ни мне, ни Дягилеву никто не жалуется? Чудно́ что-то, Шалимов.

— Ты человек новый, к тебе еще не привыкли. А Дягилеву говорили уже. Да что с него толку? Чурбан человек. А с меня все спрашивают: ты старший, ты и говори.

— Ладно,— решил Сергей.— К вечеру, сразу после работ, собери людей на участке. Я сам приду, тогда и потолкуем. А теперь поезжай назад. Да посматривай сам получше,— быстро и наугад соврал Сергей,— а то сегодня двое жаловались мне, что им работу не так замерили.

— Где, начальник? — забеспокоился Шалимов.— На водосливе или у насыпи?

— Не спросил. Некогда было. Ты там старший — тебе на месте видней. До свиданья, Шалимов. Значит, сразу после работы.

«Что-то неладно»,— подумал Сергей и увидел, что старика татарина на тропе уже не было. Сергей прибавил шагу, дошел до поворота, но и за поворотом старика не было тоже.

Вскоре Сергей очутился на берегу небольшого спокойного озера.

Слева, у плотины, стучали топоры. Густо пахло горячей смолой. Шестеро пильщиков, дружно вскрикивая, заваливали на козлы тяжелое, еще сырое бревно.

— Дягилев где? — спросил Сергей у встретившегося парня.

— А вон он! — И парень показал топорищем куда-то на горку.

Сергей посмотрел, но глаза ему слепило солнцем, и он никого не видел.

— Да вон он! — повторил парень.— Видишь, у куста стоит и с братом разговаривает.

— С каким братом?

— Ну, с каким? Со своим... с родным...

«Вон оно что! — подумал Сергей, увидав возле Дягилева того самого дядю, который на днях так не ко времени напился.— То-то Дягилев тогда растерялся».

Увидав Сергея, дягилевский брат неловко поздоровался и пошел прочь.

— Так смотрите же! — строго крикнул ему вдогонку Дягилев.— Чтобы к вечеру все шестьдесят плах были готовы! Плотник это наш,— объяснил он Сергею.— Он у них за старшего. Работник хороший! — И, отворачиваясь от Сергея, он нехотя добавил: — Конечно... бывает, что и выпивает.

Они пошли по стройке.

— Говорили что-нибудь из шалимовской бригады насчет расценок? — спросил Сергей.

— Да так, болтали. Разве их всех переслушаешь?

— На что жаловались?

— Известно, на что: грунт плохой, нормы велики, расценки малы. Что же им еще говорить?

— А на третьем участке, на первом, там, где русские, почему там не жалуются?

Дягилев промолчал.

— Чудно дело,— удивился Сергей.— Грунт одинаковый, нормы везде те же, расценки те же. Русские не жалуются, а татары жалуются. И не пойму я, с чего бы это такое, Дягилев?

— Значит, такой уж у них характер вредный,— не очень уверенно предположил Дягилев и тут же вспомнил: — На втором пролете, Сергей Алексеевич, опорный столб треснул, и я сказал, чтобы новым заменили. Вон, поглядите, плотники рубят.

Уже совсем свечерело, когда Сергей спускался на второй участок. Он торопился, потому что сразу же после собрания должен был, как обещал Альке, прий-

ти на праздник. И вот на пустынной тропке, опять на том же самом месте, Сергей увидел все того же старика татарина.

«Что такое?» — удивился Сергей и прямо направился к поджидавшему.

Старик поздоровался и тихо пошел рядом.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Сергей.— И куда ты все прячешься? Рассказывай, что у тебя... Обсчитали?.. Обманули?.. Обидели?..

— Обманули,— равнодушно согласился старик,— и обсчитали — верно. И обидели... верно!

— Ты и сейчас работаешь?

— Нет,— так же равнодушно, точно и не о нем шла речь, продолжал старик.— В тот раз Шалимов заметил, что я тебе жаловался. На другой день уволил. Старый, говорит, плохо работаешь. А раньше, когда молчал, то хорошо работал. И все, кто молчит, тот хорош. Вчера троих опять отослал — плохо работают. А тебе, может быть, сказал: сами ушли. Расценки низкие. Конечно, низкие,— дергая Сергея за рукав, продолжал старик.—Я двадцать кубометров взял, а получил деньги за шестнадцать. А разве я один? Таких много. Где четыре кубометра? Конечно, выходит низкая. Я ему говорю, а он сердится: «Ты мне голову не путай, я тебя грамотней». Я пошел к старшему, к Дягилеву, а он говорит: «Я вашего дела не знаю. Я даю Шалимову бумагу — ведомость — и деньги. Деньги он берет, а бумагу с вашими расписками несет мне обратно. Если все верно, то и я говорю — верно. Вы с ним считайтесь, а я и языка вашего не понимаю, кто свою мне фамилию распишет, кто чужую... Аллах вас разберет». Конечно, аллах,— с насмешкой повторил старик и совсем уже неожиданно закончил: — До свидания, начальник, спасибо!

— Погоди! — окликнул Сергей. — Постой, куда же ты? Пойдем со мной.

Но старик, сгорбившись и не оборачиваясь, быстро-быстренько шмыгнул в кусты.

Сергей спустился на второй участок и попросил, чтобы ему нашли Шалимова. Он ждал долго. Наконец посланный вернулся и сказал, что Шалимов зашиб себе ногу и уехал домой.

Он пошел к сараям и увидел, что там собралось всего человек восемь. Он спросил, почему так мало. Сначала ему не отвечали, но потом объяснили, что сегодня на деревне праздник. Он заинтересовался, какой же это праздник, и тогда после некоторого молчания ему объяснили, что у шалимовского сына третьего дня родился ребенок. Сколько ни вызывал Сергей на разговор собравшихся, казалось, что они так и не поняли, чего он хочет.

Сергей отпустил людей и пошел к лагерю.

И тогда он решил, пока дело разберется, Шалимова сейчас же выгнать, попросить в райкоме татарского докладчика. Вспомнив о том, что вместе со шкатулкой пропали все ведомости, документы и расписки, Сергей нахмурился.

Уже совсем стемнело. Влево от тропки расплывчато обозначались очертания башенных развалин. Очень издалека, снизу, вместе с порывами жаркого ветра доносилась музыка. «Опаздываю,— понял Сергей.— Алька рассердится».

За кустами блеснул огонь. Гулкий выстрел грянул так близко, что дрогнул воздух, и где-то над головой Сергея с треском ударил в каменную скалу дробовой заряд.

— Кто? — падая на камни и выхватывая браунинг, крикнул Сергей.

Ему не отвечали, и только хруст кустарника показал, что кто-то поспешно убегал прочь.

Сергей приподнялся и дважды выстрелил в воздух.

Он прислушался, и ему показалось, что уже далеко кто-то вскрикнул.

Тогда Сергей встал. Не выпуская из рук браунинга, он пошел дальше и шел так до тех пор, пока с перевала не открылась перед ним широкая, ровная дорога.

Музыка внизу играла громче, громче, а лагерная площадка сверкала отсюда всеми своими огнями.

Сергей защелкнул предохранитель, спрятал браунинг и еще быстрее зашагал к Альке.

Наутро после костра ребят разбудили часом позже. Еще задолго до линейки ребята уже разведали про то, что с Толькой Шестаковым случилось несчастье. Но что именно случилось и как, этого никто толком не знал, и поэтому к Натке подбегали с расспросами один за другим без перерыва.

Спрашивали: верно ли, что Толька сломал себе ногу? Верно ли, что Тольке во время вчерашнего фейерверка стукнуло осколком по башке? Верно ли, что доктор сказал, что Толька теперь будет и слепой, и глухой, и вроде как бы совсем дурак? Или только слепой? Или только глухой? Или не глухой и не слепой, а просто полоумный?

Сначала Натка отвечала, но потом, когда увидела, что все равно кругом галдят, спорят и несут какую-то чушь, она стала сердиться, и, опасаясь, как бы вздорные слухи во время общелагерного завтрака не перекинулись в другие отряды, она вызвала угрюмого Владика и попросила его, чтобы он сейчас же, на утренней линейке, вышел и рассказал отряду, как было дело.

Но Владик отказался наотрез. Она просила, уговаривала, приказывала, но все было бесполезно.

Раздраженная Натка посулила ему это припомнить и велела подать сигнал на пять минут раньше, чем обычно.

Собирались долго, строились шумно, бестолково, равнялись плохо. Против обыкновения, Владик стоял молча, никого не задирая и не отвечая ни на чьи вопросы. Молча и внимательней, чем обыкновенно, наблюдал за Владиком Иоська. Очевидно, вчерашнее не забыл, что-то угадывал и к чему-то готовился.

Со слов Владика, Натка коротко рассказала ребятам, как было дело с Толькой. Пристыдила за нелепые выдумки и предупредила, что в следующие разы за самовольное бегство из отряда будет строго взыскано и что на случае с Толькой Шестаковым ребята теперь и сами могут убедиться, к чему такое самовольничанье приводит.

— Неправда! — прозвучал по всей линейке негодующий голос.— Все это враки и неправда!

Натка нахмурилась, отыскивая того, кто хулиганит, и, к большому изумлению своему, увидела, что это выкрикнул красный и взволнованный Иоська.

Ребята зашевелились и зашептались.

— Тишина! — громко окрикнула Натка.— Почему говоришь, что все неправда?

— Все неправда,— убежденно повторил Иоська.— Когда вчера строились, Владик Дашевский зачем-то спрятал спички. Я пристыдил его, а он назвал меня провокатором. На костре ни его, ни Тольки не было, а бегали они еще куда-то. А куда, не знаю. И там, а не по дороге с костра с ними что-то случилось. Я-то не провокатор, а Дашевский врун и обманывает весь отряд.

Все были уверены, что после таких слов Владик набросится на Иоську или со злобой начнет оправдываться. Но побледневший Владик, презрительно скривив губы, стоял молча.

— Дашевский,— в упор спросила Натка,— это правда, что вас вчера на костре не было?

Не пошевельнувшись, не поворачивая даже к ней головы, Владик молчал.

— Дашевский,— сердито сказала тогда Натка,— сегодня же на вечернем докладе обо всем этом будет сказано начальнику лагеря, а сейчас выйди из строя и завтракать пойдешь отдельно.

Ни слова не говоря, Владик вышел и завернул в палату.

Через минуту отряд с песней шел вниз к завтраку. Завтракать Владик не пошел совсем.

...Уже после обеда, после часа отдыха, когда ребята занимались каждый чем хотел, на пустом холмике, под тенью спаленной солнцем акации, сидел невеселый Владик. Все вышло как-то не так... нелепо и бестолково.

В сущности, Владику очень хотелось, чтобы ничего не было: ни вчерашней ссоры с Иоськой, ни вчерашнего случая с Толькой, ни утренней ссоры с Наткой, ни позорной утренней линейки. Но так как уже ничего поправить было нельзя, то он решил, что пусть будет, как будет, а он ни в чем не сознается, ничего не скажет. И хоть вызывай его сто начальников, он будет стоять молча, и пусть думают, как хотят.

По ту сторону забора весело играли в мяч. Вдруг мяч взметнулся и, ударившись о столб, отлетел рикошетом и покатился прямо к ногам Владика.

Владик посмотрел на мяч и не пошевельнулся.

Он не пошевельнулся и не крикнул даже тогда, ко-

гда за забором поднялась суматоха: все бегали, разыскивая потерянный мячик, и громче других раздавался недоумевающий голос Иоськи: «Да он же вот в эту сторону полетел... Я же видел, что в эту!»

«Мне-то что?» — даже без злорадства подумал Владик и нехотя повернулся, заслышав чьи-то шаги.

Подошел и сел незнакомый парнишка. Он был старше и крепче Владика. Лицо его было какое-то серое, точно вымазанное серым мылом, а рот приоткрыт, как будто бы и в такую жару у него был насморк.

Он наскреб табаку, поднял с земли кусок бумаги и, хитро подмигнув Владику, свернул и закурил.

Из-за угла выскочил Иоська. Наткнувшись на Владика, он было остановился, но, заметив мяч, подошел, поднял и укоризненно сказал:

— Что же! Если ты на меня злишься, то тебе и все виноваты? Ребята ищут, ищут, а ты не можешь мяч через забор перекинуть? Какой же ты товарищ?

Иоська убежал.

— Видал? — поворачиваясь к парню, презрительно сказал оскорбленный Владик.—Они будут мяч кидать, а я им подкидывай. Нашли дурака-подавальщика.

— Известно,— сплевывая на траву, охотно согласился парень.— Им только этого и надо. Ишь ты какой рябой выискался!

В сущности, озлобленный Владик и сам знал, что говорит он сейчас ерунду и ему гораздо легче было бы, если бы этот парень заспорил с ним и не согласился. Но парень согласился, и поэтому раздражение Владика еще более усилилось, и он продолжал совсем уж глупо и фальшиво:

— Он думает, что раз он звеньевой, то я ему и штаны поддерживай. Нет, брат, врешь, нынче лакеев нету.

— Конечно,— все так же охотно поддакнул па-

рень.— Это такой народ... Ты им сунь палец, а они и всю руку норовят слопать. Такая уж ихняя порода.

— Какая порода? — удивился и не понял Владик.

— Как какая? Мальчишка-то прибегал — жид? Значит, и порода такая!

Владик растерялся, как будто бы кто-то со всего размаха хватил его по лицу крапивой.

«Вот оно что! Вот кто за тебя! — пронеслось в его голове.— Иоська все-таки свой... пионер... товарищ. А теперь вон что!»

Сам не помня как, Владик вскочил и что было силы ударил парня по голове. Парень оторопело покачнулся. Но он был крупнее и сильнее. Он с ругательствами кинулся на Владика. Но тот, не обращая внимания на удары, с таким бешенством бросался вперед, что парень вдруг струсил и, кое-как подхватив фуражку, оставив на бугре табак и спички, с воем кинулся прочь.

Когда Владик опомнился, то рядом уж никого не было. За стеною все так же задорно и весело играли в мяч. Очевидно, там ничего не слыхали. Владик осмотрелся. По серой безрукавке расплывались ярко-красные пятна: из носа капала кровь. Он хотел спрятаться в кусты, как вдруг увидел Альку.

Запыхавшийся Алька стоял всего в пяти-шести шагах и внимательно, с сожалением смотрел на Владика.

— Это тебя толстый избил? — тихо спросил Алька.— А отчего он сам ревел? Ты ему дал тоже?

— Алька,— пробормотал испуганный Владик,— иди... ты не уходи... мы сейчас вместе.

Они ушли в глубь кустов. Там Владик сел и закинул голову. Кровь утихла, но ярко-красные пятна на безрукавке и ссадина пониже виска остались.

Если бы только пятна крови, можно было бы сослаться на то, что напекло солнцем голову. Если бы

только ссадина, можно было бы сказать, что оцарапался о колючки. Но, когда всё вместе, кто поверит? Кто же поверит после вчерашнего и после сегодняшнего? И можно ли объяснить, оправдаться, как и почему случилась драка? Нет, объяснить нельзя никак...

— Алька,— быстро заговорил Владик,— ты не уходи. Давай с тобой скоренько сбегаем к морю. Я за утесом место знаю. Там никогда никого нет... Я выполощу рубашку. Пока назад добежим, она высохнет — никто и не заметит.

Боковой дорожкой они спустились к морю. Алька уселся за глыбами и начал сооружать из камешков башню, а Владик снял безрукавку и пошел к воде. Но так как ночью был шторм, и к берегу натащило всякой дряни, то Владик зашел в воду подальше. Здесь вода была чистая, и Владик начал поспешно прополаскивать безрукавку.

«Ничего,— думал он,— выстираю, высохнет, и никто не заметит. Ну, вызовут к начальнику или на совет лагеря. Ну конечно, выговор. Ладно. Стерплю, обойдется. А потом выздоровеет Толька, и тогда можно начать по-другому, по-хорошему...»

«Ах, собака! — злорадно вспомнил он серомордого парня.— Что, получил? Тоже нашел себе товарища!»

Он окунулся до шеи, обмыл лицо и ссадину.

И вдруг ему почудилось, что кто-то гневно окликнул его по имени. Он вздрогнул, выпрямился и увидел, что на площадке сверху скалы стоит Натка и грозит ему пальцем.

Так она постояла немного, махнула рукой и исчезла.

И в ту же минуту Владик понял, что теперь надежды на спасение нет, что погиб он окончательно, бесповоротно и ничто в мире не может спасти от того, чтобы

его завтра же не выставили из отряда и не отправили домой.

Было немало своих законов у этого огромного лагеря. Как и всюду, нередко законы эти обходили и нарушали. Как и всюду, виновных ловили, уличали, стыдили и наказывали. Но чаще всего прощали.

Слишком здесь много было сверкающего солнца для ребенка, приехавшего впервые на юг из-под сумрачного Мурманска. Слишком здесь пышно цвела удивительная зелень, росли яблоки, груши, сливы, виноград для парнишки, присланного из-под холодного Архангельска. Слишком здесь часто попадались прохладные ущелья, журчащие потоки, укромные поляны, невиданные цветники для девчонки, приехавшей из пустынь Средней Азии, из тундр Лапландии или из безрадостных, бескрайних степей Закаспия.

И прощали за солнце, за яблони, за виноград, за сорванные цветы, за примятую зелень.

Но за море не прощали никогда.

С тех пор как много лет тому назад, купаясь без надзора, утонул в море двенадцатилетний пионер, незыблемый и неумолимый вырос в лагере закон: каждый, кто без спроса, без надзора уйдет купаться, будет тотчас же выписан из лагеря и отправлен домой.

И от этого беспощадного закона лагерь не отступал еще никогда.

Владик вышел из воды, крепко выжал безрукавку, оделся и взял Альку за руку.

Они прошлись вдоль берега и наткнулись на каменный городок из гигантских глыб, рухнувших с горной вершины. Они сели на обломок и долго смотрели, как пенистые волны с шумом и ворчаньем бродят по пустынным площадям и уличкам.

— Знаешь, Алька,— грустно заговорил Владик,—

когда я был еще маленьким, как ты, или, может быть, немножко поменьше, мы жили тогда не здесь, не в Советской стране. Вот один раз пошли мы с сестрой в рощу. А сестра, Влада, уже большая была — семнадцать лет. Пришли мы в рощу. Она легла на полянке. Иди, говорит, побегай, а я тут подожду. А я, как сейчас помню, услышал вдруг: «фю-фю». Смотрю — птичка с куста на куст прыг, прыг. Я тихонько за ней. Она все прыгает, а я за ней и за ней. Далеко зашел. Потом вспорхнула — и на дерево. Гляжу — на дереве гнездо. Постоял я и пошел назад. Иду, иду — нет никого. Я кричу: «Влада!» Не отвечает. Я думаю: «Наверно, пошутила». Постоял, подождал, кричу: «Влада!» Нет, не отвечает! Что же такое? Вдруг, гляжу, под кустом что-то красное. Поднял, вижу—это лента от ее платья. Ах, вот как! Значит, я не заблудился. Значит, это та самая поляна, а она просто меня обманула и нарочно бросила, чтобы отделаться. Хорошо еще, что роща близко от дома и дорога знакомая. И до того я тогда обозлился, что всю дорогу ругал ее про себя дурой, дрянью и еще как-то. Прибежал домой и кричу: «Где Владка? Ну, пусть лучше она теперь домой не ворочается!» А мать как ахнет, а бабка Юзефа подпрыгнула сзади да раз меня по затылку, два по затылку! Я стою — ничего не понимаю.

А потом уж мне рассказали, что, пока я за птицей гонялся, пришли два жандарма, и взяли ее и увели. А она, чтобы не пугать меня, нарочно не крикнула. И вышло, что зря я только на нее кричал и ругался. Горько мне потом было, Алька.

— Она и сейчас в тюрьме сидит?—спросил не пропустивший ни слова Алька.

— И сейчас, только она уже не в тот, а в третий раз сидит. Я, Алька, все эти дни из дома письма ждал.

Говорили, что будет амнистия, все думали: уж и так четыре года сидит — может быть, выпустят. А позавчера пришло письмо: нет, не выпустили. Каких-то там из других партий повыпускали, а коммунистов — нет... не выпускают... А потом на другой день пошел я уже один в рощу и назло гнездо разорил и в птицу камнем так свистнул, что насилу она увернулась.

— Разве ж она виновата, Владик?

— А знал я тогда, кто виноват? — сердито возразил Владик. И вдруг, вспомнив о том, что сегодня случилось, он сразу притих.— Завтра меня из отряда выгонят,— объяснил он Альке.— Пока ты за скалой играл, Натка меня сверху увидела.

— Так ты же не купался, ты только безрукавку полоскал! — удивился Алька.

— А кто поверит?

— А ты правду скажи, что только полоскал,— заглядывая Владику в лицо, взволновался Алька.

— А кто теперь моей правде поверит?

— Ну, я скажу. Я же, Владик, все видел. Я играл, а сам все видел.

— Так ты еще малыш! — рассмеялся Владик.

Владик крепко схватил Альку за руку. Он вздохнул и уже серьезно попросил:

— Нет, ты уж лучше помалкивай. А то и тебе попадет: зачем со мной связался? Да мне еще хуже будет: зачем я тебя к морю утащил. Идем, Алька. Эх, ты! И кто тебя, такого малыша, на свет уродил?

Алька помолчал.

— А моя мама тоже в тюрьме была убита,— неожиданно ответил Алька и прямо взглянул на растерявшегося Владика своими спокойными нерусскими глазами.

...Ужинать отряд ходил без Натки. Натка долго проканителилась в больнице, где ей пришлось ожидать доктора, занятого в перевязочной.

С Толькой оказалось уж не так плохо: три ушиба и небольшой вывих. Она боялась, что будет хуже.

На обратном пути ее окликнули из библиотеки. Там ей ехидно показали две книжки с вырванными страницами и одну с вырезанной картинкой. Про две книжки Натка ничего не знала, а про третью сказала комсомольскому библиотекарю, что он врет и что картинка эта была вырезана еще до того, как книжка побывала в ее отряде. Библиотекарь заспорил, Натка вспылила и уже от двери назло напомнила ему, как он всучил недавно октябренку Бубякину вместо книги о домашних животных популярную астрономию Фламмариона.

Голодная и усталая, она понеслась в столовую. Там уже давно все убрали, и ей досталось только два помидора да холодное вареное яйцо.

Она вернулась в отряд, но там, как нарочно, уже поджидала ее кастелянша со своими бумагами и подсчетами. Увернуться Натка не успела.

— Сколько у вас потеряно носовых платков? — спросила кастелянша, решительно усаживая рядом с собой Натку и неторопливо раскладывая свои записки.

— Сколько? — вздохнула горько Натка и начала про себя подсчитывать по пальцам.— Вася! — крикнула она пробегавшему октябренку Бубякину.— Сбегай, позови звеньевых. Только Розу не ищи — она внизу. А потом, узнай, нашел Карасиков свой платок или нет. Наверно, растрепа, не нашел.

— Он на меня вчера плюнул,— мрачно заявил Вася,— и я с ним больше не вожусь.

— Ну, не водись, а сбегай. Вот погодите, я с вами поговорю на линейке,—пригрозила Натка. И, обер-

нувшись к кастелянше, она продолжала: — Полотенец у нас уже четырех не хватает. Галстуки еще вчера у всех были. А вчера наши ребята в кустах подобрали две чужие панамы, маленькую подушку и один кожаный сандалий. Погодите записывать, Марта Адольфовна, сейчас звеньевые придут — может быть, и галстуков уже не хватает. Я ничего не знаю. Я сегодня весь день как угорелая.

Натка обернулась и увидела, что ее тихонько трогает за рукав Алька.

— Ну, что тебе? — спросила она не сердито, но и не совсем так приветливо, как обыкновенно.

— Знаешь что? — негромко, так, чтобы не услышала кастелянша, заговорил Алька.— А я тебя искал, искал... Знаешь... Он совсем не виноват. Я сам был и все видел.

— Кто не виноват? — рассеянно спросила Натка и, не дослушав, сказала: — А две вчерашние безрукавки, Марта Адольфовна, это совсем не наши. У нас и ребят таких нет. Это на здорового дядю. Может быть, в первом отряде два-три таких наберется. А у меня... откуда же?

— Он совсем не виноват,— еще тише и взволнованней продолжал Алька.— Ты, Натка, послушай... Он просто с мальчишкой подрался и хотел потом выполоскать. Он хороший, Натка. Он всё письма про сестру ждал, ждал. Других выпустили, а ее не выпустили.

— Я вот им подерусь! Я вот им подерусь! — машинально пригрозила Натка.— Беги, Алька, что тебе тут надо? Ну что, Вася, идут звеньевые? А как у Карасикова?

— Он на меня фигу показал,— хмуро пожаловался Вася,— и я с ним больше никогда не вожусь. А плат-

ка у него все равно нет. И я сам видел, как он сейчас пальцем высморкался.

— Ладно, ладно. Я с вами потом разберусь. Значит, шести платков не хватает, Марта Адольфовна.

— Он нисколько не виноват, а ты на него думаешь,— уже со злобой и едва сдерживая слезы, забормотал Алька.— Он и сам тоже один раз на сестру подумал: и дура и дрянь, а она совсем не была виновата. Горько потом было. Ты только послушай, Натка... Он, Владик, лежал...

— Что Владик? Кто дрянь? Кто тебе позволил с ним бегать? — резко обернулась так ничего и не разобравшая Натка и тотчас же накинулась на Иоську, который, как ей показалось, подходил не очень быстро.

Если бы Натка была не так раздражена, если бы она обернулась в эту минуту, то она все-таки выслушала бы Альку. Но она вспомнила и обернулась уже тогда, когда Альки позади не было.

На вечерней линейке Альки вдруг не оказалось. Пошли посмотреть в палату: не уснул ли. Нет, не было. Покричали с террасы — нет, не откликается.

Тогда забеспокоились и забегали, стали друг у друга расспрашивать: где, как и куда?

Вскоре выяснилось, что Карасиков, который подкрался к двери подслушать, как Васька будет жаловаться на него за фигу, вдруг увидел, что мимо него весь в слезах пробежал Алька. Но когда обрадованный Карасиков припустился было вдогонку и закричал: «Плакса-вакса!» — то Алька остановился и швырнул в Карасикова камнем так здорово, что Карасиков дальше не побежал, а пошел было пожаловаться Натке, да только раздумал, потому что Васька Бубякин и на него самого только что пожаловался.

Все это, конечно, узнала не Натка, а сами ребята,

которые тотчас же наперебой рассказали об этом Натке. Тогда она вызвала десяток ребят постарше и посмышленей и приказала им обшарить все ближайшие полянки, дорожки и тропки, а сама села на лавку, усталая и подавленная.

Смутно припоминались ей какие-то непонятные Алькины слова: «...А я тебя искал, искал... Он всё письма ждал, ждал... Ты только послушай, Натка...»

«Зачем искал? Какого письма?» — с трудом соображала она. И тут подумала, что проще всего пойти и спросить у самого Владика. Но и Владик тоже уже куда-то исчез.

«Хорошо,— подумала Натка.— Хорошо, завтра тебе и это все припомнится».

Один за другим возвращались посланные. И, когда наконец вернулся последний, десятый, Натка выбежала на крыльцо и, путаясь в темноте, помчалась к третьему корпусу, чтобы оттуда позвонить дежурному по лагерю.

Когда уже замелькали среди кустов огоньки, когда уже она поравнялась с первым фонарем, сбоку затрещало, захрустело, и откуда-то прямо наперерез ей вылетел Владик.

— Не надо,— задыхаясь, сказал он,— не надо...

— Ты нашел? — крикнула Натка.— Где он? Уже дома? В отряде?

— А то как же! — негромко ответил Владик.

И тут Натка увидела, что глаза его смотрят на нее с прямой и открытой ненавистью.

Больше он ничего не сказал и повернулся. Она громко и тревожно окликнула его, он не послушался и исчез. Бояться ему все равно теперь было некого и нечего.

Когда Натка вернулась, то ей рассказали, что Вла-

дик Дашевский нашел Альку в двух километрах от лагеря, в маленьком домике под скалой, у отца. Там Алька сейчас и остался.

Натка прошла к себе в комнату и села.

Рассеянно прислушиваясь к тому, как шуршит крупная бабочка возле лампы, она припомнила свои печальные последние сутки: и Катюшу Вострецову с ее разбитым носом, и Тольку с его рукой, и Владика, и кастеляншу с ее галстуками, и дурака-библиотекаря с его враньем... И от всего этого ей стало так грустно, что захотелось даже заплакать.

В дверь неожиданно постучали. Заглянула дежурная и сказала Натке, что ее хочет видеть Алькин отец.

Натка не удивилась. Она только быстро потянулась к графину, но графин был теплый. Тогда, проходя мимо умывальника, она наспех жадно напилась прямо из-под крана и через террасу вышла к парку. Ночь была темная, но она сейчас же разглядела фигуру человека, который сидел на ступеньках каменной лестницы.

Они поздоровались и разговаривали в эту ночь очень долго.

На другой день Владика ни к начальнику, ни на совет лагеря не вызвали.

На следующий день не вызвали тоже.

И, когда он понял, что его так и не вызовут, он притих, осунулся и все ходил сначала одиноким, осторожным волчонком, вот-вот готов был прыгнуть и огрызнуться.

Но так как огрызаться было не на кого и жизнь в Наткином отряде, всем на радость, пошла ладно, дружно и весело, то вскоре он успокоился и в ожидании, пока выздоровеет Толька, подолгу пропадал теперь в лагерном стрелковом тире.

С Наткой он был сдержан и вежлив.

Но, едва-едва стоило ей заговорить с ним о том, как же все-таки на самом деле Толька свихнул себе руку, Владик замолкал и обязательно исчезал под каким-нибудь предлогом, придумывать которые он был непревзойденный мастер.

И еще что заметила Натка—это то, с какой настойчивостью этот дерзковатый мальчишка незаметно и ревниво оберегал во всем веселую Алькину ребячью жизнь.

Так, недавно, возвращаясь с прогулки, Натка строго спросила у Альки, куда он задевал новую коробку для жуков и бабочек.

Алька покраснел и очень неуверенно ответил, что он, *кажется*, забыл ее дома. А Натка очень уверенно ответила, что, *кажется*, он опять позабыл банку под кустом или у ручья. И все же, когда они вернулись домой, то металлическая банка с сеткой стояла на тумбочке возле Алькиной кровати.

Озадаченная Натка готова была уже поверить в то, что она ошиблась, если бы совсем нечаянно не перехватила торжествующий взгляд запыхавшегося Владика.

А лагерь готовился к новому празднику. Давно уже обмелели пруды, зацвели бассейны, замолкли фонтаны и пересохли веселые ручейки. Даже ванна и души были заперты на ключ и открывались только к ночи на полчаса, на час.

Шли спешные последние работы, и через три дня целый поток холодной, свежей воды должен был хлынуть с гор к лагерю.

Однажды Сергей вернулся с работы рано. Старуха сторожиха сказала ему, что у него на столе лежит телеграмма.

Важных телеграмм он не ждал ниоткуда, поэтому

сначала он сбросил гимнастерку, умылся, закурил и только тогда распечатал.

Он прочел. Сел. Перечел еще раз и задумался. Телеграмма была не длинная и как будто бы не очень понятная. Смысл ее был таков, что ему приказывали быть готовым во всякую минуту прервать отпуск и вернуться в Москву.

Но Сергей эту телеграмму понял, и вдруг ему очень захотелось повидать Альку. Он оделся и пошел к лагерю.

В это время ребята ужинали, и Сергей сел на камень за кустами, поджидая, когда они будут возвращаться из столовой.

Сначала прошли двое, сытые, молчаливые. Они так и не заметили Сергея. Потом пронеслась целая стайка. Потом еще издалека послышался спор, крик, и на лужайку выкатились трое: давно уже помирившиеся октябрята Бубякин и Карасиков, а с ними задорная башкирка Эмине. Все они держали по большому красному яблоку.

Натолкнувшись на незнакомого человека, растерявшийся Карасиков выронил яблоко, которое тотчас же подхватила ловкая Эмине.

— Коза! Коза! Отдай, Эмка! Васька, держи ее! — завопил Карасиков, с негодованием глядя на хладнокровно остановившегося товарища.

— Доганай! — гортанно крикнула Эмине, ловко подбрасывая и подхватывая тяжелое яблоко.—У, глупый... На! — сердито крикнула она, бросая яблоко на траву. И вдруг, обернувшись к Сергею, она лукаво улыбнулась и кинула ему свое яблоко: — На! — А сама уже издалека звонко крикнула: — Ты Алькин?.. Да? Кушай! — и, не найдя больше слов, затрясла головой, рассмеялась и убежала.

— А ваш Алька вчера ее, Эмку, водой облил,— торжественно съябедничал Карасиков.— А Ваську Бубякина за ухо дернул.

— Что же вы его не поколотите? — полюбопытствовал Сергей.

Карасиков задумался.

— Его не надо колотить,— помолчав немного, объяснил он.— У него мать была хорошая.

— Откуда вы знаете, что хорошая?

— Знаем,— коротко ответил Карасиков.— Нам Натка рассказывала.— И, помолчав немного, он добавил: — А когда Васька хотел его поколотить, то он приткнулся к стенке, вырвал крапиву да отбивается. Попробуй-ка подойти, ноги-то, ведь они голые.

Сергей рассмеялся. Где-то неподалеку на волейбольной площадке гулко ахнул мяч, и ребятишки кинулись туда.

Потом подошли Натка, а за ней Алька и Катюшка Вострецова, которые волокли на бечевке маленький грузовичок, до краев наполненный яблоками, грушами и сливами.

— Это наши ребята за ужином нагрузили. Вот мы и увозим,— объяснил Алька.— Ты проводи нас, папка, до отряда, а потом мы с тобой гулять пойдем.

Грузовик двинулся, а Сергей и Натка пошли сзади.

— Он, вероятно, на днях уедет со мной в Москву,— неохотно сообщил Сергей.— Так надо,— ответил он на удивленный взгляд Натки.— Надо так, Наташа.

— Ганин!— набравшись решимости, спросила Натка.— А что, Алька когда-нибудь мать свою видел? То есть... видел, конечно... но он ее хорошо помнит?

Грузовик вздрогнул, два яблока выпали и покатились по дорожке. Алька, быстро обернувшись, взглянул на отца.

Сергей наклонился, подобрал яблоки, положил их в кузов и с укоризною сказал:

— Что же это, шофер? Ты тормози плавно, а то шестеренки сорвешь, да и машину опрокинешь.

Они подошли к дому. Сергей сказал, что задержит Альку ненадолго. Однако Алька вернулся только ко сну.

Натка раздела его, уложила и, закрыв абажур платком, стала перечитывать второе, только что сегодня полученное письмо.

Мать с тревогой писала, что отца переводят на стройку в Таджикистан и что скоро всем надо будет уезжать. Мать волновалась, горячо просила Натку приехать пораньше и сообщала, что отец уже сговорился с горкомом, и если Натка захочет, то и ее отпустят вместе с семьей.

Противоречивые чувства охватили Натку. Хотелось побыть и здесь до конца отпуска, тем более что вожатый Корчаганов уже выздоравливал. Хорошо было поехать и в Таджикистан, хотя и грустно покидать город, где прошло все детство. И было как-то неспокойно и радостно. Чувствовалось, что вот она, жизнь, разворачивается и раскидывается всеми своими дорогами. Давно ли: дядя... папаха, дядина сабля за печкой... мать с хворостиной... Давно ли пионеротряд... сама пионерка... Потом совпартшкола. И вдруг год-два — и сразу уже ей девятнадцатый.

Ей показалось, что в комнате душно, и, натянув сетку, она распахнула настежь окно.

Обернувшись, она увидела, что Алька все еще не спит, а лежит с открытыми и вовсе не сонными глазами.

— Ты что? Спи, малыш! — накинулась на него Натка.

Алька улыбнулся и привстал.

— А мы сегодня с папой на высокую гору лазили. Он лез и меня тащил. Высоко затащил. Ничего не видно, только одно море и море. Я его спрашиваю: «Папа, а в какой стороне та сторона, где была наша мамка?» Он подумал и показал: «Вон в той». Я смотрел, смотрел, все равно только одно море. Я спросил: «А где та сторона, в которой сидит в тюрьме Владикина Влада?» Он подумал и показал: «Вон в той». Чудно́, правда, Натка?

— Что же чудно́, Алька?

— И в той стороне... и в другой стороне...— протяжно сказал Алька.— Повсюду. Помнишь, как в нашей сказке, Натка?— живо продолжал он.— Папа у меня русский, мама румынская, а я какой? Ну, угадай.

— А ты? Ты советский. Спи, Алька, спи,— быстро заговорила Натка, потому что глаза у Альки что-то уж очень ярко заблестели.

Но Альке не спалось. Она присела к нему на кровать, закутала в одеяло и взяла его на руки:

— Спи, Алька. Хочешь, я тебе песенку спою?

Он прикорнул к ней, притих, задремал, а она вполголоса пела ему простую, баюкающую песенку, ту самую, которую пела ей мать еще в очень глубоком, почти позабытом детстве:

Плыл кораблик голубой,
А на нем и я с тобой.
В синем море тишина,
В небе звездочка видна.
А за тучами вдали
Виден край чужой земли...

Тут во сне Алька заворочался. Неожиданно он открыл глаза, и счастливая улыбка разошлась по его раскрасневшемуся лицу.

— А знаешь, Натка? — прижимаясь к ней, радостно сказал Алька.— А я все-таки свою маму один раз видел. Долго видел... целую неделю.

— Где?—не сдержавшись, быстро спросила Натка.

Алька подумал, помолчал, потом решительно качнул головой:

— Нет, не скажу... Это наша с папкой тоже — военная тайна.

Он рассмеялся, уткнулся к ней в плечо и потом, уже совсем засыпая, тихонько предупредил:

— Смотри... и ты не говори никому тоже.

После обеда в лагерь приехал Дягилев получать из склада болты и гвозди. Сергей приказал, чтобы после приемки Дягилев кликнул его, и тогда они поедут к озеру вместе.

Лагерный тир был расположен у берега, как раз по пути, пониже шоссейной дороги. Сергей завернул к тиру. Только что окончился послеобеденный отдых, и поэтому ребят в тире было немного — человек восемь. Среди них были Владик и Иоська.

Сергей стоял поодаль, наблюдая за Владиком. Когда Владик подходил к барьеру, лицо его чуть бледнело, серые глаза щурились, а когда он посылал пулю, губы вздрагивали и сжимались, как будто он бил не по мишени, а по скрытому за ней врагу.

Стреляли из мелкокалиберки на пятьдесят метров.

— Тридцать пять,— откладывая винтовку и оборачиваясь к Иоське, спокойно сказал Владик.— Бьюсь обо что хочешь, что тебе не взять и тридцати.

— Тридцать выбью, — поколебавшись, решил Иоська.

— Ого! Ну, попробуй!

Иоська виновато взглянул на товарищей и взял

винтовку. Приготавливался он к выстрелу дольше, целился медленней, и, перезаряжая после выстрела, он глотал слюну, точно у него пересыхало горло.

И все-таки тридцать очков он выбил.

В это время к Сергею подошел Дягилев.

— Дурная голова!— с досадой сказал он, постукивая себя пальцем по лбу.— Сам-то я поехал, а наряд в конторке позабыл. Подпишите новый, Сергей Алексеевич. А вернемся — я тогда прежний порву.

— Сорок выбью,— уверенно заявил Владик и легко взял из рук покрасневшего Иоськи винтовку.— Меньше сорока не будет,— твердо заявил он, чувствуя, как ладно и послушно легла винтовка к плечу.

— Сорок мне не выбить,— сознался Иоська.— У меня после третьего выстрела рука устает.

— А ты не целься по часу,— посоветовал Владик. И, вскинув приклад, он с первой же пули положил десять.

Ребята насторожились и заулыбались.

— А ты не целься по часу,— повторил Владик и снова выбил десять.

На третьем выстреле, перезаряжая винтовку, торжествующий Владик мельком оглянулся на Сергея.

Тут как будто бы кто-то его дернул. Он как-то неловко, не по-своему вскинул, не вовремя нажал, и четвертая пуля со свистом ударила совсем за мишень.

— Сорвал! Что ты? Что ты?— зашептались и задвигались ребята.

Владик торопливо перезарядил. Целился он теперь долго. Пальцы дрожали, и мушка прыгала.

— Ну, двойка!— разочарованно крикнул кто-то, когда он выстрелил.

Владик оттолкнул винтовку и, ничего не говоря, пошел прочь.

Сергею стало жалко растерявшегося Владика.

— Не сердись,— успокоил он, задерживая его руку.— Ты хорошо стреляешь. Только не надо было оборачиваться.

— Нет,— сердито ответил Владик.— Это совсем не то.

Несколько шагов вдоль берега они прошли молча. Владик тяжело дышал.

— Я знаю,— сказал он останавливаясь, — это вы за меня заступились перед Наткой. Вы не спорьте, я хорошо знаю.

— Я не спорю, но я не заступался. Я только рассказал ей то, что передал мне Алька. А ему я, Владик, очень крепко верю.

— И я тоже.— Владик облизал пересохшие губы. И, не зная, как начать, он отшвырнул ногою попавшийся камешек.— Это кто к вам сейчас подходил?

— Сейчас? Это старший десятник. А что, Владик?

Владик запнулся.

— А если он десятник, то зачем он ружья прячет? Зачем? Из-за него мы с Толькой нечаянно чуть вас не убили. Из-за него Толька свихнул себе руку. Из-за него я сейчас промахнулся. У меня три патрона — тридцать очков. Вдруг вижу... Что? Кто это? Откуда? Конечно, раз сорвал... сорвал два, а если бы сразу обернулся, то и все пять сорвал бы. Разве я его тут ожидал?

— Постой, постой, да ты не кричи!— остановил Владика Сергей.— Кто меня убил? Какое ружье? Кто прячет? Поди сюда, сядь.

Они сели на камень.

— Помните, вы верхом ехали и двум мальчишкам записку к начальнику лагеря дали?

— Ну?

— Это мы с Толькой были. На башню, дураки, лазили... Помните, вы однажды шли, вдруг около вас бабахнуло. Вы окликнули да по кустам из нагана...

— Я не по кустам, я в воздух.

— Все равно. Это мы с Толькой бабахнули. Это он нечаянно. А потом мы бросились бежать; тут он — под откос и расшибся.

— А ружье? Ружье где вы взяли?

— А ружье вот этот самый дядька в яму под башню спрятал. Мы там лазили и нечаянно натолкнулись.

— Какой дядька? Может быть, другой? Может быть, вовсе не этот?— настойчиво переспрашивал Сергей.

— Этот самый. Мы с Толькой наверху рядом сидели. Тоже сунулся под руку,— с досадой добавил Владик.— Я обернулся, гляжу — он. Откуда, думаю? Может быть, за ружьем? Раз, раз — и сорвал.

— А ружье где?

— Там оно... где-нибудь в чаще, под обрывом,— уже нехотя докончил Владик.— Если надо, так сходим, можно и найти.

— Владик,— торопливо попросил Сергей, увидав подъезжающего Дягилева.— Ты беги в тир. Я сейчас тоже приду. А потом мы возьмем с собой Альку и пойдемте вместе гулять. Там заодно все посмотрим и поищем.

В этот же день к вечеру Сергей вызвал Шалимова и послал на третий участок за Дягилевым. Ободранная о камни, грязная двустволка стояла в углу. Ее нашли в колючках под обрывом.

На все расспросы Сергея Шалимов отмалчивался

и твердил только одно: что аллах велик и, конечно, видит, что он, Шалимов, ни в чем не виноват.

Вошел Дягилев. Еще с порога он начал жаловаться, что шалимовская бригада совсем отбилась от рук и что куда-то затерялся ящик с метровыми гайками.

Но, наткнувшись на Шалимова, он сразу насторожился, сдвинул с табуретки молодого парнишку-рассыльного и сел напротив Сергея.

— Врешь, что тебя обворовали,— прямо сказал Сергей.— Ты сам вор. Документы бросил, а двустволку спрятал.

И, указывая на притихшего Шалимова, он спросил:

— А рабочих обкрадывали вместе? Скажите, сколько украли?

— Шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть,— быстро ответил нерастерявшийся Дягилев.— Что ты, Сергей Алексеевич? Или динамитом в голову контузило?

Но тут он разглядел стоявшую за спиной Сергея двустволку и злобно взглянул на молчавшего Шалимова:

— Ах, вот что! Святой Магомет, это ты что-нибудь напророчил?

— Я ничего не говорил,— испуганно забормотал Шалимов.— Я ничего не видал, ничего не слыхал и не знаю. Это бог все знает.

— Святая истина,— мрачно согласился Дягилев.— Ну и что дальше?

— Документы у тебя свои или чужие?— спросил Сергей.

— Документ советский, за свои нынче строго. Да что ты ко мне пристал, Сергей Алексеевич? Вор украл, вор и бросил, а я-то тут при чем?

В эту минуту дверь стукнула, и Дягилев увидел на пороге незнакомого мальчика.

— Владик,— спросил мальчика Сергей, указывая на Дягилева,— этот человек ружье прятал?

Владик молча кивнул головой. Сергей обернулся к телефону.

Почуяв недоброе, Дягилев тоже встал и, отталкивая пытавшегося его задержать рассыльного, пошел к двери.

— Ты постой, вор! — вскрикнул побледневший Владик.— Здесь еще я стою.

— А ты что за орел-птица?— крикнул озадаченный Дягилев и нехотя сел, потому что Сергей бросил трубку телефона.

— Отпустите лучше, Сергей Алексеевич,— сказал Дягилев.— Стройка закончена. Плотина готова. Вы себе с миром в одну сторону, а я — в другую. Всем жрать надо.

— Всем надо, да не все воруют.

— Вам воровать не к чему. У вас и так все свое.

— А у вас?

— А у нас? Про нас разговор особый. Отпустите добром, вам же лучше будет.

— Мне лучше не надо. Мне и так хорошо... А ты, я смотрю, кулак. Но-но! Не балуй!— окрикнул Сергей, увидев, что Дягилев встал и подвинул к себе тяжелую табуретку.

— Был с кулаком, остался с кукишом,— огрызнулся Дягилев и безнадежно махнул рукой, увидев подъезжавших к окну двух верховых милиционеров.

— Лучше бы отпустили, себе только хуже сделаете,— как бы с сожалением повторил Дягилев и злобно дернул за рукав все еще что-то бормотавшего

Шалимова. — Вставай, святой Магомет! Социализм строили... строили и надорвались. В рай домой поехали! А вон за окном и архангелы.

Через два дня, в полдень, торжественно открыли шлюзы, и потоки холодной воды хлынули с гор к лагерю. Вечером по нижнему парковому пруду, куда направили всю первую, еще мутную воду, уже катались на лодках.

Наутро били фонтаны, сверкали светлые бассейны, из-под душей несся отчаянный визг. И суровый Гейка, которого уже несколько раз обрызгивали из окошек, щедро поливая запылившиеся газоны, совсем не сердито бормотал:

— Ну, будет, будет вам! Вот сорву крапиву да через окно крапивой по голому. И скажи, что за баловная нация!

Где бы ни появлялся этот маленький темноглазый мальчуган — на лужайке ли среди беспечных октябрят, на поляне ли, где дико гонялись казаки и разбойники — отчаянные храбрецы, на волейбольной ли площадке, где азартно играли в мяч взрослые комсомольцы,— всюду ему были рады.

И если, бывало, кто-нибудь чужой, незнакомый толкнет его, или отстранит, или не пропустит пробраться на высокое место, откуда все видно, то такого человека всегда останавливали и мягко ему говорили:

— Что ты, одурел? Да ведь это наш Алька.

И потом вполголоса прибавляли еще что-то такое, от чего невнимательный, неловкий, но не злой человек смущался и виновато смотрел на этого веселого малыша.

С часу на час Сергей ожидал телеграммы. Но про-

шел день, прошел другой, а телеграммы все не было, и Сергей стал надеяться, что остаток отпуска они с Алькой проведут спокойно и весело.

Уже вечерело, когда Сергей и Алька лежали на полянке и поджидали Натку. Она сегодня была свободна, потому что совсем выздоровел и вернулся в отряд вожатый Корчаганов.

Однако Натка где-то задерживалась.

Они лежали на теплой, душистой поляне и, прислушиваясь к стрекотанию бесчисленных цикад, оба молчали.

— Папка,— трогая за плечо отца, спросил Алька,— Владик говорит, что у одного летчика пробили пулями аэроплан. Тогда он спрыгнул, летел, летел и все-таки спустился прямо в руки белым. Зачем же он тогда прыгал?

— Должно быть, он не знал, что попадет к белым, Алька.

— А если бы знал?

— Ну, тогда он подумал бы, что, может быть, сумеет убежать или отобьется.

— Не отбился,— с сожалением вздохнул Алька.— Владик говорит, что на том месте, где летчика допытывали и убили, стоит теперь вышка и оттуда ребята с парашютами прыгают. Ты, когда был на войне, много раз прыгал?

— Нет, Алька, я ни одного раза. Да у нас и война не такая была — без парашютов.

— А у нас какая будет?

— А у вас, может быть, уж никакой войны не будет.

— А если?

— Ну, тогда вырастешь — сам увидишь. Ты почему про летчика вспомнил, Алька?

— По сказке. Помнишь, когда Мальчиша заковали в цепи, то бледный он стоял, и тоже от него ничего не выпытали.

Алька вскочил с травы и попросил:

— Пойдем, папка. Мы Натку по дороге встретим. А у меня под подушкой две конфеты спрятаны, и я вам тоже дам по половинке, только ты не говори ей, что это из-под подушки, а то у нас за это ругаются.

Они спустились на тропку и вдоль ограды из колючей проволоки, которая отделяла парк от проезжей дороги, пошли к дому.

Они отошли уже довольно далеко, как Сергей спохватился, что забыл на поляне папиросы.

— Принеси, Алька,— попросил он,— я тебя здесь подожду. Беги напрямик, через кусты. Ты малыш и живо пролезешь.

Алька нырнул в чащу.

— Ау! Где вы?— донесся издалека голос Натки.

— Эге-гей! Здесь!— громко откликнулся Сергей.— Сюда, Наташа!

При звуке его голоса из-за кустов со стороны дороги просунулась чья-то голова, и Сергей узнал дягилевского брата. Он опять был сильно пьян, но на ногах держался крепко. Он сделал было попытку подойти, но наткнулся на колючую проволоку и остановился.

— Зачем брата посадил?— глухо проговорил он, уставившись на Сергея мутными, недобрыми глазами.— Хитрый!— протяжно добавил он и погрозил пальцем.

— Иди проспись,— посоветовал Сергей.— Смотри, ты себе руку о проволоку раскровенил.

— И все-то вы хи-итрые!— так же протяжно повторил пьяный и вдруг, подавшись корпусом, двинулся так сильно, что проволока затрещала и зазвенела.

Он хрипло крикнул:

— Зачем брата посадил? Лучше отпусти, а то хуже будет!

— Брат твой кулак и вор — туда ему и дорога. Ты будешь вором, и ты сядешь. Пойди спи,— резко ответил Сергей, не спуская глаз с этого остервеневшего человека.

— Брат — вор, а я и вовсе бандит!— дико выкрикнул пьяный, и, схватив с земли тяжелый камень, он что было силы запустил им в Сергея.

— Брось, оставь!—крикнул отклонившийся Сергей.

Но ослепленный злобою, отуманенный водкой человек рванулся к земле, и целый град булыжников полетел в Сергея. Крупный камень ударил ему в плечо, и тут же он услышал, как сзади хрустнули кусты и кто-то негромко вскрикнул.

— Стой!.. Назад... Назад, Алька!— в страхе закричал Сергей, и, вырвав из кармана браунинг, он грохнул по пьяному.

Пьяный выронил камень, погрозил пальцем, крепко выругался и тяжело упал на проволоку.

Сергей обернулся.

Очевидно, что-то случилось, потому что он покачнулся. В одно и то же мгновение он увидел тяжелые плиты тюремных башен, ржавые цепи и смуглое лицо мертвой Марицы. А еще рядом с башнями он увидел сухую колючую траву. И на той траве лицом вниз и с камнем у виска неподвижно лежал всадник «Первого октябрятского отряда мировой революции», такой малыш — Алька.

Сергей рванулся и приподнял Альку. Но Алька не вставал.

— Алька,— почти шепотом попросил Сергей,— ты, пожалуйста, вставай...

Алька молчал.

Тогда Сергей вздрогнул, осторожно положил Альку на руки и, не поднимая оброненную фуражку, шатаясь, пошел в гору.

Из-за поворота навстречу выбежала Натка. Была она сегодня такая веселая, черноволосая, без платка, без галстука; подбегая, она раскинула руки и радостно спросила:

— Ну что, заждались? Вот и я. А он уже спит?

— А он, кажется, уже не спит,— как-то по-чужому ответил Сергей и остановился.

И, очевидно, опять что-то случилось, потому что пораженная Натка отступила назад, подошла снова и, заглянув Альке в лицо, вдруг ясно услышала далекую песенку о том, как уплыл голубой кораблик...

На скале, на каменной площадке, высоко над синим морем, вырвали остатками динамита крепкую могилу.

И светлым, солнечным утром, когда еще вовсю распевали птицы, когда еще не просохла роса на тенистых полянках парка, весь лагерь пришел провожать Альку.

Что-то там над могилой говорили, кого-то с ненавистью проклинали, в чем-то крепко клялись, но все это плохо слушала Натка.

Она видела Карасикова, который стоял теперь не шелохнувшись, и вспомнила, что отец у Карасикова— шахтер.

Она видела босого, но сегодня подпоясанного и причесанного Гейку и вспомнила, что этот добрый Гейка был когда-то солдатом в арестантских ротах.

Она увидела Владика, бледного и сдержанного настолько, что, казалось, никому нельзя было даже

пальцем дотронуться до него сейчас, и подумала, что если когда-нибудь этот Владик по-настоящему вскинет винтовку, то ни пощады, ни промаха от него не будет.

Потом она увидела Сергея. Он стоял неподвижно, как часовой у знамени. И только сейчас Натка разглядела, что лицо его спокойно, почти сурово, что сапоги вычищены, ремень подтянут, а на чистой гимнастерке привинчен военный орден. Тут Натку тихонько позвали и сказали, что башкирка Эмине бросилась на траву и очень крепко плачет.

Потом все ушли. Остались только Сергей, Гейка, дежурное звено из первого отряда и четверо рабочих.

Они навалили груду тяжелых камней, пробили отверстие, крепко залили цементом, забросали бугор цветами.

И поставили над могилой большой красный флаг.

В тот же день Сергей получил телеграмму. Он зашел к себе и стал собираться. Он уложил весь свой несложный багаж, но когда подошел к письменному столу, чтобы собрать бумагу, то он не нашел там Алькиной фотографии.

Он потер виски, припоминая, не брал ли он ее с собою. Заглянул даже в полевую сумку, но фотографии и там не было.

Голова работала нечетко, мысли как-то сбивались, разбегались, путались, и он не знал, на кого — на себя, на других ли — сердиться.

Он пошел к Натке. Натка укладывалась тоже.

Алькина кровать с белой подушкой, с голубеньким одеялом стояла все еще нетронутой, как будто он бегал где-либо неподалеку, но его любимой картинки с краснозвездным всадником уже не было.

— Завтра я уезжаю, Наташа,— сказал Сергей.— Меня вызвали.

— И я тоже. Мы вместе поедем. Ты пить хочешь? Пей из графина. Теперь вода холодная.

— Да, теперь вода холодная,— машинально повторил Сергей.— Ты у меня не была сегодня, Наташа?

— Нет, не была. А что... Сережа?

— Не знаю я, куда-то Алькина карточка со стола пропала. Может быть, сам сгоряча засунул — не помню. Искал, искал — нету. В Москве у меня еще есть, — словно оправдываясь, добавил он. — А здесь больше нету.

В дверь заглянул вожатый Корчаганов, который весь день ловил Натку, чтобы за что-то ее выругать. Но, увидав Сергея, он понял, что сейчас, пожалуй, не время и не место. Он исчез, не сказав ни слова.

Они решили ехать завтра рано утром — машиной до Севастополя и оттуда на поезде в Москву.

В последний раз обходила Натка шумный и отчаянный свой четвертый отряд. Еще не везде смолкли печальные разговоры, еще не у всех остыли заплаканные глаза, а уже исподволь, разбивая тишину, где-то рокотали барабаны. Уже, рассевшись на бревнах, дружно и нестройно, как всегда, запевали свою песню октябрята.

Уже успели Вася Бубякин и Карасиков снова поссориться и снова помириться. И уже перекликались голоса над берегом, аукали в парке и визжали под искристыми холодными душами.

Натка зашла в прохладную палату. Там у окна стоял только один Владик. Она подошла к нему сзади, но он задумался и не слышал. Она заглянула ему

через плечо и увидела, что он пристально разглядывает Алькину карточку.

Владик отпрыгнул и крепко спрятал карточку за спину.

— Зачем это?— с укором спросила Натка.— Разве ты вор? Это нехорошо. Отдай назад, Владик.

— Вот скажи, что убьешь, и все равно не отдам,— стиснув зубы, но спокойно, не повышая голоса, ответил Владик.

И Натка поняла: правда, скажи ему, что убьют, и он не отдаст.

— Владик,— ласково заговорила Натка, положив ему руку на плечо,— а ведь Алькиному отцу очень, очень больно. Ты отдай, отнеси. Он на тебя не рассердится...

Тут губы у Владика запрыгали. Исчезла вызывающая, нагловатая усмешка, совсем по-ребячьи раскрылись и замигали его всегда прищуренные глаза, и он уже не крепко и не уверенно держал перед собой Алькину карточку.

Голос его дрогнул, и непривычные крупные слезы покатились по его щекам.

— Да, Натка,— беспомощным, горячим полушопотом заговорил он,— у отца, наверное, еще есть. Он, наверно, еще достанет. А мне... а я ведь его уже больше никогда...

Минутой позже, все еще собираясь выругать за что-то Натку, забежал вожатый Корчаганов и, разинув рот, остановился. Сидя на койке, прямо на чистом одеяле, крепко обнявшись, Владик Дашевский и Натка Шегалова плакали. Плакали открыто, громко, как маленькие глупые дети.

Он постоял, тихонько, на цыпочках, вышел, и ему что-то захотелось выпить очень холодной воды.

...Провожать на дорогу прибежали многие. Уже в самую последнюю минуту, когда Сергей и Натка сели в машину, с огромной охапкой цветов примчался Владик, а за ним Иоська и Эмка.

— Возьми... Это ему и тебе,— отрывисто сказал Владик.— Да бери. Ты не думай. Это я не украл. Мы пошли к Гейке. Мы попросили садовника. Мы сказали — кому, и он дал. Возьми, возьми. Прощай, Натка!

Высоко с горы, взявшись за руки, бежали опоздавшие Вася Бубякин и Карасиков. Увидав, что им все равно не поспеть, они остановились, растерянно посмотрели друг на друга, потом замахали и закричали:

— До свиданья, до свиданья!

Машина рявкнула, и Натка, приподнявшись, крикнула Васе Бубякину и Карасикову и всем этим хорошим ребятам, всему этому шумному, зеленому лагерю:

— До свиданья, до свиданья!

Машина плавно покатила вниз. Огибая лагерь, она помчалась к берегу, потом пошла в гору. Здесь, как будто бы нарочно, шофер сбавил ход. Натка обернулась.

Дул свежий ветер. Он со свистом пролетал мимо ушей, пенил голубые волны и ласково трепал ярко-красное полотнище флага, который стройно высился над лагерем, над крепкой скалой, над гордою Алькиной могилой...

В ту светлую осень крепко пахло грозами, войнами и цементом новостроек.

Поезд мчался через Сиваш, гнилое море, и, глядя на его серые гиблые волны, Натка вспомнила, что где-то вот здесь в двадцатом был убит и похоронен их сосед, один веселый сапожник, который, перед тем как

уйти на фронт, выкинул из дома иконы, назвал белобрысую дочку Маньку Всемирой и, добродушно улыбаясь, лихо затопал на вокзал, с тем чтобы никогда домой не вернуться.

И Натка подумала, что домика того давно уже нет, а на всем этом квартале выстроили учебный комбинат и водонапорную башню. А Маньку — Всемиру — никто никогда таким чудным именем не звал и не зовет, а зовут ее просто Мира или Мирка. И она уже теперь металлург-лаборантка, и у нее недавно родился сын, такой же белобрысый, Пашка.

— А все-таки где же Алька видел Марицу? — неожиданно обернувшись к Сергею, спросила Натка.

— Он видел ее полтора года назад, Наташа. Тогда Марица бежала из тюрьмы. Она бросилась в Днестр и поплыла к советской границе. Ее ранили, но она все-таки доплыла до берега. Потом она лежала в больнице, в Молдавии. Была уже ночь, когда мы приехали в Балту. Но Марица не хотела ждать до утра. Нас пропустили к ней ночью. Алька у нее спросил: «Тебя пулей пробило?» Она ответила: «Да, пулей».—«Почему же ты смеешься? Разве тебе не больно?»—«Нет, Алька, от пули всегда больно. Это я тебя люблю». Он насупился, присел поближе и потрогал ее косы. «Ладно, ладно, и мы их пробьем тоже».

— А почему Алька говорил, что это тайна?

— Марицу тогда Румыния в Болгарии искала. А мы думали — пусть ищет. И никому не говорили.

— А потом?

— А потом она уехала в Чехословакию и оттуда опять пробралась к себе в Румынию. Вот тебе и все, Наташа.

Поезд мчался через степи Таврии. Рыжими грома-

дами возвышались над равниной хлебные стога. Сторожевыми башнями торчали элеваторы, и к ним со всех сторон бежали машины, тянулись подводы, телеги, арбы, груженные свежим, пахучим зерном.

На каждой большой станции бросались за встречными газетами. Газет не хватало. Пропуская привычные сводки и цифры, отчеты, внимательно вчитывались в те строки, где говорилось о тяжелых военных тучах, о раскатах орудийных взрывов, которые слышались все яснее и яснее у одной из далеких-далеких границ.

Натка отложила газету.

Поезд мчался теперь через могучий Донбасс. Там бушевало пламя, шипели коксовые печи, грохотали подъемники и экскаваторы. И росли, росли озаренные прожекторами вышки шахт, фабричные корпуса — целые города, еще сырые, серые, пахнущие дымом, известью и цементом.

— Сережа,— сказала тогда Натка, присаживаясь рядом и тихонько сжимая его руку,— ведь это же правда, что наша Красная Армия не самая слабая в мире?

Он улыбнулся и ласково погладил ее по голове.

На вокзале их встретил сам Шегалов.

Столкнувшись с Сергеем, он остановился и нахмурился. Удивленный Сергей и сам стоял, глядя Шегалову прямо в лицо и чему-то улыбаясь.

— Постой! Как это?— трогая Сергея за рукав, пробормотал Шегалов.— Сережка Ганин! — воскликнул он вдруг и, хлопая Сергея по плечу, громко рассмеялся.— А я смотрю... Кто? Кто это?.. Ты откуда?.. Куда?..

— Мы вместе приехали. А ты его знаешь? — обра-

довалась Натка.— Мы вместе приехали. Я тебе, дядя, потом расскажу. У тебя машина? Мы вместе поедем.

— Поедем, поедем,— согласился Шегалов.— Только мне сейчас прямо в штаб. Я вас развезу, а вечером он обязательно ко мне. Ну, что же ты молчишь?

— Слов нету,— ответил Сергей.— А к вечеру, Шегалов, я все припомню.

— А Балту вспомнишь? Молдавию вспомнишь?

— Дядя,— перебила сразу насторожившаяся Натка,— идем, дядя. Где машина?

Натка сидела посередине. А Шегалов весело расспрашивал Сергея:

— Ну как ты? Конечно, жена есть, дети?

— Дядя,— дергая его за рукав, перебила Натка,— ты мне шпорой прямо по ноге двинул.

— Как это?— удивился Шегалов. — Твои ноги вон где, а мои шпоры — вот они.

— Не сейчас, — смутилась Натка, — это еще когда мы в машину садились.

— Так неужели не женат?— продолжал Шегалов и рассмеялся.— А помнишь, как в Бессарабии однажды мы на беженский табор наткнулись, и была там одна такая девчонка темноглазая, чернокосая...

— Дядя!— почти испуганно вскрикнула Натка.— Это была...— Она запнулась.— Это была такая же машина, на которой мы в прошлый раз с тобой ехали?

— И что ты, шальная, не даешь с человеком слова сказать?— возмутился Шегалов. — То ей шпорами, то ей машина. Та же самая машина,— с досадой ответил он.— Ну, вот мы и приехали, слезай. Ты обязательно заходи сегодня или завтра вечером,— обернулся он к Сергею.— А то я на днях и сам в коман-

дировку уеду. Дела, брат!— уже тише добавил он.— Серьезные дела! Так и норовят нас слопать, да, гляди, подавятся.

К вечеру позвонил Шегалов и сказал, что он сегодня вернется только поздно ночью. Через полчаса позвонил Сергей и предупредил, что сегодня он быть никак не может и постарается прийти завтра.

Наутро Натка проснулась только в десять, и ей сказали, что дядя уже уехал, но обязательно обещал вернуться пораньше.

Это очень опечалило Натку. До четырех часов Натка ждала звонка, но потом у нее заболела голова, и она вышла на улицу. Незаметно она зашла в Александровский парк. Вечер был светлый, прохладный. В парке было тихо. Под ногами шуршали сухие листья, и пахло сырою рябиной.

У газетных киосков стояли нетерпеливые очереди. Люди поспешно разворачивали газетные листы и жадно читали последние известия о событиях на Дальнем Востоке. События были тревожные.

«Скорей надо за дело,— опуская газету, подумала Натка.— Домой ли, в Таджикистан ли... все равно. Всюду работа, нужная и важная».

И Натка опять вспомнила Алькину Военную Тайну: «Отчего бились с Красной Армией сорок царей да сорок королей? Бились, бились, да только сами разбились?»

«Это давно бились,— подумала Натка.— А пусть попробуют теперь. Или пусть подождут еще, пока подрастут Владик, Толька, Иоська, Баранкин и еще тысячи и миллионы таких же ребят... Надо работать,— думала Натка.— Надо их беречь. Чтобы они учились еще лучше, чтобы они любили свою страну еще больше. И это будет наша самая верная, самая креп-

кая Военная Тайна, которую пусть разгадывает, кто хочет».

Когда она вернулась домой, ей сказали, что без нее заходил Сергей.

Она бросилась к столу и нашла записку.

«Наташа,— писал Сергей.— Сегодня я уезжаю на Дальний Восток. Горячее спасибо тебе за Альку, за себя, за все».

Тут же на столе лежала фотография. На ней звонко и приветливо смеялись обнявшиеся Алька и Марица Маргулис.

И тогда ей вдруг очень захотелось еще раз повидать Сергея.

Она подошла к телефону и узнала, что курьерский поезд на Дальний Восток уходит в семь тридцать. У нее оставалось еще полтора часа.

Она представила себе огромный, шумный вокзал, где все суетятся, спешат, провожают, прощаются.

И только Сергей совсем один, без Марицы, без Альки, стоит молчаливый, вероятно угрюмый, и ждет, когда наконец загудит паровоз, дрогнут вагоны и поезд двинется в этот очень далекий путь.

Она быстро вышла из дому и вскочила в трамвай.

На вокзале, перебегая из зала в зал, она пристально оглядывала всех окружающих, но Сергея не могла найти нигде.

Отчаявшись, она, наконец, в третий раз остановилась в буфете, не зная, где искать и что думать.

Вдруг, совсем нечаянно, за крайним столиком, за которым негромко разговаривали какие-то отъезжающие военные, она увидала Сергея.

Он был в форме командира инженерных войск, его товарищи — тоже.

Но что поразило Натку — это то, что он был не угрюмый, не молчаливый и вовсе не одинокий.

Слегка наклонившись, он внимательно и серьезно слушал то, что вполголоса ему говорили. Вот он, с чем-то не соглашаясь, покачал головой. А вот улыбнулся, вытер лоб и поправил ремень полевой сумки.

— Сережа!— негромко позвала его Натка.

Он обернулся, сразу же встал, быстро сказал что-то своим товарищам и, крепко обрадованный, пошел ей навстречу

— Ну вот,— сказал он, сжимая ее руку и почему-то виновато улыбаясь.— Ну вот, Наташа, ты видишь теперь, как оно все вышло.

На перроне разговаривали они мало: сбивали гул, шум, гудки, толпа и музыка, провожавшая какую-то делегацию.

Что-то хотелось обоим напоследок вспомнить и сказать, но каждый из них чувствовал, что начинать лучше и не надо.

Но, когда они крепко расцеловались и Сергей уже изнутри вагона подошел к окну, Натке вдруг захотелось напоследок крикнуть ему что-нибудь крепкое и теплое.

Но стекло было толстое, но уже заревел гудок, но слова не подвертывались, и, глядя на него, она только успела совсем по-Алькиному поднять и опустить руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего, кроме них двоих, никто не видел.

И он ее понял и наклонил голову.

Натка вышла на площадь и, не дожидаясь трамвая, потихоньку пошла пешком. Вокруг нее звенела и сверкала Москва. Совсем рядом с ней проносились через площадь глазастые автомобили, тяжелые грузови-

ки, гремящие трамваи, пыльные автобусы, но они не задевали и как будто бы берегли Натку, потому что она шла и думала о самом важном.

А она думала о том, что вот и прошло детство и много дорог открыто.

Летчики летят высокими путями.

Капитаны плывут синими морями.

Плотники заколачивают крепкие гвозди, а у Сергея на ремне сбоку повис наган.

Но она теперь не завидовала никому. Она теперь по-иному понимала холодноватый взгляд Владика, горячие поступки Иоськи и смелые нерусские глаза погибшего Альки.

И она знала, что все на своих местах и она на своем месте тоже. От этого сразу же ей стало спокойно и радостно.

Незаметно для себя она свернула в какой-то совсем незнакомый переулок только потому, что туда прошел с песнею возвращающийся из караула дружный красноармейский взвод.

Мельком заглянула Натка в незавешенное окошко низенького домика и увидала, как старая бабка, нацепив радионаушники, внимательно слушает и отчаянно грозит рукой догадливому малышу, который смело лезет на стол к сахарнице.

Тут Натка услышала тяжелый удар и, завернув за угол, увидала покрытую облаками мутной пыли целую гору обломков только что разрушенной дряхлой часовенки.

Когда тяжелое известковое облако разошлось, позади глухого пустыря засверкал перед Наткой совсем еще новый, удивительно светлый дворец.

У подъезда этого дворца стояли три товарища с винтовками и поджидали веселую девчонку, которая

уже бежала к ним, на скаку подбрасывая большой кожаный мяч.

Натка спросила у них дорогу.

Крупная капля дождя упала ей на лицо, но она не заметила этого и тихонько, улыбаясь, пошла дальше.

Пробегал мимо нее мальчик, заглянул ей в лицо. Рассмеялся и убежал.

1934 г.



ГОЛУБАЯ ЧАШКА



МНЕ ТОГДА было тридцать два года. Марусе двадцать девять, а дочери нашей Светлане шесть с половиной. Только в конце лета я получил отпуск, и на последний теплый месяц мы сняли под Москвой дачу.

Мы со Светланой думали ловить рыбу, купаться, собирать в лесу грибы и орехи. А пришлось сразу подметать двор, подправлять ветхие заборы, протягивать веревки, заколачивать костыли и гвозди.

Нам все это очень скоро надоело, а Маруся одно

за другим все новые да новые дела и себе и нам придумывает.

Только на третий день к вечеру наконец-то все было сделано. И как раз, когда собирались мы втроем идти гулять, пришел к Марусе ее товарищ — полярный летчик.

Они долго сидели в саду, под вишнями. А мы со Светланой ушли во двор к сараю и с досады взялись мастерить деревянную вертушку.

Когда стемнело, Маруся крикнула, чтобы Светлана выпила молока и ложилась спать, а сама пошла проводить летчика до вокзала.

Но мне без Маруси стало скучно, да и Светлана одна в пустом доме спать не захотела.

Мы достали в чулане муку. Заварили ее кипятком — получился клейстер.

Оклеили гладкую вертушку цветной бумагой, хорошенько разгладили ее и через пыльный чердак полезли на крышу.

Вот сидим мы верхом на крыше. И видно нам сверху, как в соседнем саду, у крыльца, дымит трубой самовар. А на крыльце сидит хромой старик с балалайкою, и возле него толпятся ребятишки.

Потом выскочила из черных сеней босоногая сгорбленная старуха. Ребятишек турнула, старика обругала и, схватив тряпку, стала хлопать по конфорке самовара, чтобы он закипел быстрее.

Посмеялись мы и думаем: вот подует ветер, закружится, зажужжит наша быстрая вертушка. Ото всех дворов сбегутся к нашему дому ребятишки. Будет и у нас тогда своя компания.

А завтра что-нибудь еще придумаем.

Может быть, выроем глубокую пещеру для той лягушки, что живет в нашем саду, возле сырого погреба.

Может быть, попросим у Маруси суровых ниток и запустим бумажного змея — выше силосной башни, выше желтых сосен и даже выше того коршуна, который целый день сегодня сторожил с неба хозяйских цыплят и крольчат.

А может быть, завтра с раннего утра сядем в лодку — я на весла, Маруся за руль, Светлана пассажиром — и уплывем по реке туда, где стоит, говорят, большой лес, где растут на берегу две дуплистые березы, под которыми нашла вчера соседская девчонка три хороших белых гриба. Жаль только, что все они были червивые.

Вдруг Светлана потянула меня за рукав и говорит:

— Посмотри-ка, папа, а ведь, кажется, это наша мама идет, и как бы нам с тобой сейчас не попало.

И правда, идет по тропинке вдоль забора наша Маруся, а мы-то думали, что вернется она еще не скоро.

— Наклонись, — сказал я Светлане. — Может быть, она и не заметит.

Но Маруся сразу же нас заметила, подняла голову и крикнула:

— Вы зачем это, негодные люди, на крышу залезли? На дворе уже сыро. Светлане давно спать пора. А вы обрадовались, что меня нет дома, и готовы баловать хоть до полуночи.

— Маруся,— ответил я,— мы не балуем, мы вертушку приколачиваем. Ты погоди немного, нам всего три гвоздя доколотить осталось.

— Завтра доколотите! — приказала Маруся.— А сейчас слезайте, или я совсем рассержусь.

Переглянулись мы со Светланой. Видим, плохо наше дело. Взяли и слезли. Но на Марусю обиделись.

И, хотя Маруся принесла со станции Светлане большое яблоко, а мне пачку табаку,— все равно обиделись.

Так с обидой и уснули.

А утром — еще новое дело! Только что мы проснулись, подходит Маруся и спрашивает:

— Лучше сознавайтесь, озорной народ, что в чулане мою голубую чашку разбили!

А я чашки не разбивал. И Светлана говорит, что не разбивала тоже. Посмотрели мы с ней друг на друга и подумали оба, что уж это на нас Маруся говорит совсем напрасно.

Но Маруся нам не поверила.

— Чашки, — говорит она, — не живые: ног у них нет. На пол они прыгать не умеют. А кроме вас двоих, в чулан никто вчера не лазил. Разбили и не сознаетесь. Стыдно, товарищи!

После завтрака Маруся вдруг собралась и отправилась в город, а мы сели и задумались.

Вот тебе и на лодке поехали!

И солнце к нам в окна заглядывает. И воробьи по песчаным дорожкам скачут. И цыплята сквозь деревянный плетень со двора на улицу и с улицы на двор шмыгают.

А нам совсем не весело.

— Что ж!— говорю я Светлане.— С крыши нас с тобой вчера согнали. Банку из-под керосина у нас недавно отняли. За какую-то голубую чашку напрасно выругали. Разве же это хорошая жизнь?

— Конечно,— говорит Светлана,— жизнь совсем плохая.

— А давай-ка, Светлана, надень ты свое розовое платье. Возьмем мы из-за печки мою походную сумку,

положим туда твое яблоко, мой табак, спички, нож, булку и уйдем из этого дома куда глаза глядят.

Подумала Светлана и спрашивает:

— А куда твои глаза глядят?

— А глядят они, Светлана, через окошко, вот на ту желтую поляну, где пасется хозяйская корова. А за поляной, я знаю, гусиный пруд есть, а за прудом водяная мельница, а за мельницей на горе березовая роща. А что там, за горой, уж этого я и сам не знаю.

— Ладно,— согласилась Светлана,— возьмем и хлеб, и яблоко, и табак, а только захвати ты с собой еще толстую палку, потому что где-то в той стороне живет ужасная собака Полкан. И говорили мне про нее мальчишки, что она одного чуть-чуть до смерти не заела.

Так мы и сделали. Положили в сумку что надо было, закрыли все пять окон, заперли обе двери, а ключ подсунули под крыльцо.

Прощай, Маруся! А чашки твоей мы все равно не разбивали.

Вышли мы за калитку, а навстречу нам молочница.

— Молока надо?

— Нет, бабка! Нам больше ничего не надо.

— У меня молоко свежее, хорошее, от своей коровы,— обиделась молочница.— Вернетесь, та́к пожалеете.

Загромыхала она своими холодными бидонами и пошла дальше. А где ей догадаться, что мы далеко уходим и, может, не вернемся!

Да и никто об этом не догадывался. Прокатил на велосипеде загорелый мальчишка. Прошагал, наверное в лес за грибами, толстый дядька в трусах и с трубкой. Прошла белокурая девица с мокрыми после

купания волосами. А знакомых мы никого не встретили.

Выбрались мы через огороды на желтую от куриной слепоты поляну, сняли сандалии и по теплой тропинке пошли босиком через луг прямо на мельницу.

Идем мы, идем и вот видим, что от мельницы во весь дух мчится нам навстречу какой-то человек. Пригнулся он, а из-за ракитовых кустов летят ему в спину комья земли. Странно нам это показалось. Что такое? У Светланы глаза зоркие, остановилась она и говорит:

— А я знаю, кто это бежит. Это мальчишка, Санька Карякин, который живет возле того дома, где чьи-то свиньи в сад на помидорные грядки залезли. Он вчера еще против нашей дачи на чужой козе верхом катался. Помнишь?

Добежал до нас Санька, остановился и слезы ситцевым кульком вытирает. А мы спрашиваем у него:

— Почему это, Санька, ты во весь дух мчался и почему это за тобой из-за кустов комья летели?

Отвернулся Санька и говорит:

— Меня бабка в колхозную лавку за солью послала. А на мельнице сидит пионер Пашка Букамашкин, и он меня драть хочет.

Посмотрела на него Светлана. Вот так дело!

Разве же есть в Советской стране такой закон, чтобы бежал человек в колхозную лавку за солью, никого не трогал, не задирал и вдруг бы его ни с того ни с сего драть стали?

— Идем с нами, Санька,— говорит Светлана.— Не бойся. Нам по дороге, и мы за тебя заступимся.

Пошли мы втроем сквозь густой ракитник.

— Вот он, Пашка Букамашкин,— сказал Санька и попятился.

Видим мы — стоит мельница. Возле мельницы те-

лега. Под телегой лежит кудластая, вся в репейниках собачонка и, приоткрыв один глаз, смотрит, как шустрые воробьи клюют рассыпанные по песку зерна. А на кучке песка сидит без рубахи Пашка Букамашкин и грызет свежий огурец.

Увидал нас Пашка, но не испугался, а бросил огрызок в собачонку и сказал, ни на кого не глядя:

— Тю!.. Шарик... Тю!.. Вон идет сюда известный фашист, белогвардеец Санька. Погоди, несчастный фашист! Мы с тобою еще разделаемся.

Тут Пашка плюнул далеко в песок. Кудластая собачонка зарычала. Испуганные воробьи с шумом взлетели на дерево. А мы со Светланой, услышав такие слова, подошли к Пашке поближе.

— Постой, Пашка,— сказал я.— Может быть, ты ошибся? Какой же это фашист, белогвардеец? Ведь это просто-напросто Санька Карякин, который живет возле того дома, где чьи-то свиньи в чужой сад на помидорные грядки залезли.

— Все равно белогвардеец, — упрямо повторил Пашка.— А если не верите, то хотите, я расскажу вам всю его историю?

Тут нам со Светланой очень захотелось узнать всю Санькину историю. Мы сели на бревна, Пашка напротив. Кудластая собачонка у наших ног, на траву. Только Санька не сел, а, уйдя за телегу, закричал оттуда сердито:

— Ты тогда уже все рассказывай! И как мне по затылку попало, тоже рассказывай. Думаешь, по затылку не больно? Возьми-ка себе да стукни.

...— Есть в Германии город Дрезден,— спокойно сказал Пашка,— и вот из этого города убежал от фашистов один рабочий, еврей. Убежал и приехал к нам. А с ним девчонка приехала, Берта. Сам он теперь на

этой мельнице работает, а Берта с нами играет. Только сейчас она в деревню за молоком побежала. Так вот, играем мы позавчера в чижа: я, Берта, этот человек, Санька, и еще один из поселка. Берта бьет палкой в чижа и попадает нечаянно этому самому Саньке по затылку, что ли...

— Прямо по макушке стукнула,— сказал Санька из-за телеги.— У меня голова загудела, а она еще смеется.

— Ну вот,— продолжал Пашка, — стукнула она этого Саньку чижом по макушке. Он сначала на нее с кулаками, а потом ничего. Приложил лопух к голове — и опять с нами играет. Только стал он после этого невозможно жулить. Возьмет нашагнет лишний шаг, да и метит чижом прямо в кон.

— Врешь, врешь!— выскочил из-за телеги Санька.— Это твоя собака мордой ткнула, вот он, чиж, и подкатился.

— А ты не с собакой играешь, а с нами. Взял бы да и положил чижа на место. Ну вот. Метнул он чижа, а Берта как хватит палкой, так этот чиж прямо на другой конец поля, в крапиву, перелетел. Нам смешно, а Санька злится. Понятно, бежать ему за чижом в крапиву неохота... Перелез через забор и орет оттуда: «Дура, жидовка! Чтоб ты в свою Германию обратно провалилась!» А Берта дуру по-русски уже хорошо понимает, а жидовку еще не понимает никак. Подходит она ко мне и спрашивает: «Это что такое жидовка?» А мне и сказать совестно. Я кричу: «Замолчи, Санька!» А он нарочно все громче и громче кричит. Я — за ним через забор. Он — в кусты. Так и скрылся. Вернулся я — гляжу: палка валяется на траве, а Берта сидит в углу на бревнах. Я зову: «Берта!» Она не отвечает. Подошел я — вижу, на глазах у нее



Мы сели на бревно, Пашка напротив.

слезы. Значит, сама догадалась. Поднял я тогда с земли камень, сунул в карман и думаю: «Ну погоди, проклятый Санька! Это тебе не Германия. С твоим-то фашизмом мы и сами справимся!»

Посмотрели мы на Саньку и подумали: «Ну, брат, плохая у тебя история. Даже слушать противно. А мы-то еще собирались за тебя заступаться».

И только хотел я это сказать, как вдруг дрогнула и зашумела мельница, закрутилось по воде отдохнувшее колесо. Выскочила из мельничного окна обсыпанная мукой, ошалелая от испуга кошка. Спросонок промахнулась и свалилась прямо на спину задремавшему Шарику. Шарик взвизгнул и подпрыгнул. Кошка метнулась на дерево, воробьи с дерева на крышу. Лошадь вскинула морду и дернула телегу. А из сарая выглянул какой-то лохматый, серый от муки дядька и, не разобравшись, погрозил длинным кнутом отскочившему от телеги Саньке:

— Но, но... смотри не балуй, а то сейчас живо выдеру!

Засмеялась Светлана, и что-то жалко ей стало этого несчастного Саньку, которого все хотят выдрать.

— Папа,— сказала она мне.— А может быть, он вовсе и не такой уж фашист? Может быть, он просто дурак? Ведь правда, Санька, что ты просто дурак?— спросила Светлана и ласково заглянула ему в лицо.

В ответ Санька только сердито фыркнул, замотал головой, засопел и хотел что-то сказать. А что тут скажешь, когда сам кругом виноват и сказать-то, по правде говоря, нечего.

Но тут Пашкина собачонка перестала вдруг тявкать на кошку и, повернувшись к полю, подняла уши.

Где-то за рощей хлопнул выстрел. Другой. И пошло, и пошло!..

— Бой неподалеку!— вскрикнул Пашка.

— Бой неподалеку,— сказал и я.— Это палят из винтовок. А вот слышите? Это застрочил пулемет.

— А кто с кем?— дрогнувшим голосом спросила Светлана.— Разве уже война?

Первым вскочил Пашка. За ним помчалась собачонка. Я подхватил на руки Светлану и тоже побежал к роще.

Не успели мы пробежать полдороги, как услышали позади крик. Мы обернулись и увидели Саньку.

Высоко подняв руки, чтобы мы его скорее заметили, он мчался к нам напрямик через канавы и кочки.

— Ишь ты, как козел скачет!— пробормотал Пашка.— А чем этот дурак над головой размахивает?

— Это не дурак. Это он мои сандалии тащит!— радостно закричала Светлана.— Я их на бревнах позабыла, а он нашел и мне их несет. Ты бы с ним помирился, Пашка!

Пашка насупился и ничего не ответил. Мы подождали Саньку, взяли у него желтые Светланины сандалии. И теперь уже вчетвером, с собакой, прошли через рощу на опушку.

Перед нами раскинулось холмистое, поросшее кустами поле. У ручья, позвякивая жестяными бубенчиками, щипала траву привязанная к колышку коза. А в небе плавно летал одинокий коршун. Вот и все. И больше никого и ничего на этом поле не было.

— Так где же тут война?— нетерпеливо спросила Светлана.

— А сейчас посмотрю,— сказал Пашка и влез на пенек.

Долго стоял он, щурясь от солнца и закрывая гла-

за ладонью. И кто его знает, что он там видел, но только Светлане ждать надоело, и она, путаясь в траве, пошла сама искать войну.

— Мне трава высокая, а я низкая,— приподнимаясь на цыпочках, пожаловалась Светлана.— И я совсем ничего не вижу.

— Смотри под ноги, не задень провод,— раздался сверху громкий голос.

Мигом слетел с пенька Пашка. Неуклюже отскочил в сторону Санька. А Светлана бросилась ко мне и крепко схватила меня за руку.

Мы попятились и тут увидели, что прямо над нами, в густых ветвях одинокого дерева, притаился красноармеец.

Винтовка висела возле него на суку. В одной руке он держал телефонную трубку и, не шевелясь, глядел в блестящий черный бинокль куда-то на край пустынного поля.

Еще не успели мы промолвить слова, как издалека, словно гром с перекатами и перегудами, ударил страшный орудийный залп. Вздрогнула под ногами земля. Далеко от нас поднялась над полем целая туча черной пыли и дыма. Как сумасшедшая, подпрыгнула и сорвалась с мочальной веревки коза. А коршун вильнул в небе и, быстро-быстро махая крыльями, умчался прочь.

— Плохо дело фашистам!— громко сказал Пашка и посмотрел на Саньку.— Вот как бьют наши батареи.

— Плохо дело фашистам, — как эхо, повторил хриплый голос.

И тут мы увидели, что под кустом стоит седой бородатый старик.

У старика были могучие плечи. В руках он держал тяжелую суковатую дубинку, а у его ног стояла высо-

кая лохматая собака и скалила зубы на поджавшего хвост Пашкиного Шарика.

Старик приподнял широченную соломенную шляпу, важно поклонился сначала Светлане, потом уже всем нам. Потом он положил дубинку на траву, достал кривую трубку, набил ее табаком и стал раскуривать.

Он раскуривал долго, то приминая табак пальцем, то ворочая его гвоздем, как кочергой в печке.

Наконец раскурил и тогда так запыхтел и задымил, что сидевший на дереве красноармеец зачихал и кашлянул.

Тут снова загремела батарея, и мы увидели, что пустое и тихое поле разом ожило, зашумело и зашевелилось. Из-за кустарника, из-за бугров, из-за канав, из-за кочек — отовсюду с винтовками наперевес выскакивали красноармейцы.

Они бежали, прыгали, падали, поднимались снова. Они сдвигались, смыкались, их становилось все больше и больше; наконец с громкими криками всей громадой они ринулись в штыки на вершину пологого холма, где еще дымилось облако пыли и дыма.

Потом все стихло. С вершины замахал флагами еле нам заметный и точно игрушечный сигналист. Резко заиграла «отбой» военная труба.

Обламывая тяжелыми сапогами сучья, слез красноармеец-наблюдатель с дерева. Быстро погладил Светлану, сунул ей в руку три блестящих желудя и торопливо убежал, сматывая на катушку тонкий телефонный провод.

Военное учение закончилось.

— Ну, видал?— подталкивая Саньку локтем, укоризненно сказал Пашка.— Это тебе не чижом по затылку. Тут вам быстро пособьют макушки.

— Странные я слышу разговоры,— двигаясь вперед, сказал бородатый старик.— Видно, я шестьдесят лет прожил, а ума не нажил. Ничего мне не понятно. Тут, под горой, наш колхоз «Рассвет». Кругом это наши поля: овес, гречиха, просо, пшеница. Это на реке наша новая мельница. А там, в роще, наша большая пасека. И над всем этим я главный сторож. Видал я жуликов, ловил и конокрадов, но чтобы на моем участке появился хоть один фашист — при советской власти этого еще не бывало ни разу. Подойди ко мне, Санька — грозный человек. Дай я на тебя хоть посмотрю. Да постой, постой, ты только слюни подбери и нос вытри. А то мне и так на тебя взглянуть страшно.

Все это неторопливо сказал насмешливый старик и с любопытством заглянул из-под мохнатых бровей... на вытаращившего глаза, изумленного Саньку.

— Неправда!— шмыгнув носом, завопил оскорбленный Санька.— Я не фашист, а весь советский. А девчонка Берта давно уже не сердится и вчера откусила от моего яблока больше половины. А этот Пашка всех мальчишек на меня натравливает. Сам ругается, а у меня пружину зажулил. Раз я фашист, значит, и пружина фашистская. А он из нее для своей собаки какую-то качалку сделал. Я ему говорю: «Давай, Пашка, помиримся»,— а он говорит: «Сначала отдеру, а потом помиримся».

— Надо без дранья мириться,— убежденно сказала Светлана.—Надо сцепиться мизинцами, поплювать на землю и сказать: «Ссор, ссор никогда, а мир, мир навсегда». Ну, сцепляйтесь! А ты, главный сторож, крикни на свою страшную собаку, и пусть она нашего маленького Шарика не пугает.

— Назад, Полкан!— крикнул сторож.— Ляжь на землю и своих не трогай!

— Ах, вот это кто! Вот он, Полкан-великан, лохматый и зубатый.

Постояла Светлана, покрутилась, подошла поближе и погрозила пальцем:

— И я своя, а своих не трогай!

Поглядел Полкан: глаза у Светланы ясные, руки пахнут травой и цветами. Улыбнулся и вильнул хвостом.

Завидно тогда стало Саньке с Пашкой, подвинулись они и тоже просят:

— И мы свои, а своих не трогай!

Подозрительно потянул Полкан носом: не пахнет ли от хитрых мальчишек морковкой из колхозных огородов? Но тут, как нарочно, вздымая пыль, понесся по тропинке шальной жеребенок. Чихнул Полкан, так и не разобравши. Тронуть — не тронул, но хвостом не вильнул и гладить не позволил.

— Нам пора,— спохватился я.— Солнце высоко, скоро полдень. Ух, как жарко!

— До свидания!— звонко попрощалась со всеми Светлана.— Мы опять уходим далеко.

— До свидания!— дружно ответили уже помирившиеся ребятишки.— Приходите к нам опять издалека.

— До свидания,— улыбнулся глазами сторож.— Я не знаю, куда вы идете и чего ищете, но только знайте: самое плохое для меня далеко — это налево у реки, где стоит наше старое сельское кладбище. А самое хорошее далеко — это направо, через луг, через овраги, где роют камень. Дальше идите перелеском, обогнете болото. Там, над озером, раскинулся большущий сосновый лес. Есть в нем и грибы, и цветы, и малина. Там стоит на берегу дом. В нем живут моя дочь Валентина и ее сын Федор. И если туда попадете, то от меня им поклонитесь.

Тут чудной старик приподнял свою шляпу, свистнул собаку, запыхтел трубкой, оставляя за собой широкую полосу густого дыма, и зашагал к желтому гороховому полю.

Переглянулись мы со Светланой — что нам печальное кладбище! Взялись мы за руки и повернули направо, в самое хорошее далеко.

Перешли мы луга и спустились в овраги.

Видели мы, как из черных глубоких ям тащат люди белый, как сахар, камень. И не один какой-нибудь завалящийся камешек. Навалили уже целую гору. А колеса все крутятся, тачки скрипят. И еще везут. И еще наваливают.

Видно, немало всяких камней под землей запрятано.

Захотелось и Светлане заглянуть под землю. Долго, лежа на животе, смотрела она в черную яму. А когда оттащил я ее за ноги, то рассказала она, что видела сначала только одну темноту. А потом разглядела под землей какое-то черное море, и кто-то там в море шумит и ворочается. Должно быть, рыба акула с двумя хвостами: один хвост спереди, другой — сзади. И еще почудился ей Страшила в триста двадцать пять ног. И с одним золотым глазом. Сидит Страшила и гудит.

Хитро посмотрел я на Светлану и спросил, не видала ли она там заодно пароход с двумя трубами, серую обезьяну на дереве и белого медведя на льдине.

Подумала Светлана, вспомнила. И оказывается, что тоже видала.

Погрозил я ей пальцем: ой, не врет ли? Но она в ответ рассмеялась и со всех ног пустилась бежать.

Шли мы долго, часто останавливались, отдыхали и

рвали цветы. Потом, когда тащить надоедало, оставляли букеты на дороге.

Я один букет бросил старой бабке в телегу. Испугалась сначала бабка, не разобравши, что такое, и погрозила нам кулаком. Но потом увидала, улыбнулась и кинула с воза три больших зеленых огурца.

Огурцы мы подняли, вытерли, положили в сумку и весело пошли своей дорогой.

Встретили мы на пути деревеньку, где живут те, что пашут землю, сеют в поле хлеб, садят картошку, капусту, свеклу или в садах и огородах работают.

Встретили мы за деревней и невысокие зеленые могилы, где лежат те, что свое уже отсеяли и отработали.

Попалось нам дерево, разбитое молнией.

Наткнулись мы на табун лошадей, из которых каждая — хоть самому Буденному.

Увидали мы и попа в длинном черном халате. Посмотрели ему вслед и подивились тому, что остались еще на свете чудаки-люди.

Потом забеспокоились мы, когда потемнело небо. Сбежались отовсюду облака. Окружили они, поймали и закрыли солнце. Но оно упрямо вырывалось то в одну, то в другую дыру. Наконец вырвалось и засверкало над огромной землей еще горячей и ярче.

Далеко позади остался наш серый домик с деревянной крышей.

И Маруся, должно быть, давно уже вернулась. Поглядела — нет. Поискала — не нашла. Сидит и ждет, глупая!

— Папа!— сказала наконец уставшая Светлана.— Давай с тобой где-нибудь сядем и что-нибудь поедим.

Стали искать и нашли мы такую полянку, какая не каждому попадется на свете.

С шумом распахнулись перед нами пышные ветки дикого орешника. Встала острием к небу молодая серебристая елка. И тысячами, ярче, чем флаги в Первое мая — синие, красные, голубые, лиловые,— окружали елку душистые цветы и стояли не шелохнувшись.

Даже птицы не пели над той поляной — так было тихо.

Только серая дура-ворона бухнулась с лету на ветку, огляделась, что не туда попала, каркнула от удивления: «Карр... карр...» — и сейчас же улетела прочь к своим поганым мусорным ямам.

— Садись, Светлана, стереги сумку, а я схожу и наберу в фляжку воды. Да не бойся: здесь живет всего только один зверь — длинноухий заяц.

— Даже тысячи зайцев я и то не боюсь,— смело ответила Светлана,— но ты приходи поскорее все-таки.

Вода оказалась не близко, и, возвращаясь, я уже беспокоился о Светлане.

Но она не испугалась и не плакала, а пела.

Я спрятался за кустом и увидел, что рыжеволосая толстая Светлана стояла перед цветами, которые поднимались ей до плеч, и с воодушевлением распевала такую только что сочиненную песню:

Гей!.. Гей!..
Мы не разбивали голубой чашки.
Нет!.. Нет!..
В поле ходит сторож полей.
Но мы не лезли за морковкой в огород.
И я не лазила, и он не лез.
А Санька один раз в огород лез.
Гей!.. Гей!..
В поле ходит Красная Армия.
(Это она пришла из города.)

Красная Армия — самая красная,
А белая армия — самая белая.
Тру-ру-ру! Тра-та-та!
Это барабанщики,
Это летчики,
Это барабанщики летят на самолетах.
И я, барабанщица... здесь стою.

Молча и торжественно выслушали эту песню высокие цветы и тихо закивали Светлане своими пышными головками.

— Ко мне, барабанщица!—крикнул я, раздвигая кусты.—Есть холодная вода, красные яблоки, белый хлеб и желтые пряники. За хорошую песню ничего не жалко.

Чуть-чуть смутилась Светлана. Укоризненно качнула головой и, совсем как Маруся прищурив глаза, сказала:

— Спрятался и подслушивает. Стыдно, дорогой товарищ!

Вдруг Светлана притихла и задумалась.

А тут еще, пока мы ели, вдруг спустился на ветку серый чиж и что-то такое зачирикал.

Это был смелый чиж. Он сидел прямо напротив нас, подпрыгивал, чирикал и не улетал.

— Это знакомый чиж,— твердо решила Светлана.— Я его видела, когда мы с мамой качались в саду на качелях. Она меня высоко качала. Фють!.. Фють!.. И зачем он к нам прилетел так далеко?

— Нет! Нет!— решительно ответил я.— Это совсем другой чиж. Ты ошиблась, Светлана. У того чижа на хвосте не хватает перьев, которые выдрала ему хозяйкина одноглазая кошка. Тот чиж потолще, и он чирикает совсем не таким голосом.

— Нет, тот самый!— упрямо повторила Светлана.— Я знаю. Это он за нами прилетел так далеко.

— Гей, гей!— печальным басом пропел я.— Но мы не разбивали голубой чашки. И мы решили уйти насовсем далеко.

Сердито чирикнул серый чиж. Ни один цветок из целого миллиона не качнулся и не кивнул головой. И нахмурившаяся Светлана строго сказала:

— У тебя не такой голос. И люди так не поют. А только медведи.

Молча собрались мы. Вышли из рощи. И вот, мне на счастье, засверкала под горой прохладная голубая река.

И тогда я поднял Светлану. И когда она увидала песчаный берег, зеленые острова, то позабыла все на свете и, радостно захлопав в ладоши, закричала:

— Купаться! Купаться! Купаться!

Чтобы сократить путь, мы пошли к речке напрямик через сырые луга.

Вскоре мы оказались перед густыми зарослями болотного кустарника. Возвращаться нам не хотелось, и мы решили как-нибудь пробраться. Но чем дальше мы продвигались, тем крепче стягивалось вокруг нас болото.

Мы кружили по болоту, поворачивали направо, налево, перебирались по хлюпким жердочкам, прыгали с кочки на кочку. Промокли, измазались, но выбраться не могли никак.

А где-то совсем неподалеку за кустами ворочалось и мычало стадо, щелкал кнутом пастух и сердито лаяла почуявшая нас собачонка. Но мы не видели ничего, кроме ржавой болотной воды, гнилого кустарника и осоки.

Уже тревога выступила на веснушчатом лице притихшей Светланки. Чаще и чаще она оборачивалась,

заглядывая мне в лицо с молчаливым упреком: «Что ж это, папка? Ты большой, сильный, а нам совсем плохо!»

— Стой здесь и не сходи с места!— приказал я, поставив Светлану на клочок сухой земли.

Я завернул в чащу, но и в той стороне оказалась только переплетенная жирными болотными цветами зеленая жижа.

Я вернулся и увидел, что Светлана вовсе не стоит, а осторожно, придерживаясь за кусты, пробирается мне навстречу.

— Стой, где поставили!— резко сказал я.

Светлана остановилась. Глаза ее замигали и губы дернулись.

— Что же ты кричишь?— дрогнувшим голосом тихо спросила она.— Я босая, а там лягушки — и мне страшно.

И очень жалко стало мне тогда попавшую из-за меня в беду Светланку.

— На́, возьми палку,— крикнул я,— и бей их, негодных лягушек, по чему попало! Только стой на месте! Сейчас переберемся.

Я опять свернул в чащу и рассердился. Что это? Разве сравнить это поганое болотце с бескрайними камышами широкого Приднепровья или с угрюмыми плавнями Ахтырки, где громили и душили мы когда-то белый врангельский десант!

С кочки на кочку, от куста к кусту. Раз — и по пояс в воду. Два — и захрустела сухая осина. Вслед за осиной полетело в грязь и трухлявое бревно. Тяжело хлюпнулся туда же гнилой пень. Вот и опора. Вот еще одна лужа. И вот он и сухой берег.

И, раздвинув тростник, я очутился возле испуганно подскочившей козы.

— Эге-гей! Светлана!— закричал я.— Ты стоишь?

— Эге-гей!— тихо донесся из чащи жалобный тоненький голос.— Я сто-о-ю!

Мы выбрались к реке. Мы счистили всю грязь и тину, которые облепили нас со всех сторон. Мы выполоскали одежду, и, пока она сохла на раскаленном песке, мы купались.

И все рыбы с ужасом умчались прочь в свою глубокую глубину, когда мы с хохотом взбивали сверкающие пенистые водопады.

И черный усатый рак, которого я вытащил из его подводной страны, ворочая своими круглыми глазами, в страхе забился и запрыгал: должно быть, впервые увидал такое нестерпимо яркое солнце и такую нестерпимо рыжую девчонку. И тогда, изловчившись, он злобно хватил Светлану за палец. С криком отбросила его Светлана в самую середину гусиного стада. Шарахнулись в стороны глупые толстые гусята.

Но подошел сбоку старый серый гусь. Много он видал и пострашней на свете. Скосил он голову, посмотрел одним глазом, клюнул — тут ему, раку, и смерть пришла.

...Но вот мы выкупались, обсохли, оделись и пошли дальше.

И опять нам всякого по пути попадалось немало: и люди, и кони, и телеги, и машины, и даже серый зверь — еж, которого мы прихватили с собой. Да только он скоро наколол нам руки, и мы его столкнули в студеный ручей.

Фыркнул еж и поплыл на другой берег. «Вот,— думает,— безобразники! Поищи-ка теперь отсюда свою нору».

И вышли мы наконец к озеру.

Здесь-то и кончалось самое далекое поле колхоза

«Рассвет», а на том берегу уже расстилались земли «Красной зари».

Тут мы увидели на опушке бревенчатый дом и сразу же догадались, что здесь живет дочь сторожа Валентина и ее сын Федор.

Мы подошли к ограде с той стороны, откуда караулили усадьбу высокие, как солдаты, цветы — подсолнухи.

На крыльце, в саду, стояла сама Валентина. Была она высокая, широкоплечая, как и ее отец, сторож. Ворот голубой кофты был распахнут. В одной руке она держала половую щетку, а в другой — мокрую тряпку.

— Федор!— строго кричала она.—Ты куда, негодник, серую кастрюлю задевал?

— Во-на!— раздался из-под малины важный голос, и белобрысый Федор показал на лужу, где плавала груженная щепками и травой кастрюля.

— А куда, бесстыдник, решето спрятал?

— Во-на!— все так же важно ответил Федор и показал на придавленное камнем решето, под которым что-то ворочалось.

— Вот погоди, атаман!.. Придешь домой, я тебя мокрой тряпкой приглажу,— пригрозила Валентина и, увидав нас, одернула подоткнутую юбку.

— Здравствуйте! — сказал я. — Вам отец шлет поклон.

— Спасибо, — отозвалась Валентина.— Заходите в сад, отдохните.

Мы прошли через калитку и улеглись под спелой яблоней.

Толстый сын Федор был только в одной рубашке, а перепачканные глиной мокрые штаны валялись в траве.

— Я малину ем,— серьезно сообщил нам Федор.— Два куста объел. И еще буду.

— Ешь на здоровье, — пожелал я. — Только смотри, друг, не лопни.

Федор остановился, потыкал себя кулаком в живот, сердито взглянул на меня и, захватив свои штаны, вперевалку пошел к дому.

Долго мы лежали молча. Мне показалось, что Светлана уснула. Я повернулся к ней и увидел, что она вовсе не спит, а, затаив дыхание, смотрит на серебристую бабочку, которая тихонько ползет по рукаву ее розового платья.

И вдруг раздался мощный рокочущий гул, воздух задрожал, и блестящий самолет, как буря, промчался над вершинами тихих яблонь.

Вздрогнула Светлана, вспорхнула бабочка, слетел с забора желтый петух, с криком промелькнула поперек неба испуганная галка — и все стихло.

— Это тот самый летчик пролетел,— с досадой сказала Светлана,— это тот, который приходил к нам вчера.

— Почему же тот?— приподнимая голову, спросил я.— Может быть, это совсем другой.

— Нет, тот самый. Я сама вчера слышала, как он сказал маме, что он улетает завтра далеко и насовсем. Я ела красный помидор, а мама ему ответила: «Ну, прощайте. Счастливый путь»... Папка,— усаживаясь мне на живот, попросила Светлана,— расскажи что-нибудь про маму. Ну, например, как все было, когда меня еще не было.

— Как было? Да все так же и было. Сначала день, потом ночь, потом опять день, и еще ночь...

— И еще тысячу дней! — нетерпеливо перебила

Светлана.— Ну, вот ты и расскажи, что в эти дни было. Сам знаешь, а притворяешься...

— Ладно, расскажу, только ты слезь с меня на траву, а то мне рассказывать тяжело будет. Ну, слушай!..

Было тогда нашей Марусе семнадцать лет. Напали на их городок белые, схватили они Марусиного отца и посадили его в тюрьму. А матери у ней давно уже не было, и осталась наша Маруся совсем одна...

— Что-то ее жалко становится,— подвигаясь поближе, вставила Светлана.— Ну, рассказывай дальше.

— Накинула Маруся платок и выбежала на улицу. А на улице белые солдаты ведут в тюрьму и рабочих и работниц. А буржуи, конечно, белым рады, и всюду в ихних домах горят огни, играет музыка. И некуда нашей Марусе пойти, и некому рассказать ей про свое горе...

— Что-то уже совсем жалко,— нетерпеливо перебила Светлана.— Ты, папка, до красных скорее рассказывай.

— Вышла тогда Маруся за город. Луна светила. Шумел ветер. И раскинулась перед Марусей широкая степь...

— С волками?

— Нет, без волков. Волки тогда от стрельбы все по лесам попрятались. И подумала Маруся: «Убегу я через степь в город Белгород. Там стоит Красная Армия товарища Ворошилова. Он, говорят, очень храбрый. И если попросить, то, может быть, и поможет».

А того не знала глупая Маруся, что не ждет никогда Красная Армия, чтобы ее просили. А сама она мчится на помощь туда, где напали белые. И уже близко от Маруси продвигаются по степи наши красноармейские отряды. И каждая винтовка заряжена

на пять патронов, а каждый пулемет — на двести пятьдесят.

Ехал я тогда по степи с военным дозором. Вдруг мелькнула чья-то тень и сразу — за бугор. «Ага! — думаю.— Стой: белый разведчик. Дальше не уйдешь никуда».

Ударил я коня шпорами. Выскочил за бугор. Гляжу — что за чудо: нет белого разведчика, а стоит под луной какая-то девчонка. Лица не видно, и только волосы по ветру развеваются.

Соскочил я с коня, а наган на всякий случай в руке держу. Подошел и спрашиваю: «Кто ты и зачем в полночь по степи бегаешь?»

А луна вышла бо-ольшая, большущая! Увидала девчонка на моей папахе красноармейскую звезду, обняла меня и заплакала.

Вот тут-то мы с ней, с Марусей, и познакомились.

А под утро из города белых мы выбили. Тюрьмы раскрыли и рабочих выпустили.

Вот лежу я днем в лазарете. Грудь у меня немного прострелена. И плечо болит: когда с коня падал, о камень ударился.

Приходит ко мне мой командир эскадрона и говорит:

«Ну, прощай, уходим мы дальше за белыми. На́ тебе в подарок от товарищей хорошего табаку и бумаги, лежи спокойно и скорее выздоравливай».

Вот и день прошел. Здравствуй, вечер! И грудь болит, и плечо ноет. И на сердце скучно. Скучно, друг Светлана, одному быть, без товарищей!

Вдруг раскрылась дверь, и быстро, бесшумно вошла на носках Маруся! И так я тогда обрадовался, что даже вскрикнул.

А Маруся подошла, села рядом и положила руку на мою совсем горячую голову и говорит:

«Я тебя весь день после боя искала. Больно тебе, милый?»

А я говорю:

«Наплевать, что больно, Маруся. Отчего ты такая бледная?»

«Ты спи,— ответила Маруся.— Спи крепко. Я около тебя все дни буду».

Вот тогда-то мы с Марусей во второй раз встретились и с тех пор уж всегда жили вместе.

— Папка,— взволнованно спросила тогда Светлана.— Это ведь мы не по правде ушли из дома? Ведь она нас любит. Мы только походим, походим и опять придем.

— Откуда ты знаешь, что любит? Может быть, тебя еще любит, а меня уже нет.

— Ой, вре-ешь! — покачала головой Светлана.— Я вчера ночью проснулась, смотрю, мама отложила книгу, повернулась к тебе и долго на тебя смотрит.

— Эко дело, что смотрит! Она и в окошко смотрит, на всех людей смотрит! Есть глаза, вот и смотрит.

— Ой, нет! — убежденно возразила Светлана.— Когда в окошко, то смотрит совсем не так, а вот как...

Тут Светлана вздернула тоненькие брови, склонила набок голову, поджала губы и равнодушно взглянула на проходящего мимо петуха.

— А когда любят, смотрят не так.

Как будто сияние озарило голубые Светланкины глаза, вздрогнули опустившиеся ресницы, и милый задумчивый Марусин взгляд упал мне на лицо.

— Разбойница! — подхватывая Светлану, крикнул я.— А как ты на меня вчера смотрела, когда разлила чернила?

— Ну, тогда ты меня за дверь выгнал, а выгнатые смотрят всегда сердито.

Мы не разбивали голубой чашки. Это, может быть, сама Маруся что-нибудь разбила. Но мы ее простили. Мало ли кто на кого понапрасну плохое подумает? Однажды и Светлана на меня подумала. Да я и сам на Марусю плохое подумал тоже. И я пошел к хозяйке Валентине, чтобы спросить, нет ли нам к дому дороги поближе.

— Сейчас муж на станцию поедет,— сказала Валентина.— Он вас довезет до самой мельницы, а там уже и недалеко.

Возвращаясь в сад, я встретил у крыльца смущенную Светлану.

— Папа,—таинственным шепотом сообщила она,— этот сын Федор вылез из малины и тянет из твоего мешка пряники.

Мы пошли к яблоне, но хитрый сын Федор, увидав нас, поспешно скрылся в гуще подзаборных лопухов.

— Федор! — позвал я.— Иди сюда, не бойся.

Верхушки лопухов закачались, и было ясно, что Федор решительно удаляется прочь.

— Федор! — повторил я.— Иди сюда. Я тебе все пряники отдам.

Лопухи перестали качаться, и вскоре из чащи донеслось тяжелое сопение.

— Я стою,— раздался наконец сердитый голос,— тут без штанов, везде крапива.

Тогда, как великан над лесом, зашагал я через лопухи, достал сурового Федора и высыпал перед ним все остатки из мешка.

Он неторопливо подобрал всё в подол рубашки и, не сказав даже «спасибо», направился в другой конец сада.

— Ишь, какой важный,— неодобрительно заметила Светлана,— снял штаны и ходит как барин!

К дому подкатила запряженная парой телега. На крыльцо вышла Валентина:

— Собирайтесь, кони хорошие — домчат быстро.

Опять показался Федор. Был он теперь в штанах и, быстро шагая, тащил за шиворот хорошенького дымчатого котенка. Должно быть, котенок привык к таким ухваткам, потому что он не вырывался, не мяукал, а только нетерпеливо вертел пушистым хвостом.

— Нá! — сказал Федор и сунул котенка Светлане.

— Насовсем? — обрадовалась Светлана и нерешительно взглянула на меня.

— Берите, берите, если надо,—предложила Валентина.— У нас этого добра много. Федор! А ты зачем пряники в капустные грядки спрятал? Я через окно всё видела.

— Сейчас пойду еще дальше спрячу,— успокоил ее Федор и ушел вперевалку, как важный косолапый медвежонок.

— Весь в деда,— улыбнулась Валентина.— Этакий здоровила. А всего только четыре года.

...Мы ехали широкой ровной дорогой. Наступал вечер. Шли нам навстречу с работы усталые, но веселые люди.

Прогрохотал в гараж колхозный грузовик.

Пропела в поле военная труба.

Звякнул в деревне сигнальный колокол.

Загудел за лесом тяжелый-тяжелый паровоз. Туу!.. Ту!.. Крутитесь, колеса, торопитесь, вагоны, дорога железная, длинная, далекая!

И, крепко прижимая пушистого котенка, под стук телеги счастливая Светлана распевала такую песню:

Чики-чики!
Ходят мыши.
Ходят с хвостами,
Очень злые.
Лезут всюду.
Лезут на полку.
Трах-тарарах!
И летит чашка.
А кто виноват?
Ну, никто не виноват.
Только мыши
Из черных дыр.
— Здравствуйте, мыши!
Мы вернулись.
И что же такое
С собой несем?..
Оно мяукает,
Оно прыгает
И пьет из блюдечка молоко.
Теперь убирайтесь
В черные дыры,
Или оно вас разорвет
На куски,
На десять кусков.
На двадцать кусков,
На сто миллионов
Лохматых кусков.

Возле мельницы мы спрыгнули с телеги.

Слышно было, как за оградой Пашка Букамашкин, Санька, Берта и еще кто-то играли в чижа.

— Ты не жульничай! — кричал Берте возмущен-

ный Санька.— То на меня говорили, а то сами нашагивают.

— Кто-то там опять нашагивает,— объяснила Светлана,— должно быть, сейчас снова поругаются.— И, вздохнув, она добавила: — Такая уж игра!

С волнением приближались мы к дому. Оставалось только завернуть за угол и подняться наверх.

Вдруг мы растерянно переглянулись и остановились.

Ни дырявого забора, ни высокого крыльца еще не было видно, но уже показалась деревянная крыша нашего серого домика, и над ней с веселым жужжанием крутилась наша роскошная сверкающая вертушка.

— Это мамка сама на крышу лазила! — взвизгнула Светлана и рванула меня вперед.

Мы вышли на горку.

Оранжевые лучи вечернего солнца озарили крыльцо. И на нем, в красном платье, без платка и в сандалиях на босу ногу, стояла и улыбалась наша Маруся.

— Смейся, смейся! — разрешила ей подбежавшая Светлана.— Мы тебя все равно уже простили.

Подошел и я, посмотрел Марусе в лицо.

Глаза Маруси были карие, и смотрели они ласково. Видно было, что ждала она нас долго, наконец-то дождалась и теперь крепко рада.

«Нет,— твердо решил я, отбрасывая носком сапога валявшиеся черепки голубой чашки.— Это всё только серые злые мыши. И мы не разбивали. И Маруся ничего не разбивала тоже».

...А потом был вечер. И луна и звезды.

Долго втроем сидели мы в саду под спелой вишней, и Маруся нам рассказывала, где была, что делала и что видела.

А уж Светланкин рассказ затянулся бы, вероятно. до полуночи, если бы Маруся не спохватилась и не погнала ее спать.

— Ну что?! — забирая с собой сонного котенка, спросила меня хитрая Светланка.— А разве теперь у нас жизнь плохая?

Поднялись и мы.

Золотая луна сияла над нашим садом.

Прогремел на север далекий поезд.

Прогудел и скрылся в тучах полуночный летчик.

А жизнь, товарищи... была совсем хорошая!

1935 г.





СУДЬБА БАРАБАНЩИКА



ОГДА-ТО мой отец воевал с белыми, был ранен, бежал из плена, потом по должности командира саперной роты ушел в запас. Мать моя утонула, купаясь на реке Волге, когда мне было восемь лет. От большого горя мы переехали в Москву. И здесь через два года отец женился на красивой девушке Валентине Долгунцовой. Люди говорят, что сначала жили мы скромно и тихо. Небогатую квартиру нашу держала Валентина в чистоте. Одевалась просто. Об отце заботилась и меня не обижала.

Но тут окончились распределители, разные талоны, лебные карточки. Стал народ жить получше, побогаче. Стала чаще и чаще ходить Валентина в кино, то одна, то с провожатыми. Домой возвращалась тогда рассеянная, задумчивая и, что там в кино видела, никогда ни отцу, ни мне не рассказывала.

И как-то вскоре — совсем для нас неожиданно — отца моего назначили директором большого текстильного магазина.

Был на радостях пир. Пришли гости. Пришел старый отцовский товарищ Платон Половцев, а с ним и его дочка Нина, с которой, как только увидались, мы рассмеялись, обнялись, и больше нам за весь вечер ни до кого не было дела.

Стали теперь кое-когда присылать за отцом машину. Чаще и чаще стал он ходить на разные заседания и совещания. Брал с собой раза два он и Валентину на какие-то банкеты. И стала вдруг Валентина злой, раздражительной. Начальников отцовских хвалила, жен их ругала, а крепкого и высокого отца моего называла рохлей и тряпкой.

Много у отца в магазине было сукна, полотна, шелку и разных цветных материй.

Долго в предчувствии грозной беды отец ходил осунувшийся, побледневший. И даже, как узнал я потом, подавал тайком заявление, чтобы его перевели заведовать жестяно-скобяной лавкой.

Как оно там случилось, не знаю, только вскоре зажили мы хорошо и весело.

Пришли к нам плотники, маляры; сняли со стены порыжелый отцовский портрет с кривыми трещинами поперек плеча и шашки, ободрали старые васильковые обои и все перестроили, перекрасили по-новому.

Рухлядь мы распродали старьевщикам или отдали

дворнику, и стало у нас светло, просторно и даже как-то по-необычному пусто.

Но тревога — неясная, непонятная — прочно поселилась с той поры в нашей квартире. То она возникала вместе с неожиданным телефонным звонком, то стучалась в дверь по ночам под видом почтальона или случайно запоздавшего гостя, то пряталась в уголках глаз вернувшегося с работы отца.

И я эту тревогу видел и чувствовал, но мне говорили, что ничего нет, что просто отец устал. А вот придет весна, и мы все втроем поедем на Кавказ—на курорт.

Пришла наконец весна, и отца моего отдали под суд.

Это случилось как раз в тот день, когда возвращался я из школы очень веселый, потому что наконец-то поставили меня старшим барабанщиком нашего четвертого отряда.

И, вбегая к себе во двор, где шумели под теплым солнцем соседские ребятишки, громко отбивал я линейкой по ранцу торжественный марш-поход, когда всей оравой кинулись они мне навстречу, наперебой выкрикивая, что у нас дома был обыск и отца моего забрала милиция и увезла в тюрьму.

Не скрою, что я долго плакал. Валентина ласково утешала меня и терпеливо учила, что́ я должен буду отвечать, если меня спросит судья или следователь.

Однако никто и ни о чем меня не спрашивал. Всё там быстро разобрали сами и отца приговорили к пяти годам, за растрату.

Я узнал об этом уже перед сном, лежа в постели. Я забрался с головой под одеяло. Через потертую ткань слабо, как звездочки, мерцали желтые искры света.

За дверью ванной плескалась вода. Набухшие от слез глаза смыкались, и мне казалось, что я уплываю куда-то очень далеко.

«Прощай! — думал я об отце.— Сейчас мне двенадцать, через пять — будет семнадцать, детство пройдет, и в мальчишеские годы мы с тобой больше не встретимся.

Помнишь, как в глухом лесу звонко и печально куковала кукушка и ты научил меня находить в небе голубую Полярную звезду? А потом мы шагали на огонек в поле и дружно распевали твои простые солдатские песни.

Помнишь, как из окна вагона ты показал мне однажды пустую поляну в желтых одуванчиках, стог сена, шалаш, бугор, березу? А на этой березе,— сказал ты,— сидела тогда птица ворон и каркала отрывисто: карр... карр! И вашего народу много полегло на той поляне. И ты лежал вон там, чуть правей бугра,— в серой полыни, где бродит сейчас пятнистый бычок-теленок и мычит: муу-муу! Должно быть, заблудился, толстый дурак, и теперь боится, что выйдут из лесу и сожрут его волки.

Прощай! — засыпал я.— Бьют барабаны марш-поход. Каждому отряду своя дорога, свой позор и своя слава. Вот мы и разошлись. Топот смолк, и в поле пусто».

Так в полудреме прощался я с отцом горько и крепко, потому что все же я его любил, потому что — зачем врать? — был он мне старшим другом, частенько выручал из беды и пел хорошие песни, от которых земля казалась до грусти широкой, а на этой земле мы были людьми самыми дружными и счастливыми.

Утром я проснулся и пошел в школу. И, когда те-

перь меня спрашивали, что с отцом, я отвечал, что сидит за обман и за воровство. Отвечал сухо, прямо, без слез. Потому что два раза подряд искренне с человеком прощаться нельзя!

Отец работал сначала где-то в лагере под Вологдой, на лесозаготовках. Писал часто Валентине письма и, видать, по ней крепко скучал. Потом вдруг он надолго замолк. И только чуть ли не через три месяца прислал — но не ей уже, а мне — открытку; откуда-то с дальнего Севера, из города Сороки. В ней он писал, что его как сапера перевели на канал. И там их бригада взрывает землю, камни и скалы.

Два года пронеслись быстро и бестолково.

Весной, на третий год, Валентина вышла замуж за инструктора Осоавиахима, кажется по фамилии Лобачов. А так как квартиры у него не было, то вместе со своей полевой сумкой и небольшим чемоданом он переехал к нам.

В июне Валентина оставила мне на месяц сто пятьдесят рублей и укатила с мужем на Кавказ.

Вернувшись с вокзала, я долго слонялся из угла в угол. И когда от ветра хлопнула оконная форточка и я услышал, как на кухне котенок наш осторожно лакает оставленное среди неприбранной посуды молоко, то понял, что теперь в квартире я остался совсем один.

Я стоял задумавшись, когда через окно меня окликнул наш дворник, дядя Николай. Он сказал, что всего час тому назад заходил вожатый нашего отряда Павел Барышев. Он очень досадовал, что Валентина так поспешно уехала, и сказал, что завтра зайдет снова.

Ночь я спал плохо. Снились мне телеграфные стол-

бы, галки, вороны. Все это шумело, галдело, кричало. Наконец ударил барабан, и вся эта прорва с воем и свистом взметнулась к небу и улетела. Стало тихо. Я проснулся.

Наступило солнечное утро. То самое, с которого жизнь моя круто повернула в сторону. И увела бы, вероятно, кто знает куда, если бы... если бы отец не показывал мне желтые поляны в одуванчиках да если бы не пел мне хорошие солдатские песни, те, что и до сих пор жгут мне сердце. И весело мне от них и хорошо. А иной раз и рад бы немножко заплакать, да как-то стыдно, если не с чего.

Первым делом я поставил на примус чайник, потом позвонил в соседний корпус к Юрке Ковякину, которому целый месяц я был должен рубль двадцать копеек; и мне передавали мальчишки, что он уже собирается бить меня смертным боем.

Юрка был на два года старше меня, он носил значок ворошиловского стрелка, но был прохвост и выжига. Он бросил школу, а всем врал, что заочно готовится на курсы летчиков.

Он вошел вразвалочку, быстро оглядывая стены. Просунув голову на кухню, чего-то понюхал, подошел к столу, сбросил со стула котенка и сел.

— Уехала Валентина? — спросил Юрка.— Та-ак! Значит, ясно: оставила она тебе денег, и ты хочешь со мной расплатиться. Честность люблю. За тобой рубль двадцать — брал на кино — и семь гривен за эскимо — мороженое: итого рубль девяносто, для ровного счета — два.

— Юрка,— возразил я,— никакого эскимо я не ел. Это вы ели, а я прямо пошел в темноте и сел на место.

— Ну вот! — поморщился Юрка.— Я купил на всех шесть штук. Я сидел с краю. Одно взял себе, остальные пять вам передал. Очень хорошо помню: как раз Чарли Чаплин летит в воду, все орут, гогочут, а я сую вам мороженое. Да ты, поди, может, увлекся— не заметил, как и проскочило?

— Нет, Юрка, я не увлекся, и ничего никуда не проскакивало. Я тебе семь гривен отдам. Но, наверное, или ты врешь, или его в темноте кто-нибудь от меня зажулил!

— Конечно, отдай! — похвалил Юрка.— Вы ели, а я за вас страдать должен! Да ты помнишь, как Чарли Чаплин летит в воду?

— Помню.

— А помнишь, как только он вылез, веревка дернула — и он опять в воду?

— И это помню.

— Ну, вот видишь! Сам все помнишь, а говоришь: не ел. Нехорошо, брат! Денег тебе Валентина много ли оставила? Небось пожадничала?

— Зачем «пожадничала»! Полтораста рублей оставила,— ответил я и, тотчас же спохватившись, объяснил: — Это на целый месяц оставила. Ты думал — на неделю? А тут еще на керосин, за белье прачке.

— Ну и дурак! — добродушно сказал Юрка.— Этакие деньги да чтобы проесть начисто!

Он удивленно посмотрел на меня и рассмеялся.

— А сколько же надо? — недоверчиво, но с любопытством спросил я, потому что меня и самого уже занимала мысль: «Нельзя ли из оставленных денег сколько-нибудь выгадать?»

— А сколько?.. Подай-ка мне счеты. Я тебе сейчас, как бухгалтер... точно! Полкило хлеба на день—раз— это, значит, тридцать раз. Чай есть. Кило сахару на

месяц — обопьешься. Вот крупа, картошка — пустяки дело! Ну, тут масло, мясо. Молоко на два дня кружку. Итого пятьдесят семь рублей, копейки сбросим. Ну ладно, ладно! Не хмурься. Кладу тебе конфет, печенья. Значит, шестьдесят три, керосин—два... Прачке сколько? Десять? Вот они куда идут, денежки! Итого... Итого — живи, как банкир,— семьдесят пять целковых!.. А остальные? Ты, друг, купил бы фотоаппарат у Витьки Чеснокова. Шесть на девять, а светосила!.. Под кровать залезь, и то снимать можно. Он и возьмет недорого. Хочешь, пойдем сейчас и посмотрим?

— Нет, Юрка! — испугался я.— Я лучше не сейчас, а потом... Я еще подумаю.

— Ну подумай! — согласился Юрка.— На то и голова, чтобы думать. Два-то рубля давай... Эх, брат, у тебя все пятерками, а у меня нет сдачи... Ну, потерплю, ладно! А после обеда я забегу снова. Разменяешь и отдашь.

Мне вовсе не хотелось, чтобы Юрка забегал ко мне снова, и я предложил ему спуститься вниз, до магазина вместе. Но Юрка ловко надел свою похожую на блин кепку и нетерпеливо замотал головой:

— И не проси. Некогда! Сижу долблю. Элероны, лонжероны, вибрация, деривация... Самолет—не трамвай. Чуть не дотянул — и пошел в штопор, чуть перетянул — еще что-нибудь похуже. То ли ваше дело — пехота!

Он презрительно скривил губы, небрежно приложил руку к козырьку и ушел. Через минуту в окно я видел, как толстый и седой дворник наш, дядя Николай, со всех ног мчится за Юркой, безуспешно пытаясь огреть его длинной метлой по шее.

...Напившись чаю, я принялся составлять план дальнейшей своей жизни. Я решил записаться в биб-

лиотеку и брать книги. Кроме того, у меня были хвосты по географии и по математике.

Прибирая комнаты, я неожиданно обнаружил, что правый верхний ящик письменного стола заперт. Это меня удивило, так как я думал, что ключи от этого стола были давным-давно потеряны. Да и запирать-то там было нечего. Лежали там цветные лоскутья, пара телефонных наушников, наконечник от велосипедного насоса, костяной вязальный крючок, неполная колода карт и клубок шерстяных ниток.

Я потрогал ящик: не зацепился ли изнутри? Нет, не зацепился.

Я выдвинул соседний ящик и удивился еще более. Здесь лежали залоговая квитанция и облигации займа, десяток лотерейных билетов Осоавиахима, полфлакона духов, сломанная брошка и хрупкая шкатулочка из кости, где у Валентины хранились разные забавные безделушки.

И все это заперто от меня не было.

От чрезмерного любопытства и бесплодных догадок у меня испортилось настроение.

Я вышел во двор. Но большинство знакомых ребят уже разъехались по дачам. Вздымая белую пыль, каменщики проламывали подвальную стену. Все кругом было изрыто ямами, завалено кирпичом, досками и бревнами. К тому же с окон и балконов жильцы вывесили зимнюю одежду, и повсюду тошнотворно пахло нафталином.

Обед готовить мне было лень. Я купил в магазине булку с изюмом, бутылку ситро, кусок колбасы, кружку молока, селедку и сто граммов мороженого.

Пришел, съел и затосковал еще больше. И стало мне обидно, что не взяла меня с собой на Кавказ Валентина. Был бы отец — он взял бы!

Помню, как посадит он меня, бывало, за весла и плывем мы с ним вечером по реке.

— Папа! — попросил как-то я.— Спой еще какую-нибудь солдатскую песню.

— Хорошо,— сказал он.— Положи весла.

Он зачерпнул пригоршней воды, выпил, вытер руки о колени и запел:

Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

— Папа! — сказал я, когда последний отзвук его голоса тихо замер над прекрасной рекой Истрой.— Это хорошая песня, но ведь это же не солдатская.

Он нахмурился:

— Как не солдатская? Ну, вот: это горы. Сумерки. Идет отряд. Он устал, идти трудно. За плечами выкладка шестьдесят фунтов... винтовка, патроны. А на перевале белые. «Погодите,— говорит командир,— еще немного, дойдем, собьем... тогда и отдохнем... Кто до утра, а кто и навеки...» Как не солдатская? Очень даже солдатская!

«Отец был хороший,— подумал я.— Он носил высокие сапоги, серую рубашку, он сам колол дрова, ел за обедом гречневую кашу и даже зимой распахивал окно, когда мимо нашего дома с песнями проходила Красная Армия».

Но как же, однако, все случилось? Вот соседи говорят, что «довела любовь», а хмельной водопроводчик Микешкин — тот, что всегда дарит ребятишкам под-

солнухи и ириски,— однажды остановился у нашего окошка, возле которого сидела Валентина, растянул гармошку и на весь двор заорал песню о том, как одни черные очи «изгубили» одного хорошего молодца.

Быстро вскочила тогда Валентина. Гневно плюнула, отошла от окна, меня отдернула прочь и, скривя губы, пробормотала:

— Тоже... певец! Пьянчужка. Я вот пожалуюсь на него управдому.

Однако жаловаться управдому на Микешкина было бесполезно. Во-первых, жаловались на него уже сто раз. Во-вторых, пьяный он никого не задевал, а только вопил песни. А в-третьих, в нашем доме жильцы часто без разбора валили и в раковины и в уборные всякий мусор, из-за чего было много скандалов. А Микешкин всегда безропотно ходил, чинил и чистил, в то время как всякий другой водопроводчик давно бы на его месте плюнул.

«Любовь! — думал я.— Но ведь любви и кругом нашего дома немало. Вот напротив, возле шахты метро, стоят часовые, и у них, может быть, тоже есть какая-нибудь красивая. А вон в общежитии живут летчики, и у них, наверное, есть тоже. Однако же от любви ихней винтовки не ржавеют, самолеты с неба не падают, а все идет своим чередом, как надо».

Оттого ли, что я долго лежал и думал, оттого ли, что я объелся колбасы и селедки, у меня заболела голова и пересохли губы. И на этот раз я уже сам обрадовался, когда звякнул звонок и ко мне ввалился Юрка. В одну минуту мы вылетели на улицу. Дальше все пошло колесом. В этот же день я купил у монтера Витьки Чеснокова за семьдесят пять рублей фотоаппарат. И в этот же день к вечеру на Пушкинской площади Юрка подвел меня к трем задумчивым молод-

цам, которые терпеливо рассматривали рекламную витрину кино.

— Знакомься,— сказал Юрка, подталкивая меня к мальчишкам.— Это Женя, Петя и Володя, из восемнадцатой школы. Огонь-ребята, и все, как на подбор, отличники.

«Огонь-ребята» и «отличники» — Женя, Петя и Володя,— как по команде, повернулись в мою сторону, внимательно оглядели меня, и, кажется, я им чем-то не понравился.

— Он парень хороший,— отрекомендовал меня Юрка.— Мы с ним заодно, как братья. Отец в тюрьме, а мачеха на Кавказе.

«Огонь-ребята» молча поклонились мне, а я чуть покраснел: «Мог бы, дурак, про отца помолчать,— хорош гусь, скажут товарищи».

Однако новые товарищи ничего не сказали, и, посовещавшись, мы все впятером пошли в кино.

Вернувшись домой, я узнал от дворника, дяди Николая, что опять заходил вожатый Павел Барышев и крепко-накрепко наказывал, чтобы я завтра же зашел к нему на квартиру, так как у него ко мне есть дело.

Однако на следующий день к Барышеву я не зашел.

Утром меня поджидал первый удар.

Наскоро позавтракав, я помчался с фотоаппаратом покупать в магазин пластинки. И там мне сказали, что хотя аппарат и исправный, но это не шесть на девять, марка старая, и пластинок такого размера в продаже нет и не бывает. Взбешенный, я помчался разыскивать Юрку. Но его ни у себя дома, ни во дворе не было, а попался он мне на глаза только к вечеру, когда, усталый и обессиленный от поисков и расспросов, я уже с трудом ворочал языком.

— Экая беда! — пожалел меня Юрка.— Так-таки говорят, что нет и не бывает?

— Так-таки нет и не бывает! — с отчаянием повторил я.— Да что ты притворяешься, Юрка? Ты все и сам знал раньше.

— Ну вот, знал! Что я, фотограф, что ли? Кабы ты меня про аэроплан спросил — это другое дело: фюзеляж, пропеллер, хвостовое управление... Дернул ручку на себя — он вверх пошел, двинул вперед — он книзу. А фотографы — это для меня не люди... а тьфу! То ли дело летчики!..

— Юрка,— попросил я,— давай пойдем к Витьке Чеснокову, пусть он тогда забирает аппарат, а деньги отдаст обратно!

— Что ты! Что ты! — удивился Юрка.— Да у него и денег-то давно уж нет! За тридцатку он вчера купил балалайку, сколько-то отдал жене, сколько-то теще. Ну, может быть, какая-нибудь пятерка осталась. Нет, брат, ты уж лучше терпи.

Горе мое было так велико, что я едва удержался от того, чтобы не брякнуть фотоаппарат о камни. Юрка заметил это и надо мной сжалился.

— Друг я тебе или нет? — воскликнул он, ударяя себя кепкой о колено.

— Конечно, нет... то есть, конечно, друг... И тогда... что мы делать будем?

— А коли друг, так пойдем со мной! Я тебя из беды выручу.

Мы прошли с ним через два квартала в мастерскую, в которой Юрка, надо думать, бывал не раз, и здесь, едва глянув на мой (очевидно, уже им знакомый) фотоаппарат, мне сказали, что можно переделать на шесть и девять. Цена — сорок рублей, задаток — десять.

— Выкладывай,— торжествующе сказал Юрка.— То-то вас, дураков, учи да учи, а спасиба и не дождешься!

— Юрка,— спросил я,— а где же я потом возьму остальную тридцатку?

— Наберешь! Наскребешь понемножку, а нет, так я за тебя аппарат выкуплю. Себе возьму, а ты накопишь денег, мне отдашь,— он тогда, аппарат, опять твой будет!

С тяжелым сердцем заплатил я десять рублей и понуро побрел к дому.

— Не скучай,— посоветовал мне на прощание Юрка.— Ты по вечерам садись на шестой или на метро и кати чуть что в Сокольники — там мы гуляем весело.

Дома в ящике для почты я нашел от Барышева записку. В ней он ругал меня за то, что я не зашел, и наказывал, чтобы я немедленно сообщил адрес Валентины начальнику подмосковного пионерского лагеря, куда они хотят позвать меня, чтобы я там побыл до Валентининого приезда.

Я, конечно, обрадовался, но... то не было чернил, то конверта, и адрес я послал только дня через четыре.

А тут беда пришла новая.

Как там на счетах прикидывал Юрка: кило да полкило — это его дело, но деньги, которых и так осталось мало, таяли с быстротой, совсем непонятной.

С утра начинал я экономить. Пил жидкий чай, съедал только одну булочку и жадничал на каждом куске сахару. Но зато к обеду, подгоняемый голодом, накупал я наспех совсем не то, что было надо. Спешил, торопился, проливал, портил. Потом от страха, что много истратил, ел без аппетита, и наконец, злой, полуголодный, махнув на все рукой, мчался покупать мороженое. А потом в тоске слонялся без дела, ожидая

наступления вечера, чтобы умчаться на метро в Сокольники.

Странная образовалась вокруг меня компания. Как мы веселились? Мы не играли, не бегали, не танцевали. Мы переходили от толпы к толпе, чуть задевая прохожих, чуть толкая, чуть подсмеиваясь. И всегда у меня было ощущение: то ли мы за кем-то следим, то ли мы что-то непонятное ищем.

Вот «огонь-ребята» улыбнулись, переглянулись. Молчок, кивок, разошлись, а вот и опять сошлись. Был во всех их поступках и движениях непонятный ритм и смысл, до которого я тогда не доискивался. А доискаться, как теперь я вижу, было совсем и не трудно.

Иногда к нам подходили взрослые. Одного, высокого, с крючковатым облупленным носом, я запомнил. Отойдя в сторонку, Юрка отвечал ему что-то коротко, быстро и мял руками свою клетчатую кепку. Возвращаясь к нашей компании, он вытер платком взмокший лоб, из чего я заключил, что этого носатого даже сам Юрка побаивался.

Я спросил у Юрки:

— Кто это?

— Это артист,— объяснил мне Юрка.— Он двоюродный брат Шаляпина и женат на дочери начальника милиции, которая мне приходится теткой. Во время пожара он потерял голос, но ему выхлопотали пенсию, чтобы он приходил сюда пить нарзан и успокаивать свои нервы.

Я посмотрел на Юрку: не смеется ли? Но он смотрел мне в глаза прямо, почти строго и совсем не смеялся.

В тот же вечер, попозже, меня угостили пивом. Стало весело. Я смеялся, и все кругом смеялись тоже. Подсел носатый человек и стал со мной разговаривать.

Он расспрашивал меня про мою жизнь, про отца, про Валентину. Что молол я ему — не помню. И как я попал домой — не помню тоже.

Очнулся я уже у себя в кровати. Была ночь. Свет от огромного фонаря, что стоял у нас во дворе, против метростроевской шахты, бил мне прямо в глаза. Пошатываясь, я встал, подошел к крану, напился, задернул штору, лег, посадил к себе под одеяло котенка и закрыл глаза.

И опять, как когда-то раньше, непонятная тревога впорхнула в комнату, легко зашуршала крыльями, осторожно присела у моего изголовья и, в тон маятнику от часов, стала меня баюкать:

Ай-ай!
Ти-ше!
Слы-шишь?
Ти-ше!

А котенок урчал на моей груди: мур... мур... иногда замолкая и, должно быть, прислушиваясь к тому, как что-то скребется у меня на сердце.

Денег у меня оставалось всего двадцать рублей. Я проклинал себя за свою лень — за то, что я не вовремя отправил в лагерь кавказский адрес Валентины и теперь, конечно, ее ответ придет еще не скоро. Как я буду жить — этого я не знал. Но с сегодняшнего же дня я решил жить по-иному.

С утра взялся я за уборку квартиры. Мыл посуду, выносил мусор, вычистил и вздумал было прогладить свою рубаху, но сжег воротник, начадил и, откашливаясь и чертыхаясь, сунул утюг в печку.

Днем за работой я крепился. Но вечером меня снова потянуло в Сокольники. Я ходил по пустым комна-

там и пел песни. Ложился, вставал, пробовал играть с котенком и в страхе чувствовал, что дома мне сегодня все равно не усидеть. Наконец я сдался. «Ладно,— подумал я,— но это будет уже в последний раз».

Точно кто-то за мной гнался, выскочил я из дому и добежал до метро. Поезда только что прошли в обе стороны, и на платформах никого не было.

Из темных тоннелей дул прохладный ветерок. Далеко под землей тихо что-то гудело и постукивало. Красный глаз светофора глядел на меня не мигая, тревожно.

И опять я заколебался.

Ай-ай!
Ти-ше!
Слы-шишь?
Ти-ше!

Вдруг пустынные платформы ожили, зашумели. Внезапно возникли люди. Они шли, торопились. Их было много, но становилось все больше—целые толпы, сотни... Отражаясь на блестящих мраморных стенах, замелькали их быстрые тени, а под высокими светлыми куполами зашумело, загремело разноголосое эхо.

И тут я понял, что этот народ едет веселиться в Парк культуры, где сегодня открывается блестящий карнавал. Тогда я обернулся, перебежал на другую платформу и вскочил в поезд, который шел в противоположную от Сокольников сторону.

Я подошел к кассе. Оказывается, без масок в парк никого не впускали. Сзади напирала очередь, и раздумывать было некогда. Я заплатил два рубля за маску, два за вход и, пройдя через контроль, смешался с веселой толпой.

Бродил я долго. Музыка играла все громче и гром-

че. Было еще светло, и с берега пускали разноцветные дымовые ракеты. Пахло водой, смолой, порохом и цветами. Какие-то монахи, рыцари, орлы, стрекозы, бабочки со смехом проносились мимо, не задевая меня и со мной не заговаривая.

В своей дешевенькой полумаске из пахнувшего клеем картона я стоял под деревом, одинокий, угрюмый, и уже сожалел о том, что затесался в это веселое, шумливое сборище.

Вдруг — вся в черном и в золотых звездах — вылетела из-за сиреневого куста девчонка. Не заметив меня, она быстро наклонилась, поправляя резинку высокого чулка; полумаска соскользнула ей на губы. И сердце мое сжалось, потому что это была Нина Половцева.

Она обрадовалась, схватила меня за руки и заговорила:

— Ах, какое Сереженька, горе! Ты знаешь, я потерялась. Где-то тут сестра Зинаида, подруги, мальчишки... Я подошла к киоску выпить воды. Вдруг — трах! бабах! — труба... пальба... Бегут какие-то солдаты — все в стороны, все смешалось; я туда, я сюда, а наших нет и нет... Ты почему один? Ты тоже потерялся?

— Нет, я не потерялся,— мне никого не надо. Но ты не бойся, мы обыщем весь парк, и мы их найдем. Постой,— помолчав немного, попросил я,— не надевай маску. Дай-ка я на тебя посмотрю, ведь мы с тобой давно уже не виделись.

Было, очевидно, в моем лице что-то такое, от чего Нина разом притихла и смутилась. Прекрасны были ее виноватые глаза, которые глядели на меня прямо и открыто.

Я крепко пожал ее руку, рассмеялся и потащил ее за собой.

...Мы обшарили почти весь сад. Мы взбирались на цветущие холмы, спускались в зеленые овраги, бродили меж густых деревьев и натыкались на старинные замки. Не раз встречались на нашем пути веселые пастухи, отважные охотники и мрачные разбойники. Не раз попадались нам навстречу добрые звери и злобные страшилы и чудовища.

Маленький черный дракон, широко оскалив зубастую пасть, со свистом запустил мне еловой шишкой в спину. Но, погрозив кулаком, я громко пообещал набить ему морду, и с противным шипением он скрылся в кустах, должно быть выжидать появления другой, более трусливой жертвы.

Но мы не нашли тех, кого искали, вероятно потому, что тот волшебный дух, который вселился в меня в этот вечер, нарочно водил нас как раз не туда, куда было надо. И я об этом догадывался и тихонько над этим смеялся.

Наконец мы устали, присели отдохнуть, и тут опечаленная Нина созналась, что она хочет есть, пить, а все деньги остались у старшей сестры Зинаиды. Я счастливо улыбнулся и, позабыв все на свете, выхватил из кармана бумажник.

— Деньги! А это что — не деньги?

Мы ужинали, я покупал кофе, конфеты, печенье, мороженое.

За маленьким столиком под кустом акации мы шутили, смеялись и даже осторожно вспоминали старину: когда мы были так крепко дружны, писали друг другу письма и бегали однажды тайком в кино.

— Сережа,— с тревогой заметила Нина,— ты, я вижу, что-то очень много тратишь.

— Пустое, Нина! Я рад. Постой-ка, я куплю вот это...

Отражая бесчисленные огни, сверкая и вздрагивая, подплыла к нашему столику огромная связка разноцветных шаров. Я выбрал Нине голубой, себе — красный, и мы вышли на площадку. Да и все повскакали, ожидая пуска фейерверка.

Крепко держась за руки, мы шли по аллее. Легкие упругие шары болтались и хлопали над головами.

Вдруг свет погас, померкли луна и звезды, потому что ударил залп и тысяча стремительных ракет умчалась и затанцевала в небе.

— Когда я буду большая,— задумчиво сказала Нина,— я тоже что-нибудь такое сделаю.

— Какое?

— Не знаю! Может быть, куда-нибудь полечу. Или, может быть, будет война. Смотри, Сережа, огонь! Ты будешь командиром батареи. Ого! Тогда берегитесь... Смотри, Сережа! Огонь... огонь... и еще огонь!

— Что ты бормочешь, глупая! — засмеялся я.— Ну хорошо, я буду командиром батареи, а потом я буду тяжело ранен...

— Но ты же выздоровеешь,— уверенно подсказала Нина.

— Ну хорошо, а потом?

— А потом? — Нина улыбнулась.— А потом... потом... Посмотри, Сережа, наши шары над головой запутались.

Я вынул нож, обрезал концы бечевок и взял оба шара в руки.

— Гляди, Нина: голубой шар — это ты, красный — это я. Раз, два... полетели!..

Шары вздрогнули и рванулись к огненному небу.

— Не жалей,— сказал я,— им там хорошо будет. Смотри, Нина, ты летишь, а я тебя догоняю. Вот догнал!

— Но ты сейчас зацепишься за антенну! Правей лети, глупый, правее! Сережа! Почему это я лечу прямо, а ты все крутишься да крутишься?

— Ничего не кручусь. Это ты сама вертишься и все куда-то от меня вбок да вбок. Вот погоди, нарвешься на ракету и сгоришь. Ага, испугалась?!

Небо еще раз ослепительно вспыхнуло, и нам хорошо было видно, как два наших шарика дружно мчались в заоблачную высь...

Ракеты погасли. Стало темно. Потом зажглись огни фонарей, и при их свете мы увидали совсем неподалеку от нас сестру Нины Зинаиду и всю их компанию.

Пора было расставаться.

— Нина,— спросил я медленно и обдумывая каждое слово,— можно, я изредка буду тебе звонить?

— Звони! — сказала она.— Дай карандаш, я запишу тебе наш телефон. У нас теперь новый.

Я дал.

— Нина,— спросил я,— а если подойдет к телефону твой отец и спросит, кто звонит? То сказать как?

— Так и скажи, что ты звонишь.

Она подумала и уже твердо добавила:

— Да, да, так и скажи! Отец Валентину не любит, но о тебе он всегда спрашивает.

Вот она попрощалась, побежала к сестре, и, по-видимому, между ними сейчас же вспыхнул спор: кто от кого потерялся. Потом, обнявшись, они пошли по аллее к выходу.

Сверкнули еще раз золотые звездочки на ее черном платье, и она исчезла.

Ей тогда было тринадцать — четырнадцатый, и она училась в шестом классе двадцать четвертой школы.

Ее отец, Платон Половцев, инженер, был старым другом моего отца.

Когда отца арестовали, он сначала не хотел этому верить. Звонил нам по телефону и обнадеживал, что все это, наверное, ошибка.

Когда же выяснилось, что никакой ошибки нет, он помрачнел, снял, говорят, со своего стола фотографию, где, опираясь на эфесы сабель, стояли они с отцом возле развалин какого-то польского замка, и что-то перестал к нам звонить и ходить с Ниной в гости. Да, он не любил Валентину. И он осуждал отца. Я не сержусь на него. Он прямой, высокий, с потертым орденом на полувоенном френче.

Слава его скромна и высока.

Он дорожит своим честным именем, которое пронес через нужду, войны, революцию...

И на что ему была нужна дружба с ворами!

...Во дворе мне сказали, что прачка приходила два раза. Белье оставила у дворника, дяди Николая, а за деньгами (пятнадцать рублей) придет завтра после обеда.

Я хотел поставить чайник — керосину не было. Хлеба тоже, денег тоже. Но мне на все наплевать было в этот вечер. Я бухнулся в постель и, не раздеваясь, заснул крепко.

Утром как будто кто-то подошел и сильно тряхнул мою кровать. Я вскочил — никого не было. Это будила меня моя беда. Нужно было где-то доставать денег. Но где? Что я, рабочий, служащий или хотя бы дворник, как дядя Николай, который, глядишь, тому дров наколол, тому ведро вынес, тому ковер вытряхнул?..

Однако, зажмурив глаза, я упорно твердил только одно: «Достать, достать... все равно достать!»

Надо было выкупить фотоаппарат, продать его тут

же рядом в скупочный магазин, отдать деньги прачке, а на остаток начинать жить по-новому.

Но где взять тридцать рублей на выкуп?

И сразу же: «А что же такое, если не деньги, лежит в запертом ящике письменного стола?»

Конечно, догадливая Валентина не все взяла с собой на Кавказ, а, наверное, часть оставила дома, для того чтобы осталось на первые расходы по возвращении. Тогда будет все хорошо. Тогда я подберу ключ, выкуплю аппарат, продам его, отдам деньги прачке, тридцатку положу обратно в ящик, а на остаток буду жить скромно и тихо, дожидаясь того времени, когда меня заберут в лагерь.

Ну, до чего же все просто и замечательно!

Но так как, конечно, ничего замечательного в том, чтобы лезть за деньгами в чужой ящик, не было, то остатки совести, которые слабо барахтались где-то в моем сердце, подняли тихий шум и вой. Я же грозно прикрикнул на них и опрометью бросился к дворнику, дяде Николаю, доставать напильник.

— Зачем тебе напильник? — недоверчиво спросил дворник.— Все хулиганство! Вечор тоже мальчишка из шестнадцатой квартиры попросил отвертку, а сам, чертяка, чужой ящик для писем развинтил, котенка туда сунул, да и заделал обратно. Жиличка пошла газеты вынимать, а котенок орет, мяучит. Газету исцарапал да полтелеграммы изодрал от страха. Насилу разобрали. Не то в телеграмме «приезжай», не то «не приезжай», не то «подожди езжать, сам приеду».

— Мне, дядя Николай, такими глупостями заниматься некогда,— сказал я.— У меня радиоприемник сломался. Ну вот... там подточить надо.

— То-то, глупостями не заниматься! Что это к нам во двор этот прощелыга Юрка зачастил? Ты, парень,

смотри! Тут хорошего дела не будет. Возьми напильник в ящике. Да белье захвати. Вон за шкапом узел. Прачка в обед за деньгами прийти обещалась. Отец-то ничего не пишет?

— Пишет! — схватив напильник и взваливая на плечи узел, ответил я.— Он, дядя Николай, все что-то там взрывает... грохает... Я, дядя Николай, расскажу потом, а сейчас некогда.

Отовсюду, где только мог, я собрал старые ключи и, отложив два, взялся за дело.

Работал я долго и упрямо. Испортил один ключ, принялся за второй. Изредка только отрывался, чтобы напиться из-под крана. Пот выступал на лбу, пальцы были исцарапаны, измазаны опилками и ржавчиной. Я прикладывал глаз к замочной скважине, ползал на коленях, освещал ее огнем спички, смазывал замок из масленки от швейной машины, но он упирался, как заколдованный. И вдруг — крак! И я почувствовал, как ключ туго, со скрежетом, но все же поворачивается.

Я остановился перевести дух. Отодвинул табуретку, собрал и выбросил в ведро мусор, опилки, сполоснул грязные, замасленные руки и только тогда вернулся к ящику. Дзинь! Готово! Выдернул ящик, приподнял газетную бумагу и увидел черный, тускло поблескивающий от смазки боевой браунинг.

Я вынул его — он был холодный, будто только что с ледника. На левой половине его рубчатой рукоятки небольшой кусочек был выщерблен. Я вынул обойму; в ней было шесть патронов, седьмого недоставало.

Я положил браунинг на полотенце и стал перерывать ящик. Никаких денег там не было.

Злоба и отчаяние охватили меня разом. Полдня я старался, бился, потратил столько драгоценного времени — и нашел совсем не то, что мне было надо.

Я сунул браунинг на прежнее место, закрыл газетой и задвинул ящик.

Новое дело! В обратную сторону ключ не поворачивался, и замок не закрывался. Мало того: вынуть ключ из скважины было теперь невозможно, и он торчал, бросаясь в глаза сразу же от дверей. Я вставил в ушко ключа напильник и стал, как рычагом, надавливать. Кажется, поддается! Крак—и ушко сломалось; теперь еще хуже! Из замочной скважины торчал острый безобразный обломок.

В бешенстве ударил я каблуком по ящику, лег на кровать и заплакал.

Вдруг знакомый протяжный вой донесся из глубины двора через форточку. Это уныло кричал старьевщик.

Я вскочил и распахнул окно. Во дворе, кроме маленьких ребятишек, никого не было. Молча поманил я рукой старьевщика, и, пока он отыскивал вход, пока поднимался, я озирался по сторонам, прикидывал, что бы это такое ему продать.

Вон старые брюки. Вон куртка — локоть порван. А если прибавить коньки? До зимы долго. Вон рубашка — все равно рукава мне коротки. Футбольный мяч! Наплевать... теперь не до игры. Я свалил все в одну кучу, вытер слезы и кинулся на звонок.

Вошел старьевщик. Цепкими руками он ловко перерыл всю кучу, равнодушно откинул коньки. Крючковатым пальцем для чего-то еще надорвал дыру на локте куртки, высморкался и сказал:

— Шесть рублей.

Как шесть рублей? За такую кучу всего шесть рублей, когда мне надо тридцать?

Я попробовал было торговаться. Но он стоял молча и только изредка лениво повторял:

— Шесть рублей. Цена хорошая.

Тогда я притащил старые валенки, кухонные полотенца, мешок из-под картошки, отцовские сандалии, наушники от радиоприемника и облезлую заячью шапку. Опять так же быстро перебрал он вещи, проткнул пальцем в валенках дыру, отодвинул наушники и сказал:

— Пять рублей.

Как пять рублей? За такую кучу, которая теперь заняла весь угол,—шесть да пять, всего одиннадцать?

— Одиннадцать рублей!—вскидывая сумку, сказал старьевщик.— Хочешь — отдавай, нет—пойду дальше.

— Постой! — с испугом, который не укрылся от его маленьких жестких глаз, сказал я.— Ты погоди, я сейчас еще...

Я пошел в соседнюю комнату. Старье больше не подвертывалось, и я раскрыл платяной шкап.

Сразу же на глаза мне попалась серо-коричневая меховая горжетка Валентины. Что это был за мех, я не знал. Но я уже несколько раз слышал, что она чем-то Валентине не нравится.

Я сдернул ее с крючка. Она была пушистая, легкая и под лучами солнца чуть серебрилась. Стараясь, насколько возможно, быть спокойным, я вынес горжетку и небрежно бросил ее перед старьевщиком на стол.

Стоп! Теперь уже я подметил, как блеснули его рысьи глазки и как жадно схватил он мех в руки!

Теперь цену он сказал не сразу. Он помял эту вещичку в руках, чуть растянул ее, поднес близко к глазам и понюхал.

— Семьдесят рублей,— тихо сказал он.— Больше не дам ни копейки.

«Ого! Семьдесят!» — испугался я, но так как отступать было уже поздно, то, собравшись с духом, я сказал:



Теперь я уже подметил, как блеснули его рысьи глазки...

— Как хочешь! Меньше чем за девяносто я не отдам.

— Молодой иунуш,— громко сказал тогда старьевщик,— я не спорю: может быть, эта вещь и стоит девяносто рублей. Надо даже думать, что стоит. Но вещь эта не твоя, молодой иунуш, и как бы нам с тобой за нее не попало. Семьдесят рублей да одиннадцать — восемьдесят один. Получай деньги — и все дело.

— Как ты смеешь! — забормотал я.— Это мое. Это не твое дело. Это мне подарили.

— Я не спорю,— усмехнулся старьевщик.— Я не спорю. Может быть, и есть такой порядок, чтобы молодая девушка носила сапоги и шинель солдатский, но такой порядок, чтобы молодой иунуш носил дамские туфли и меховой горжетка,— такой порядок нет и никогда не было. Бери скорей, иунуш, деньги — и конец делу.

Я взял деньги. Но конец делу не пришел. Дела мои печальные только еще начинались.

...На другой день я записался в библиотеку и взял две книги. Одна из них была о мальчике-барабанщике. Он убежал от своей злой бабки и пристал к революционным солдатам французской армии, которая тогда сражалась одна против всего мира.

Мальчика этого заподозрили в измене. С тяжелым сердцем он скрылся из отряда. Тогда командир и солдаты окончательно уверились в том, что он — вражеский лазутчик.

Но странные дела начали твориться вокруг отряда.

То однажды, под покровом ночи, когда часовые не видали даже конца штыка на своих винтовках, вдруг затрубил военный сигнал тревогу, и оказывается, что враг подползал уже совсем близко.

Толстый же и трусливый музыкант Мишо, тот

самый, который оклеветал мальчика, выполз после боя из канавы и сказал, что это сигналил он. Его представили к награде.

Но это была ложь.

То в другой раз, когда отряду приходилось плохо, на оставленных развалинах угрюмой башни, к которой не мог подобраться ни один смельчак доброволец, вдруг взвился французский флаг и на остатках зубчатой кровли вспыхнул огонь сигнального фонаря. Фонарь раскачивался, метался справа налево и, как было условлено, сигналил соседнему отряду, взывая о помощи. Помощь пришла.

А проклятый музыкант Мишо, который еще с утра случайно остался в замке и все время валялся пьяный в подвале возле бочек с вином, опять сказал, что это сделал он, и его снова наградили и произвели в сержанты.

Ярость и негодование охватили меня при чтении этих строк, и слезы затуманили мне глаза.

«Это я... то есть это он, смелый, хороший мальчик, который крепко любил свою родину, опозоренный, одинокий, всеми покинутый, с опасностью для жизни подавал тревожные сигналы».

Мне нужно было с кем-нибудь поделиться своим настроением. Но никого возле меня не было, и только, зажмурившись, лежал и мурлыкал на подушке котенок.

— Это я — солдат-барабанщик! Эй ты, ленивый дурак! Слышишь? — сказал я и толкнул котенка кулаком в теплый пушистый живот.

Оскорбленный котенок вскочил, изогнулся и, как мне показалось, злобно посмотрел на меня своими круглыми зелеными глазами.

— Мяу!—ответил он.—Ты врешь, ты не солдат-ба-

рабанщик. Барабанщики не лазят по чужим ящикам и не продают старьевщикам Валентининых горжеток. Барабанщики бьют в круглый барабан, сначала — трим-тарарам! потом — трум-тара-рам! Барабанщики — смелые и добрые. Они до краев наливают блюдечко теплым молоком и кидают в него шкурки от колбасы и куски мягкой булки. Ты же забываешь налить даже холодной воды и швыряешь на пол только сухие корки.

Он спрыгнул и, опасаясь мести, поспешил убраться под диван. И, вероятно, сидел там долго, насторожившись и прислушиваясь: не полез ли я за кочергой или за щеткой?

Но я давно уже крепко спал.

Утром, выбегая за хлебом, я увидел, что дверь с лестницы к нам в квартиру была приоткрыта. И я вспомнил, что, зачитавшись на ночь, это я забыл ее закрыть.

А так как голова моя все время была занята мыслью о предстоящем возвращении Валентины и о расплате за взломанный ящик, за продажу вещей, то этот пустяковый случай натолкнул меня на такой выход:

«А что, если (не по ночам, это страшно) днем уходить, оставив дверь незапертой? Тогда, вероятно, придут настоящие воры, кое-что украдут, и заодно на них можно будет свалить и все остальные беды».

За чаем я решил, что замысел мой совсем не плох. Но так как мне жалко было, чтобы воры забрали что-нибудь ценное, то я вытер досуха ванну, свалил туда все белье, одежду, обувь, скатерть, занавески, так что в квартире стало пусто, как во время уборки перед Первым мая. Утрамбовав все это крепко-накрепко, я покрыл ванну газетами, завалил старыми рогожами,

оставшимися из-под мешков с известкой, набросал сверху всякого хлама: сломанные санки, палки от лыж, колесо от велосипеда. И так как ванная у нас была без окон, то я поставил стул на стол и отвинтил с потолка электрическую лампочку.

«Теперь,— злорадно подумал я,— пусть приходят!»

В течение трех дней я ни разу не запер квартиры на ключ. Но — странное дело! — воры не приходили. И это было тем более непонятно, что у нас в доме с утра до вечера только и было слышно: щелк... щелк! Замок, звонок, опять замок.

Запирали дверь, отлучаясь даже на минуту к парадному, к газетным ящикам...

Кроме дверных, навешивали замки наружные. Крючки, цепочки...

А тут три дня стоит квартира незапертой и даже дверь чуть приоткрыта, а ни один вор не сует туда своего носа!

Нет! Неудачи валились на меня со всех сторон.

Я получил от Валентины открытку с требованием ответить, все ли дома в порядке и принесла ли белье прачка.

И даю слово, что если бы Валентина спросила меня, нет ли у меня какой-нибудь беды, не скучаю ли, или хотя бы прислала простую желтую открытку, а не такую, где скалы, орлы, море дразнили и напоминали мне о красивой и совсем не похожей на мою жизнь, и если бы даже, наконец, на протяжении коротенького письма ровно трижды она не упомянула мне о прачке, как будто это было самое важное,— то я честно написал бы ей всю правду. Потому что хотя приходилась она мне не матерью и даже теперь не мачехой, но бы-

ла она все же человек не злой, когда-то баловала меня и даже иногда покрывала мои озорные проделки, особенно когда я помалкивал и не говорил отцу, кто ей без него звонил по телефону.

И я ответил ей коротко, что жив, здоров, белье прачка принесла и беспокоиться ей нечего. Я отнес письмо и, насвистывая, притопывая (то есть семь, мол, бед — один ответ), поднимался к себе по лестнице.

Котенок, точно поджидая меня, сидел на лестничной площадке. Дверь, по обыкновению, была чуть приоткрыта. Но стоп! Легкий шум — как будто бы кто-то звякнул стаканом о блюдце, потом подвинул стул — донесся до моего слуха. Я быстро взлетел на пол-этажа выше.

Вор был в нашей квартире!..

Затаив дыхание, я насторожился. Прошла минута, другая, три, пять... Вор что-то не торопился. Я слышал его шаги, когда несколько раз он проходил по коридору близ двери. Слышал даже, как он высморкался и кашлянул.

— Тим-там! Тра-ля-ля! Трум! Трум! — долетело до меня из-за двери.

Было очень странно: вор напевал песню. Очевидно, это был бандит смелый, опасный. И я уже заколебался, не лучше ли будет спуститься и крикнуть дяде Николаю, который поливал сейчас из шланга двор. Но вот за дверьми, должно быть с кухни, раздался какой-то глухой шум. Долго силился я понять, что это такое. Наконец понял: это шумел примус. Это уже не лезло ни в какие ворота! Вор, очевидно, кипятил чайник и собирался у нас завтракать.

Я спустился на площадку. Вдруг дверь широко распахнулась, и передо мной оказался низкорослый толстый человек в сером костюме и желтых ботинках.

— Друг мой,— спросил он,— ты из этой, пятнадцатой квартиры?

— Да,— пробормотал я,— из этой.

— Так заходи, сделай милость. Я тебя через окошко еще полчаса тому назад видел, а ты полез наверх и чего-то прячешься.

— Но я не думал, я не знал, зачем вы тут... поете?

— Понимаю! — воскликнул толстяк.— Ты, вероятно, думал, что я жулик, и терпеливо выжидал, как развернется ход событий. Так знай же, что я не вор и не разбойник, а родной брат Валентины, следовательно — твой дядя. А так как, насколько мне известно, Валентина вышла замуж и твоего отца бросила, то, следовательно, я твой бывший дядя. Это будет совершенно точно.

— Она уехала с мужем на Кавказ,— ответил я,— и вернется не скоро.

— Боги великие! — огорчился дядя.— Дорогая сестра уехала, так и не дождавшись родного брата! Но она, я надеюсь, предупредила тебя о том, что я приеду?

— Нет, она не предупредила,—ответил я, виновато оглядывая ободранную и неприглядную нашу квартиру.— Когда она уезжала, она, должно быть, растерялась, потому что разбила блюдце и в кастрюльку с кофе насыпала соли.

— Узнаю, узнаю беспечное созданье!—укоризненно качнул головой толстяк.— Помню еще, как в далеком детстве она полила однажды кашу вместо масла керосином. Съела и страдала, крошка, ужасно. Но скажи, друг мой, почему это у вас в квартире как-то не того?.. Сарай — не сарай, а как бы апартаменты уездного мелитопольского комиссара после веселого налета махновцев.

— Это не после налета! — растерянно оправдывал-

ся я.— Это я сам все посодрал и попрятал в ванную, чтобы не пришли и не обокрали воры.

— Похвально,— одобрил дядя.— Но почему же, в таком случае, парадную дверь ты оставляешь открытой?

На мое счастье, в кухне закипел чайник, и неприятный этот разговор оборвался.

Бывший мой дядя оказался человеком веселым, энергичным. За чаем он приказал мне разобрать мой склад в ванной, а также сходить к дворничихе, чтобы она перечистила посуду, вымыла пол и привела квартиру в порядок.

— Неприлично, — объяснил он. — Ко мне могут прийти люди, товарищи в боях, друзья детства,— и вдруг такое безобразие!

После этого он спросил, есть ли у меня деньги. Похвалил за бережливость, дал на расходы тридцатку и ушел до вечера побродить по Москве, которую, как он говорил, не видел уже лет десять.

Я побежал к дворничихе и сказал ей насчет уборки.

— Дядечка приехал! — похвалился я. — Добрый! Теперь мне будет весело.

— И то лучше,— сказала дворничиха.— Виданное ли дело — оставлять квартиру на несмышленого ребенка! Дитё — оно дитё и есть. Сейчас умное, а отвернулся — смотришь, а оно еще совсем дурак.

— Это которые маленькие — дураки, — обиделся я.— А я уже не маленький.

— Э, милый! Бывает дурак маленький, бывает и большой. Моему Ваське шестнадцатый. Раньше в таку пору женили, а он достал железу, набил серой, хлопнул — да вот три недели в больнице отлежал. Хорошо еще, только лицо ковырнуло, а глаза не вышибло. Да

что я тебе говорю: ты, чай, про это дело лучше моего знаешь!

Я что-то промычал и быстро исчез, потому что в Васькином деле была и моей вины доля.

Ловко и охотно помогал я дворничихе убирать квартиру. К вечеру стало у нас чисто, прохладно, уютно. Я постлал на стол новую скатерть с бахромой, сбегал на угол, купил за рубль букет полевых цветов и поставил их в синюю вазу.

Потом умылся, надел чистую рубаху и, чтобы скоротать до прихода дяди время, сел писать новое письмо Валентине.

«Дорогая Валя! — писал я.— К нам приехал твой брат. Он очень веселый, хороший и мне сразу понравился. Он рассказал мне, как ты в детстве нечаянно полила кашу керосином. Я не удивляюсь, что ты ошиблась, но непонятно, как это ты ее съела? Или у тебя был насморк?..»

Письмо осталось неоконченным, потому что позвонили и я кинулся в прихожую. Вошел дядя и с ним еще кто-то.

— Зажги свет! Где выключатель?—командовал дядя.— Сюда, старик, сюда! Не оступись... Здесь ящик... Дай-ка шляпу, я сам повешу... Сам, сам, для друга все сам. Прошу пожаловать! Повернись-ка к свету. Ах, годы!.. Ах, невозвратные годы!.. Но ты еще крепок... Да, да! Ты не качай головой... Ты еще пошумишь, дуб... Пошумишь! Знакомься, Сергей! Это друг моей молодости! Ученый. Старый партизан-чапаевец. Политкаторжанин. Много в жизни пострадал. Но, как видишь, орел!.. Коршун!.. Экие глаза! Экие острые, проницательные глаза! Огонь! Фонари! Прожекторы!..

Только теперь, на свету, я как следует разглядел дядиного знаменитого товарища. Если по правде ска-

зать, то могучий дуб он мне не напоминал. Орла тоже. Это дядя в порыве добрых чувств перехватил, пожалуй, лишку.

У него была квадратная плешивая голова, на макушке лежал толстый, вероятно полученный в боях шрам. Лицо его было покорябано оспой, а опущенные кончики толстых губ делали лицо его унылым и даже плаксивым.

Он был одет в зеленую диагоналевую гимнастерку, на которой поблескивал орден Трудового Красного Знамени.

Дядя оглядел прибранную квартиру, похвалил за расторопность, и тут взор его упал на мое неоконченное письмо к Валентине.

Он пододвинул письмо к себе и стал читать...

Даже издали видно мне было, как неподдельное возмущение отразилось на его покрасневшем лице. Сначала он что-то промычал, потом топнул ногой, скомкал письмо и бросил его в пепельницу.

— Позор! — тяжело дыша, сказал он, оборачиваясь к своему заслуженному другу.— Смотри на него, старик Яков!

И дядя резко ткнул пальцем в мою сторону, а я обмер.

— Смотри, Яков, на этого человека — беспечного, нерадивого и легкомысленного. Он пишет письмо к мачехе. Ну, пусть, наконец (от этого дело не меняется), он пишет письмо к своей бывшей мачехе. Он сообщает ей радостную весть о приезде ее родного брата. И как же он ей об этом сообщает? Он пишет слово «рассказ» через одно «с» и перед словом «что» запятых не ставит. И это наша молодежь! Наше светлое будущее! За это ли (не говорю о себе, а спрашиваю тебя, старик Яков!) боролся ты и страдал? Звенел кандалами и

взвивал чапаевскую саблю! А когда было нужно, то шел, не содрогаясь, на эшафот... Отвечай же! Скажи ему в глаза и прямо.

Взволнованный, дядя устало опустился на стул, а старик Яков сурово покачал плешивой головой.

Нет! Не за это он звенел кандалами, взвивал саблю и шел на эшафот. Нет, не за это!

— Брось в печку! — с отвращением сказал дядя, показывая мне на скомканную бумагу.— Или нет, дай я сожгу сам.

Он чиркнул спичкой, бумага вспыхнула и оставила на пепельнице щепотку золы, которую дядя тотчас же выкинул на ветер, за форточку.

Подавленный и пристыженный, я возился на кухне у примуса, утешая себя тем, что круто же, вероятно, приходится дядиным сыновьям и дочерям, если даже из-за одной какой-то несчастной ошибки он способен поднять такую бурю.

«Не вздумал бы он проэкзаменовать меня по географии,— опасливо подумал я.— Что-то тогда со мной будет!»

Однако дядя мой, очевидно, был вспыльчив, но отходчив. За чаем он со мной шутил, расспрашивал об отце и Валентине и наконец послал спать.

Я уже засыпал, когда кто-то тихонько вошел в мою комнату и начал шарить по стене, отыскивая выключатель.

— Кто это? — сквозь сон спросил я. — Это вы, дядя?

— Я. Послушай, дружок, у вас нет ли немного нашатырного спирту?

— Посмотрите в той комнате, у Валентины на полочке. Там йод, касторка и всякие лекарства. А что? Разве кому-нибудь плохо?

— Да старику не по себе. Пострадал старик, помучился. Ну, спи крепко.

Дядя плотно закрыл за собой дверь.

Через толстую стену голосов их слышно не было. Но вскоре через щель под дверью ко мне дополз какой-то въедливый, приторный запах. Пахло не то бензином, не то эфиром, не то еще какой-то дрянью, из чего я заключил, что дядя какое-нибудь лекарство нечаянно пролил.

...Прошла неделя. Днем дяди дома не было. К вечеру он возвращался вместе со стариком Яковом, и по большей части тот оставался у нас ночевать.

Однажды утром я сидел в ванной комнате и терпеливо заряжал кассеты для только что выкупленного фотоаппарата.

Тут кто-то позвонил дяде по телефону, и, чем-то встревоженный, он заторопил старика Якова. Я закричал через дверь, чтобы они погодили уходить еще минуточку, потому что дядя еще не видал моего фотоаппарата и мне хотелось сейчас же снять обоих друзей, поразив их своим в этом деле искусством. Однако дяде было, как видно, не до меня. Хлопнула дверь. Они вышли.

Минуту спустя я выскочил из ванной и, раздосадованный, щурясь на солнце, заглянул в окно.

Дядя и старик Яков только что вышли за ворота и свернули направо.

Тогда я схватил фотоаппарат и помчался вслед за ними.

«Хорошо, теперь будет еще интересней! Где-либо на перекрестке я забегу сбоку или дождусь, пока они остановятся покупать папиросы. Тогда — хлоп! — и готово.

Когда же они вернутся к вечеру, то на столе уже

будет стоять их готовая фотография. Под стеклом, в рамке и с надписью: «Дорогому дядечке от такого-то...»

Долго ловчился я поймать дядю в фокус. Но то его заслоняли, то меня толкали прохожие или пугали трамваи и автобусы.

Наконец-то, на мое счастье, дядя и старик Яков свернули к маленькому скверу возле какой-то церквушки. Сели на скамью и закурили.

Быстро примостился я меж двумя фанерными киосками на пустых ящиках. Поставил выдержку в одну двадцать пятую. Щелк! Готово! Было самое время, потому что секундой позже чья-то широкая спина заслонила от меня дядю и Якова.

На всякий случай я переменил кассету, снова нацелился. Вот дядя и старик Яков встали. Приготовиться! Щелк!

Но рука дрогнула, и второй снимок, вероятно, был испорчен, потому что сутулый, широкоплечий человек повернулся, и я удивился, узнав в нем того самого артиста и брата Шаляпина, с которым познакомил меня Юрка и который угощал меня в Сокольниках пивом.

В другое время я бы, вероятно, над таким странным совпадением задумался, но сейчас мне было некогда. И, вскочив на трамвай, я покатил домой, чтобы успеть приготовить к вечеру неожиданный подарок.

В ванной я нечаянно разбил красную лампочку. Тогда, чтобы не перепутать, я сунул обе кассеты со снимками в ящик Валентины и побежал за новой лампой в магазин. Но когда я вернулся, то дядя был уже дома.

Он строго подозвал меня к себе.

В одной руке он держал сломанное кольцо от ключа, другой он показывал мне на торчавший из ящика железный обломок.

— Послушай, друг мой, — спросил он в упор. —

Я нашел эту штучку на подоконнике, а так как я уже разорвал себе брюки об этот торчок из ящика, то я задумался. Приложил это кольцо сюда. И что же выходит?..

Все рухнуло! Я начал было что-то объяснять, бормотать, оправдываться — сбился, спутался и наконец, заливаясь слезами, рассказал дяде всю правду.

Дядя был мрачен. Он долго ходил по комнате, насвистывая песню: «Из-за леса, из-за гор ехал дедушка Егор».

Наконец он высморкался, откашлялся и сел на подоконник.

— Время! — грустно сказал дядя.— Тяжкие разочарования! Прыжки и гримасы! Другой бы на моем месте тотчас же сообщил об этом в милицию. Тебя бы, мошенника, забрали, арестовали и отослали в колонию. И сестра Валентина, которая теперь тебе даже не мачеха, с ужасом, конечно, отвернулась бы от такого пройдохи. Но я добр! Я вижу, что ты раскаиваешься, что ты глуп, и я тебя не выдам. Жаль, что нет бога и тебе, дубина, некого благодарить за то, что у тебя, на счастье, такой добрый дядя.

Несмотря на то что дядя ругал меня и мошенником и дубиной, я сквозь слезы горячо поблагодарил дорогого дядечку и поклялся, что буду слушаться его и любить до самой смерти. Я хотел обнять его, но он оттолкнул меня и выволок из соседней комнаты старика Якова, который там брился.

— Нет, ты послушай, старик Яков! — гремел дядя, сверкая своими круглыми, как у кота, глазами.— Какова пошла наша молодежь! — Тут он дернул меня за рукав.— Погляди, мошенник, на зеленую диагоналевую куртку этого, не скажу — старого, но уже постаревшего в боях человека! И что же ты на ней видишь?..

Ага, ты замигал глазами, ты содрогаешься! Потому что на этой диагоналевой гимнастерке сверкает орден Трудового Знамени. Скажи ему, Яков, в глаза, прямо: думал ли ты во мраке тюремных подвалов или под грохот канонад, а также на холмах и равнинах мировой битвы, что ты сражаешься за то, чтобы такие молодцы лазили по запертым ящикам и продавали старьевщикам чужие горжетки?

Старик Яков стоял с намыленной, недобритой щекой и сурово качал головой. Нет, нет! Ни в тюрьмах, ни на холмах, ни на равнинах он об этом совсем не думал.

Раздался звонок, просунулся в дверь дворник Николай и протянул дяде листки для прописки.

— Иди и помни! — отпустил меня дядя.— Рука твоя, я вижу, дрожит, старик Яков, и ты можешь порезать себе щеку. Я знаю, что тебе тяжело, что ты идеалист и романтик. Идем в ту комнату, и я тебя сам добрею.

Долго они о чем-то там совещались. Наконец дядя вышел и сказал мне, что сегодня вечером они со стариком Яковом уезжают, потому что до конца отпуска хотят пошататься по свету и посмотреть, как теперь живет и чем дышит родной край.

Тут дядя остановился, сурово посмотрел на меня и добавил, что сердце его неспокойно после всего, что случилось.

— За тобою нужен острый глаз,— сказал дядя.— И тебя сдержать может только рука властная и крепкая. Ты поедешь со мною, будешь делать все, что тебе прикажут. Но смотри, если ты хоть раз попробуешь идти мне наперекор, я вышвырну тебя на первой же остановке, и пусть дикие птицы кружат над твоей беспутной головой!

Ноги мои задрожали, язык онемел, и я дико взвыл от безмерного и неожиданного счастья.

«Какие птицы? Кто вышвырнет? — думал я. — Это добрый-то дядечка вышвырнет! А слушаться я его буду так... что прикажи он мне сейчас вылезть через печную трубу на крышу, и я, не задумавшись, полез бы с радостью».

Дядя велел мне быть к вечеру готовым и сейчас же вместе с Яковом ушел.

Я стал собираться. Достал белье, полотенце, мыло и осмотрел свою верхнюю одежду.

Брюки у меня были потертые, в масляных пятнах, и я долго возился на кухне, отчищая их бензином. Рубашку я взял серую. Она была мне мала, но зато в пути не пачкалась. Каблук у одного ботинка был стоптан, и, чтобы подровнять, я сдернул клещами каблук у другого, потом гвозди забил молотком и почистил ботинки ваксой.

Беда моя — это была кепка. Кепку, как известно, у мальчишек редко найдешь новую. Кепку закидывают на заборы, на крыши, бьют ею в спорах оземь. Кроме того, она часто заменяет футбольный мяч. В моей же кепке была дыра, которую я прожег у костра на ученической маевке. Если бы еще оставалась подкладка, то ее можно было бы замазать чернилами. Но подкладки не было, а мазать чернилами свой затылок мне, конечно, не хотелось. Тогда я решил, что днем буду кепку держать в руках, будто бы мне все время жарко, а вечером сойдет и с дырой.

И только что я закончил свои приготовления, как вернулись дядя и Яков. Они принесли новенький чемодан, какие-то свертки и черный кожаный портфель, который дядя тотчас же бросил на пол и стал легонько топтать ногами.

От меня пахло скипидаром, ваксой, бензином. Я стоял, разинув рот, и мне начинало казаться, что дядя мой немного спятил. Но вот он поднял портфель, улыбнулся, потянул носом, глянул и сразу же оценил мои старания.

— Хвалю,— сказал он.— Люблю аккуратность, хотя от тебя и несет, как от керосиновой лавки. Теперь же сними все эти балахоны, ибо в них ты мне напоминаешь церковного певчего, и надень вот это.

И он протянул мне сверток. В нем были короткие, до колен, защитного цвета штаны, такая же щеголеватая курточка с множеством карманов и карманчиков, желтые сандалии, пионерский галстук с блестящей пряжкой, косая, как у летчика, пилотка и небольшой кожаный рюкзак.

Дрожащими руками я схватил все это добро в охапку и умчался переодеваться. И когда я вышел, то дядя всплеснул руками.

— Чкалов! — воскликнул он. — Молоков! Владимир Коккинаки!.. Орденов только не хватает — одного, двух, дюжины! Ты посмотри, старик Яков, какова растет наша молодежь! Эх, эх, далеко полетят орлята! Так не грусти, старик Яков! Видно, капля и твоей крови пролилась недаром.

Вскоре мы собрались. Ключ от квартиры я отнес управдому, котенка отдал дворничихе.

Попрощался с дворником, дядей Николаем, и водопроводчиком Микешкиным, который, хлопая добрыми осоловелыми глазами, сунул мне в руку горсть подсолнухов.

У ворот я остановился. Вот он, наш двор. Вот уже зажгли знакомый фонарь возле шахты Метростроя, тот, что озаряет по ночам наши комнаты. А вон высоко, рядом с трубой, три окошка нашей квартиры, и

на пыльных стеклах прежней отцовской комнаты, где подолгу когда-то играли мы с Ниной, отражается луч заходящего солнца. Прощайте! Все равно там теперь пусто и никого нет.

...Второпях я забыл у Валентины в ящике две израсходованные мною кассеты, но это меня огорчало сейчас мало.

Мы вышли на площадь. Здесь дядя пошел к стоянке такси и о чем-то долго там торговался с шофером.

Наконец он подозвал нас. Мы сели и поехали.

Я был уверен, что едем мы только до какого-либо вокзала. Но вот давно уже выехали мы на окраину, промчались под мостом Окружной железной дороги. Один за другим замелькали дачные поселки, потом и они остались позади. А машина все мчалась и мчалась и везла нас куда-то очень далеко.

Через девяносто километров, в город Серпухов, что лежит по Курской дороге, мы приехали уже ночью.

В потемках добрались мы до небольшого, окруженного садами домика, на крыше которого шныряли и мяукали кошки.

Я не заметил, чтобы приезду нашему были рады, хотя дядя говорил, что здесь живет его задушевный товарищ.

Впрочем, ничего удивительного в том не было.

Уехал так же года четыре тому назад с нашего двора мой приятель Васька Быков. А встретились мы с ним недавно... То да се — вот и все! Похвалились один перед другим перочинными ножами. У меня — кривой, с шилом, у него — прямой, со штопором. Съели по ириске да и разошлись восвояси.

Не всякая, видно, и дружба навеки!

...В Серпухове мы прожили двое суток, и я удивлялся, что дядя, который так хотел посмотреть родной край, из садика, что возле дома, никуда не выходил.

Несколько раз я бегал за газетами, остальное время валялся на траве и читал старую «Ниву». Мелькали передо мной портреты царей, императоров, русских и не русских генералов. Какие-то проворные палачи кривыми короткими саблями рубили головы пленным китайцам. А те, как будто бы так и нужно было, притихли, стоя на коленях. И не видать, чтобы кто-нибудь из них рванулся, что-нибудь палачам крикнул или хотя бы плюнул.

Я пошел поговорить об этом с дядей. Дядя читал только что полученную от почтальона телеграмму и был доволен. Он отобрал у меня затрепанную «Ниву» и сказал мне, что я еще молод и должен думать о жизни, а не о смерти. Кроме того, от таких картинок ночью может привязаться плохой сон.

Я рассмеялся и спросил, скоро ли мы куда-нибудь дальше поедем.

— Скоро,— ответил дядя. — Через час поедем на вокзал.

Он протянул руку за гитарой, лукаво глянул на меня и, ударив по струнам, спел такую песню:

Скоро спустится ночь благодатная,
Над землей загорится луна.
И под нею заснет необъятная
Превосходная наша страна.
Спят все люди с улыбкой умильною,
Одеялом покрывшись своим.
Только мы лишь, дорогою пыльною
До рассвета шагая, не спим.

Трам-там-там! — Он закрыл ладонью струны и, довольный, рассмеялся.— Что, хороша песня? То-то!

А кто сочинил? Пушкин? Шекспир? Анна Каренина? Дудки! Это я сам сочинил. А ты, брат, думал, что у тебя дядя всю жизнь только саблей махал да звенел шпорами. Нет, ты попробуй-ка сочини! Это тебе не то что к мачехе в ящик за деньгами лазить. Что же ты отвернулся? Я тебе любя говорю. Если бы я тебя не любил, то ты давно бы уже сидел в исправдоме. А ты сидишь вот где: кругом аромат, природа. Вон старик Яков из окна высунулся, в голубую даль смотрит. В руке у него, кажется, цветок. Роза! Ах, мечтатель! Вечно юный старик-мечтатель!

— Он не в голубую даль,— хмуро ответил я.— У него намылены щеки, в руках помазок, и он, кажется, уронил за окно стакан со вставными зубами.

— Бог мой, какое несчастье! — воскликнул дядя.— Так беги же скорей, бессердечный осел, к нему на помощь, да скажи ему заодно, чтобы он поторапливался.

Через час мы уже были на вокзале. Дядя был весел и заботлив. Он осторожно поддерживал своего друга, когда тот поднимался по каменным ступенькам, и громко советовал:

— Не торопись, старик Яков! Сердце у тебя чудесное, но сердце у тебя больное. Да, да! Что там ни говори — старые раны сказываются, а жизнь беспощадна. Вон столик. Все занято. Погоди немного, старина, дай осмотреться — вероятно, кто-нибудь захочет уступить место старому ветерану.

Чернокосая девушка взяла сверток и встала. Молодой лейтенант зашуршал газетой и подвинулся. Проворный официант подставил дяде второй стул, а я сел на вещи. Вскоре подошел носильщик и сказал, что мягких нет ни одного места. Дядю это нисколько не огорчило, и он велел брать жесткие.

Задрожали стекла, подкатил поезд. Мы вышли на платформу. И здесь, в сутолоке, передо мной вдруг мелькнуло знакомое лицо артиста из Сокольников. Человек этот был теперь в пенсне, в мягкой шляпе, на плечи его был накинут серый плащ; он что-то спросил у дяди, по-видимому где буфет, и, поблагодарив, скрылся в толпе. Только что мы уселись, как звонок, гудок — и поезд тронулся.

Пока я торчал у окошка, раздумывая о странных совпадениях в человеческой жизни, дядя успел побывать в вагоне-ресторане. Вернувшись, он принес оттуда большой апельсин и подал его старику Якову, который сидел, уронив на столик голову.

— Съешь, Яков! — предложил дядя.— Но что с тобой? Ты, я вижу, бледен. Тебе нездоровится?

— Пройдет! — сморщив лицо, простонал Яков.— Конечно, трясет, толкает, но я потерплю!

— Он потерпит! — возмущенно вскричал дядя.— Он, который всю жизнь терпел такое, что иному не перетерпеть и за три жизни! Нет, нет! Этого не будет. Я позову сейчас начальника поезда, и если он человек с сердцем, то мягкое место он тебе устроит.

— Сели бы к окошку да на голову что-нибудь мокрое положили. Вот салфетка, вода холодная,— предложила сидевшая напротив старушка.— А вы бы, молодой человек, потише курили,— обратилась она к лежавшему на верхней полке парню. — От вашего табачища и здоровсго легко вытошнить может.

Круглолицый парень нахмурился, заглянул вниз, но, увидав пожилого человека с орденом, смутился и папироску выбросил.

— Благодарю вас, благородная старушка,— сказал дядя.— Не знаю сидели ли ваши мужья и братья по тюрьмам и каторгам, но сердце у вас отзывчивое.

Эй, товарищ проводник! Попросите ко мне начальника поезда да откройте сначала это окно, которое, как мне кажется, приколочено к стенке семидюймовыми гвоздями.

— Ты мети, голова, потише! — укорил проводника бородатый дядька.— Видишь, у человека душа пыли не принимает.

Вскоре все наши соседи прониклись сочувствием к старику Якову и, выйдя в коридор, негромко разговаривали о том, что вот-де человек в свое время пострадал за народ, а теперь болеет и мучится. Я же, по правде сказать, испугался, как бы старик Яков не умер, потому что я не знал, что же мы тогда будем делать.

Я вышел в коридор и сказал об этом дяде.

— Упаси бог! — пробормотала старушка.— Или уж правда плох очень?

— Что там такое? — спросила проходившая по коридору тетка.

— Да вон в том купе человек, слышь, помирает,— охотно объяснил ей бородатый.— Вот так, живешь-живешь, а где помрешь — неизвестно.

— Высадить бы надо,— осторожно посоветовали из-за соседней двери.— Дать на станцию телеграмму, пусть подождут санитары с носилками. Хорошее ли дело: в вагоне покойник! У нас тут женщины, дети.

— Где покойник? У кого покойник?

Разговор принял неожиданный и неприятный оборот. Дядя ткнул меня кулаком в спину и, громко рассмеявшись, подошел к лежавшему на лавке старику Якову.

— Ха-ха! Он помрет! Слышишь ли, старик Яков?— дергая его за пятку, спросил дядя.— Они говорят, что ты помираешь. Нет, нет! Дуб еще крепок. Его не сломали ни тюрьма, ни казематы. Не сломит и легкий сер-

дечный припадок, результат тряски и плохой вентиляции. Эге! Вон он и поднимается. Вон он и улыбнулся. Ну, смотрите. Разве же это судорожная усмешка умирающего? Нет! Это улыбка бодрой и еще полнокровной жизни. Ага, вот идет начальник поезда! Конечно, говорю я, он еще улыбается. Но при его измученном борьбой организме подобные улыбки в тряском вагоне вряд ли естественны и уместны.

Начальник поезда, узнав, в чем дело, ответил:

— Я вижу, что старику партизану-орденоносцу действительно неудобно. Но, на ваше счастье, сейчас в Серпухове из пятого купе мягкого вагона не то раньше времени сошел, не то отстал пассажир. Дайте проводнику денег на доплату, и я скажу, чтобы он купил на стоянке билет вне очереди.

Начальник поезда откланялся и ушел.

Все остались им очень довольны. Все хвалили вежливого и внимательного начальника. Говорили, что вот-де какой еще молодой, а как себя хорошо держит. А давно ли попадались такие, что он с тобой и разговаривать не хочет, а не то чтобы человеку помочь или хотя бы войти в положение.

Хорошо, когда все хорошо. Люди становятся добрыми, общительными. Они предлагают друг другу чайник, ножик, соли. Берут прочесть чужие журналы, газеты и расспрашивают, кто куда и откуда едет, что и почем там стоит. А также рассказывают разные случаи из своей и из чужой жизни.

Старик Яков совсем оправился. Он выпил чаю, съел колбасы и две булки.

Тогда соседи попросили его, чтобы и он рассказал им что-нибудь из своей, очевидно, богатой приключениями жизни...

Отказать в такой просьбе людям, которые столь участливо отнеслись к нему, было неудобно, и старик Яков вопросительно посмотрел на дядю.

— Нет, нет, он не расскажет,— громко объяснил дядя.—Он слишком скромен. Да, да! Ты скромен, друг Яков. И ты не сердись, если я тебе напомню, как только из-за этой проклятой скромности ты отказался занять пост замнаркома одной небольшой автономной республики. Сам нарком, товарищ Гули-Поджидаев, как всем известно, недавно умер. И, конечно, ты, а не кто-либо иной, управлял бы сейчас делами этого небольшого, но симпатичного народа!

— Послушайте! Вы ведь шутите? — смущаясь спросил с верхней полки круглолицый парень.— Так же не бывает.

— Бывает всяко,—задорно ответил дядя и продолжал свой рассказ: — Но скромность, увы, не всегда добродетель. Наши дела, наши поступки принадлежат часто истории и должны, так сказать, вдохновлять нашу счастливую, но, увы, беспечную молодежь. И если не расскажет он, то за него расскажу я.

Тут дядя обвел взглядом всех присутствующих и спросил, не сидел ли кто-нибудь в прежние или хотя бы в теперешние времена в центральной харьковской тюрьме.

Нет, нет! Оказалось, что ни в прежние, ни в теперешние не сидел никто.

— Ну, тогда вы не знаете, что такое харьковская тюрьма,— начал свой рассказ дядя.

Мрачной серой громадой стояла она на высоком холме так называемой Прохладной, или, виноват, Холодной горы, вокруг которой раскинулись придавленные пятой самодержавия низенькие домики робких обывателей. Тоскливо было сидеть узнику в угрюмой

общей камере номер двадцать семь. Из окна была видна дорога, по которой катили грузовики, шли на работу служащие. И торговки-спекулянтки с веселым гоготом тащили на рынок корзины с фруктами и лотки жареных пирожков с мясом, с рисом и с капустой. Узник же получал, как вы сами понимаете, всего шестьсот граммов, то есть полтора фунта. Кроме того, он жаждал свободы.

«Даешь свободу! — громко тогда воскликнул про себя узник.— Довольно мне греметь кандалами и чахнуть в неволе, дожидаясь маловероятной амнистии по поводу какой-либо годовщины, точнее сказать — императорской свадьбы, рождения или коронации!» И в тот же вечер по пути с дровозаготовок узник оттолкнул конвоира и, как пантера, ринулся в лес, преследуемый зловещим свистом пуль.

Но судьба наконец улыбнулась страдальцу. Ночь он провел под стогом сена. А наутро услышал шум трактора и увидел работающих в поле крестьян. А так как узник ходил еще в своем и был одет весьма прилично, то он выдал себя за ответственного работника, приехавшего на посевную.

Он спросил, как дела. Дал кое-какие указания. Выпил молока, потребовал лошадей до станции и скрылся, как вы уже догадываетесь, продолжать свое опасное дело на благо народа, страждущего под мрачным игом проклятого царизма...

Слушатели расхохотались и, гремя посудой, кинулись к выходу, потому что поезд затормозил перед станцией, богатой дешевым молоком и курами.

— Но послушайте, вы всё шутите,— обиженно заметил сверху круглолицый паренек.—Ведь ничего этого вовсе так не бывает.

— Да, я шучу, молодой человек,— вытирая плат-

ком лоб, хладнокровно ответил дядя.— Шутка украшает жизнь. А иначе жизнь легка только тупицам да лежебокам. Ге! Так ли я говорю, юноша? — хлопнул он меня по плечу.— А вон, насколько я вижу, идет и проводник с билетом.

Дядя остался караулить вещи, а я взял нетяжелый чемодан и пошел провожать в мягкий вагон старика Якова, который нес с собой завернутый в наволочку портфель, полотенце, апельсин и газету.

В купе было всего два места. Внизу, у окна справа, сидел пожилой человек, на столике перед ним лежала книга, за спиной его стояла полевая кожаная сумка, а рядом на диване валялась подушка.

Он искоса взглянул на нас, когда мы скрипнули дверью. Но, увидев, что в купе входит не какой-нибудь шалопай, а почтенный старик с орденом, он учтиво ответил на поклон и подушку отодвинул. Верхнее место, то самое, на которое опоздал какой-то пассажир, было свободно. Но сразу лезть спать старик Яков не захотел, а надел очки и взялся за газету.

Однако я хорошо видел, что он не читает, а исподлобья, но зорко смотрит в сторону пассажира.

Я помялся и пожелал старику Якову спокойной ночи.

Тогда он легонько охнул и тихим злым голосом попросил меня передать дяде, чтобы тот вместо негодной, черной, прислал обыкновенную походную грелку, наполненную водой до половины. Я удивился и хотел переспросить, но вместо ответа старик Яков молча показал мне кулак. Обиженный и слегка напуганный, я вернулся и передал дяде эту просьбу.

Дядя насупился, негромко кого-то выругал, полез к себе в сумку, достал небольшой сверток и тотчас же

вышел, должно быть к проводнику за водой. Вскоре он вызвал меня на площадку. Взгляд его был строг, а круглые глаза прищурены.

— Возьми,— сказал он, протягивая мне серую холщовую сумочку, затянутую сверху резиновым шнуром.— Возьми эту грелку и отнеси. Понял? — Он сжал мне руку.— Понял? — повторил дядя.— Иди и помни, о чем мы с тобой перед отъездом говорили.

Голос у дяди был тих и строг, говорил он теперь коротко, без всяких смешков и прибауток. Рука моя дрожала. Дядя заметил это, потрепал меня за подбородок и легонько подтолкнул.

— Иди,— сказал он,— делай, как тебе приказано, и тогда все будет хорошо.

Я пошел. По пути я прощупал сумочку: внутри нее что-то скрипнуло и зашуршало; грелка была холодная, по-видимому кожаная, и вместо воды набита бумагой.

Я постучался и вошел в купе. Незнакомый пассажир сидел у столика, низко склонившись над книгой. Старик Яков читал, откинувшись почти к самой стенке.

Он схватил грелку, легонько застонал, положил ее себе на живот и закрыл полами пиджака.

Я вышел и в тамбуре остановился. Окно было распахнуто. Ни луны, ни звезд не было. Ветер бил мне в горячее лицо. Вагон дрожал, и резко, как выстрелы, стучала снаружи какая-то железка. «Куда это мы мчимся? — глотая воздух, подумал я.— Рита-та-та! Трата-та! Поехали! Эх, поехали! Эх, кажется, далеко поехали!»

— Ну? — спросил, встречая меня, дядя.

— Все сделано,— тихо ответил я.

— Хорошо. Садись, отдохни. Хочешь есть — вон на столе колбаса, булка, яблоки.

От колбасы я отказался, яблоко взял и съел сразу.

— Вы бы мальчика спать уложили,— посоветовала старушка.— Мальчонка за день намотался. Глаза, я смотрю, красные.

— Ну, что за красные! — ответил ей дядя.— Это просто так: пыль, тени. Вот скоро будет станция, и он перейдет ночевать к старику Якову. Старик без присмотра — дитя: то ему воды, то грелку. А с начальником поезда я уже договорился.

— С умным человеком отчего не договориться,— вздохнула старушка.— А у меня сын Володька, бывало, говорит, говорит. Эх, говорит, мама, никак мы с тобой не договоримся!.. Так самовольно на Камчатку и уехал. Теперь там, шалопай, капитаном, что ли.

Старушка улыбнулась и стала раскладывать постель, а я подозрительно посмотрел на дядю: что это еще затевается? В какой вагон? Какие грелки?

Мимо нашего купе то и дело проходили в ресторан люди. Вагон покачивало, все пошатывались и хватались за стены.

Я сел в уголок, пригрелся и задумался. Как странно! Давно ли все было не так! Били часы. Кричал радиоприемник. Наступало утро. Шумела школа, гудела улица, и гремел барабан. Четвертый наш отряд выбегал на площадку строиться. И уж непременно кто-то там кричит и дразнит:

Сергей-барабанщик,
Солдатский обманщик,
Что ты бьешь в барабан?
Еще спит капитан.

«Но! Но! — говорю я.— Не подходи ближе, а то пробью по спине зорю палками».

Ту-у! — взревел вдруг паровоз. Вагон рвануло так, что я едва не свалился с лавки; жестяной чайник сле-

тел на пол, заскрежетали тормоза, пассажиры в страхе бросились к окнам.

Вскочил в купе встревоженный дядя. С фонарями в руках проводники кинулись к площадкам.

Паровоз беспрерывно гудел. Стоп! Стали. Сквозь окна не видно было ни огонька, ни звездочки. И было непонятно, стоим ли мы в лесу или в поле.

Все толпились и спрашивали друг друга: что случилось? Не задавило ли кого? Не выбросился ли кто из поезда? Не мчится ли на нас встречный? Но вот паровоз опять загудел, что-то защелкало, зашипело, и мы тихо тронулись.

— Успокойтесь, граждане! — унылым голосом закричал проводник.— Это какой-нибудь пьяный шел из ресторана, да и рванул тормоз. Эх, люди, люди!

— Напьются и безобразят! — вздохнул дядя.— Сходи, Сергей, к старику Якову. Старик больной, нервный. Да узнай заодно, не переменить ли ему воду в грелке.

Я сурово взглянул на него: не ври, дядя! И молча пошел.

И вдруг по пути я вспомнил то знакомое лицо артиста, что мелькнуло передо мной на платформе в Серпухове. Отчего-то мне стало не по себе.

Я постучался в дверь пятого купе. Откинувшись спиной почти совсем к стенке, старик Яков лежал, полузакрыв глаза. На полу валялись спички, окурки, и повсюду пахло валерьянкой. Очевидно, и мягкий вагон тряхнуло здорово.

Я спросил у старика Якова, как он себя чувствует и не пора ли переменить грелку.

— Пора! Давно пора! — сердито сказал он, раскрыл полы пиджака и передал мне холщовый мешочек.

— Мальчик! — не отрывая глаз от книги, попросил меня пассажир.— Будешь проходить, скажи проводнику, чтобы он пришел прибраться.

— Да, да! — болезненным голосом подтвердил Яков.— Попроси, милый!

«Милый»? Хорош «милый»! Он так вцепился в мою руку и так угрожающе замотал плешивой головой, что можно было подумать, будто с ним вот-вот случится припадок. Я выскочил в коридор и остановился. Что это все такое? Что означают эти выпученные глаза и перекошенные губы? А я вот возьму крикну проводника да еще передам ему и эту сумку!

Проводник как раз вошел в вагон и остановился, вытирая тряпкой стекла.

Сказать или не сказать?

— Молодой человек,— спросил вдруг проводник,— что вы здесь все время ходите? У вас билет в жестком, а здесь мягкий.

— Да,— пробормотал я,— но мне же нужно... и они меня посылают.

— Я не знаю, что вам нужно,— перебил меня проводник,— а мне нужно, чтобы в мои купе посторонние пассажиры не ходили. Что это вы взад-вперед носите?

«Поздно! — испугался я.— Теперь уже говорить поздно... Смотри, берегись, осторожней!..»

— Да,— вздрагивающим голосом ответил я,— но в пятом купе у меня больной дядя, и ему нужно менять воду в грелке.

— Так давайте мне сюда эту грелку,— протянул руку проводник,— для больного старика я и сам это сделаю.

— Но ему уже больше не нужно,— пряча холщовую сумку за спину, в страхе ответил я.— У него уже совсем прошло!

— Ну, не нужно, так и не нужно! — опять принимаясь вытирать стекла, проворчал проводник.— А ходить вы сюда больше не ходите. Мне бы не жалко, но за это и нас контролеры греют.

Потный и красный, проскочил я на площадку своего вагона. Дядя вырвал у меня сумку, сунул в нее руку и, даже не глядя, понял, что все было так, как ему надо.

— Молодец! — тихо похвалил меня он.— Талант! Капабланка!

И странно! То ли давно уж меня никто не хвалил, но я вдруг обрадовался этой похвале. В одно мгновение решил я, что все пустяки: и мои недавние размышления и подозрения, и что я на самом деле молодец, отважный, находчивый, ловкий.

Я торопливо рассказал дяде, как было дело, что сказал мне пассажир, как мигнул мне старик Яков и как увернулся я от подозрительного проводника.

— Герой! — с восхищением сказал дядя.— Геркулес! Гений!— Он посмотрел на часы.— Идем, через пять минут станция.

— И тогда что?

— И тогда все! Иди забирай вещи.

Поезд уже гудел; застучали стрелочные крестовины. Проводник с фонарем пошел налево, к выходу. Мы взяли сумки. Изо всего купе не спала одна старушка. Дядя пожелал ей счастливого пути. Мы вышли в коридор и прошли к площадке. Здесь дядя вынул из кармана ключ, открыл дверь, мы соскочили на противоположную от вокзала сторону и, смешавшись с людьми, пошли вдоль состава.

У кого-то дядя спросил, где уборная. Нам показали на самом конце перрона маленькую грязноватую каменушку. Мы подошли к ней и остановились.

Через минуту туда же, без шляпы и без чемодана, подбежал совершенно здоровехонький старик Яков.

Здесь друзья обнялись, как будто не видались полгода. Поезд свистнул и умчался. А мы заторопились прочь с вокзала, потому что с первой же остановки могла прийти розыскная телеграмма. А мой дядя и его знаменитый друг, как я тогда подумал, были, вероятно, отъявленные мошенники.

Много ли добра было в желтой сумке, которую старик Яков подменил у пассажира во время переполоха с внезапной остановкой поезда (тормоз рванул, конечно, дядя),— этого мне они не сказали. Но помню я, что на следующее утро лица их были совсем не веселы. Помню я, как на зеленом пустыре за какой-то станцией был между дядей и стариком Яковом крупный спор. О чем? Не знаю.

Потом хмуро и молча сидели они, что-то обдумывая, в маленькой чайной. Потом понял я, что старые друзья эти снова помирились. Долго и оживленно разговаривали и все поглядывали в мою сторону, из чего я понял, что разговор у них идет обо мне. Наконец они подозвали меня. Стал меня дядя вдруг хвалить и сказал мне, что я должен быть спокоен и тверд, потому что счастье мое лежит уже не за горами. Слушать все это было очень радостно, если бы не смутное подозрение, что дела наши странные еще не окончены.

...Но вдруг, где-то на станции Липецк, к огромной моей радости, распрощался и отстал от нас старик Яков.

И тут я вздохнул свободно, уснул крепко, а проснулся в купе вагона уже тогда, когда ярким теплым утром мы подъезжали к какому-то невиданно прекрасному городу.

...С грохотом мчались мы по высокому железному мосту. Широкая лазурная река, по которой плыли большие белые и голубые пароходы, протекала под нами. Пахло смолой, рыбой и водорослями. Кричали белогрудые серые чайки — птицы, которых я видел первый раз в жизни.

Высокий цветущий берег крутым обрывом спускался к реке. И он шумел листвой, до того зеленой и сочной, что, казалось, прыгни на нее сверху — без всякого парашюта, а просто так, широко раскинув руки — и ты не пропадешь, не разобьешься, а нырнешь в этот шумливый густой поток и, раскидывая, как брызги, изумрудную пену листьев, вынырнешь опять наверх, под лучи ласкового солнца.

А на горе, над обрывом, громоздились белые здания, казалось — дворцы, башни, светлые, величавые. И, пока мы подъезжали, они неторопливо разворачивались, становились вполоборота, проглядывая одно за другим через могучие каменные плечи, и сверкали голубым стеклом, серебром и золотом.

Дядя дернул меня за плечо:

— Друг мой! Что с тобой: столбняк, отупение? Я кричу, я дергаю... Давай собирай вещи.

— Это что?— как в полусне, спросил я, указывая рукой на окошко.

— А, это? Это все называется город Киев.

Светел и прекрасен был этот веселый и зеленый город. Росли на широких улицах высокие тополи и тенистые каштаны. Раскинулись на площадях яркие цветники. Били сверкающие под солнцем фонтаны. Да как еще били! Рвались до вторых, до третьих этажей, переливали радугой, пенились, шумели и мелкой водяной пылью падали на веселые лица, на открытые и загорелые плечи прохожих.

И то ли это слепило людей южное солнце, то ли не так, как на севере, все были одеты — ярче, проще, легче,— только мне показалось, что весь этот город шумит и улыбается.

— Киевляне!— вытирая платком лоб, усмехнулся дядя.— Это такой народ! Его колоти, а он все танцевать будет! Сойдем, Сергей, с трамвая, отсюда и пешком недалеко.

Мы свернули от центра. То дома высились у нас над головой, то лежали под ногами. Наконец мы вошли в ворота, прошли через двор в проулок — и опять ворота. Сад густой, запущенный. Акация, слива, вишня, у забора лопух.

В глубине сада стоял небольшой двухэтажный дом. За домом — зеленый откос, и на нем полинялая часовенка.

Верхний этаж дома был пуст, окна распахнуты, и на подоконниках скакали воробьи.

— Стой здесь,— сбрасывая сумку, приказал дядя,— а я сейчас все узнаю.

Я остался один. Кувыркаясь и подпрыгивая, выскочили мне под ноги два здоровых дымчатых котенка и, фыркнув, метнулись в дыру забора.

Слева, в саду, возвышался поросший крапивой бугор, на котором торчали остатки развалившейся каменной беседки. Позади, за беседкой, доска в заборе была выломана, и отсюда по откосу, мимо часовенки, поднималась тропинка. Справа на площадке лежали сваленные в кучу маленькие скамейки, столы, стулья. И теперь я угадал, что в доме этом зимой бывает детский сад. А сейчас, на лето, они уехали, конечно, куда-либо за город. Оттого наверху и пусто.

— Иди! — крикнул мне показавшийся из-за кустов дядя.— Все хорошо! Отдохнем мы здесь с тобой луч-

ше, чем на даче. Книг наберем. Молоко пить будем. Аромат кругом... Красота! Не сад, а джунгли.

Возле заглохшего цветника нас встретили.

Высокая седая старуха с вздрагивающей головой и с глубоко впавшими глазами, опираясь на черную лакированную палочку, стояла возле морщинистого бородатого человека, который держал в руках длинную метлу.

Сначала я подумал, что это старухин муж, но, оказывается, это был ее сын.

— Дорогих гостей прошу пожаловать!— сказала старуха надтреснутым, но звучным голосом. Она сухо поздоровалась со мной и, откинув голову, приветливо улыбнулась дяде.— Спаситель! Ах, спаситель!— сказала она, постучав костлявым пальцем по плечу дяди.—Полысел, потолстел, но все, как я вижу, по-прежнему добр и весел. Все такой же молодец, герой, благородный, великодушный, а время летит... время!..

В продолжение этой совсем непонятной мне речи бородатый сын старухи не сказал ни слова.

Но он наклонял голову, выкидывал вперед руку и неуклюже шаркал ногой, как бы давая понять, что и он всецело разделяет суждения матери о дядиных благородных качествах.

Нас проводили наверх. Живо раскинули мы две железные кровати в той из трех пустых комнат, что была поменьше, положили соломенные матрацы, втащили столик. Старуха принесла простыни, подушки, скатерть. Под открытым окном шумели листья орешника, чирикали птицы.

И стало у меня вдруг на душе хорошо и спокойно.

И еще хорошо мне было оттого, что старуха назвала дядю и добрым и благородным. Значит, думал я, не всегда же дядя был пройдохой. А может быть, я и

сейчас чего-то не понимаю. А может быть, все, что случилось в вагоне, это задумано злобным и хитрым стариком Яковом. А теперь, когда Якова нет, то, может быть, все оно и пойдет у нас по-хорошему.

Дядя дернул меня за нос и спросил, о чем я задумался. Он был добр. И, набравшись смелости, я сказал ему, что лучше, чем воровать чужие сумки, жить бы нам спокойно вот в такой хорошей комнате, где под окном орешник, черемуха. Дядя работал бы, я бы учился. А злобного старика Якова пусть заперли бы санитары в инвалидный дом. И пусть он сидел бы там, отдыхал, писал воспоминания о прежней своей боевой жизни, а в теперешние наши дела не вмешивался.

Дядя упал на кровать и расхохотался:

— Ха-ха! Хо-хо! Старика Якова запереть в инвалидный дом! Юморист! Гоголь! Смирнов-Сокольский! В цирк его, в борцы! Гладиатором на арену! Музыка, туш! Рычат львы! Быки воют! А ты его в инвалидный!

Тут дядя перестал смеяться. Он подошел к окну, сломал веточку черемухи и, постукивая ею по своим коротким ногам, начал мне что-то объяснять.

Он объяснил мне, что вор не всегда есть вор, что я еще молод, многого в жизни не понимаю и судить старших не должен. Он спрашивал меня, читал ли я Чарлза Дарвина, Шекспира, Лермонтова. И тогда у меня от всех его вопросов голова пошла кругом. Я уж не помню, с чем-то я соглашался, чему-то поддакивал. Он оборвал разговор и спустился в сад.

Я же, хотя толком ничего и не понял, остался при том убеждении, что если даже дядя мой и жулик, то жулик он совсем необыкновенный. Обыкновенные жулики воруют без раздумья о Чарлзе Дарвине, о Шекспире и о музыке Бетховена. Они тянут все, что попадет под руку, и чем больше, тем лучше. Потом, как я

видел в кино, они делят деньги, устраивают пирушку, пьют водку и танцуют с девчонками танец «Елки-палки, лес густой», как в «Путевке в жизнь», или «Танго смерти», как в картине «Шумит ночной Марсель».

Дядя же мой не пьянствовал, не танцевал. Пил молоко и любил простоквашу.

Дядя ушел в город. В раздумье бродил я по комнатам. На стене в коридоре висел пыльный телефон. Очевидно, с тех пор как уехал детский сад, звонили по нему не часто. Заглянул я в чулан — там стояло изъеденное молью, облезлое чучело рыжего медвежонка. Слазил по крутой лесенке на чердак, но там была такая духота и пылища, что я поспешно спустился вниз.

Вечерело. Я вышел в сад. В глухом уголку, за развалениой беседкой, лежал в крапиве мраморный столб. Я разглядел на его мутной поверхности такую надпись:

ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕН

Действительный статский

советник

и

кавалер

ИОГАНН ГЕНРИХОВИЧ ШТОКК

Тут же в крапиве валялся разбитый ящик и рассохшаяся бочка.

Было тепло, тихо, крепко пахло резедой и настурциями. Где-то далеко на Днепре загудел пароход.

Когда гудит пароход, я теряюсь. Как за поручни, хочется схватиться мне за что попало: за ствол дерева, за спинку скамейки, за подоконник. Гулкое, многоголосое эхо его всегда торжественно и печально.

И где бы, в каком бы далеком и прекрасном краю

человек ни был, всегда ему хочется плыть куда-то еще дальше, встречать новые берега, города и людей. Конечно, если только человек этот не такой тип, как злобный Яков, вся жизнь которого, вероятно, только в том и заключается, чтобы охать, ахать, представляться больным и тянуть у доверчивых пассажиров их вещи.

Но вот я насторожился. В саду, за вишнями, кто-то пел. Да и не один, а двое. Мужской голос — ровный, приглушенный и женский — резковатый, как бы надтреснутый, но очень приятный.

Тихонько продвинулся я вдоль аллеи. Это были старуха и ее бородатый сын. Они сидели на скамейке рядом, прямые, неподвижные, и, глядя на закат, тихо пели: «Цветы бездумные, цветы осенние, о чем вы шепчетесь в пустом саду?..»

Я был удивлен. Я еще никогда не слыхал, чтобы такие древние старухи пели. Правда, жила у нас во дворе дворникова бабка, так и она, когда качала их горластого Гошку, тоже пела: «Ай, люли, ай, люли! Волки телку увели»,— но разве же это песня?

— Дитя!— позвала вдруг кого-то старуха.

Я обернулся, но никого не увидел.

— Дитя, подойди сюда!— опять позвала старуха.

Я снова оглянулся — нет никого.

— Тут никого нет,— смущенно сказал я, высовываясь из-за куста.— Оно, должно быть, куда-нибудь убежало.

— Кто оно! Глупый мальчик! Это я тебя зову.

Я подошел.

— Пойди и посмотри, не коптит ли на кухне керосинка.

— Хорошо,— согласился я,— только я не знаю, где у вас кухня.

— Как ты не знаешь, где у нас кухня?— строго спросила старуха.— Да я тебя, мерзавца, из дому выгоню... на мороз, в степь... в поле!

Я ахнул и в страхе попятился, потому что старуха уже потянулась к своей лакированной палке, по-видимому собираясь меня ударить.

— Мама, успокойтесь,— раздраженно сказал ее сын.— Это же не Степан, не Акимка. Это младший сын покойного генерала Рутенберга, и он пришел поздравить вас со днем ангела.

Трудно сказать, когда я больше испугался: тогда ли, когда меня хотели ударить, или когда я вдруг оказался сыном покойного генерала.

Вскрикнув, шарахнулся я прочь и помчался к дому. Взбежав по шаткой лесенке, я захлопнул на крючок дверь и дрожащими руками стал зажигать лампу. И только что я снял стекло, как услышал шаги. По лестнице за мной кто-то шел...

Крючок был изогнутый, слабенький, и его легко можно было открыть снаружи, просунув карандаш или даже палец. Я метнулся на терраску и перекинул ногу через перила.

В дверь постучались.

— Эй, там, Сергей!— услышал я знакомый голос.— Ты спишь, что ли?

Это был дядя.

Торопливо рассказал я дяде про свои страхи.

Дядя удивился.

— Кроткая старуха,— сказал он,— осенняя астра! Цветок бездумный. Она, конечно, немного не в себе. Преклонные годы, тяжелая биография... Но ты ее испугался напрасно.

— Да, дядя, но она хотела меня треснуть палкой.

— Фантазия!— усмехнулся дядя.— Игра молодого

воображения. Впрочем... всё потемки! Возможно, что и треснула бы. Вот колбаса, сыр, булки. Ты есть хочешь?

За ужином дядя объяснил мне, что когда-то весь этот дом принадлежал старухе, а теперь ее сын работает здесь, при детском доме, сторожем, а иногда играет на трубе в каком-то оркестре.

Мы легли спать рано. Окно было распахнуто, и сквозь листву орешника, как крупные звезды, проглядывали огни города. Мы лежали долго молча. Но вот дядя загремел в темноте спичками и закурил.

— Дядя,— спросил я,— отчего эта старуха называла вас днем и добрым и благородным? Это она тоже с дури? Или что-нибудь тут на самом деле?

— Когда-то, в восемнадцатом, буйные солдаты хотели спустить ее вниз головой с моста,— ответил дядя.— А я был молод, великодушен и вступился.

— Да, дядя. Но если она была кроткая или, как вы говорите, цветок бездумный, то за что же?

— Там, на войне, не разбирают. Кроме того, она тогда была не кроткая и не бездумная. Спи, друг мой.

— Дядя,— задумчиво спросил я,— а отчего же, когда вы вступились, то солдаты послушались, а не спустили и вас вниз головой с моста?

— Я бы им, подлецам, спустил! За мной было шесть всадников, да в руках у меня граната! Лежи спокойно, ты мне уже надоел.

— Дядя,— помолчав немного, не вытерпел я,— а какие это были солдаты? Белые?

— Лежи, болтун!— оборвал меня дядя.— Военные были солдаты: две руки, две ноги, одна голова и винтовка-трехлинейка с пятью патронами. А если ты еще будешь ко мне приставать, то я тебя выставлю в соседнюю комнату.

...Мои пытливые расспросы, очевидно, встревожили дядю. Через день, когда мы гуляли над Днепром, он спросил меня, хочу ли я вообще возвращаться домой.

Я задумался. Нет, этого я не хотел. После всего, что случилось, Валентинин муж, вероятно, уговорит ее, чтобы меня отдали в какую-нибудь исправительную колонию. Но и оставаться с дядей, который все время от меня что-то скрывал и прятал, мне было не по себе.

И дядя, очевидно, меня понял. Он сказал мне, что так как я ему с первого же раза понравился, то, если я не хочу возвращаться домой, он отвезет меня в Одессу и отдаст в мичманскую школу.

Я никогда не слыхал о такой школе. Тогда он объяснил мне, что есть такая школа, куда принимают мальчиков лет четырнадцати-пятнадцати. Там же, при школе, они живут, учатся, потом плавают на кораблях сначала простыми матросами, а потом, кто умен, может дослужиться и до моряка-капитана.

Я вспомнил вчерашний пароходный гудок, и сердце мое болезненно и радостно сжалось. «За что?— думал я.— И для чего же вот этот непонятный и даже какой-то подозрительный человек заботится обо мне и хочет сделать для меня такое хорошее дело?»

— А вы? — тихо спросил я.— Вы тоже будете жить в Одессе?

— Нет,— ответил дядя.— Разве я тебе не говорил, что я живу в городе Вятке, заведую отделом народного образования и занимаюсь научной работой?

«Не беда!— подумал я.— Ну, и пускай в Вятке. Так, может быть, даже лучше. А то вдруг приехал бы в Одессу ненавистный старик Яков,— вот тебе, глядишь, и пропала опять вся научная работа!»

Щеки мои горели, и я был взволнован. «Проживу один,— думал я.— Начну все заново. Буду учиться.

Буду стараться. Буду лазить по мачтам. Смотреть в бинокль. Вырасту скоро. Надену черную форменку... Вот я стою на капитанском мостике. Дзинь, дзинь! Тихий ход вперед! Вот она, стоит на берегу и машет мне платком... Нина! Прощай, Нина, прощай! Уплываем в Индию. Смело поведу я корабль через бури, через туманы, мимо жарких тропиков. Все увижу, все — приеду, тебе расскажу и с чужих берегов привезу подарок».

И так замечтался я, что не заметил, как встал со скамьи, куда-то сходил и опять вернулся мой дядя.

— Но пока тебе будет скучно,— сказал дядя.— Несколько дней я буду занят. И, чтобы ты мне не мешал, давай познакомимся с кем-нибудь из ребят. Будешь тогда всюду бегать, играть. Посмотри, экое кругом веселье!

Ребят на площадке было много. Они лазили по лестницам и шестам, кувыркались и прыгали на пружинных сетках, толпились около стрелкового тира, бегали, баловались и, конечно, задирали девчонок, которые здесь, впрочем, спуску и сами не давали.

— С кем же мне дядя познакомиться?— растерянно оглядываясь, спросил я.— Народу кругом такая уйма.

— А мы поищем — и найдем!— ответил дядя и потащил меня за собой.

Он вывел меня к краю площадки. Здесь было тихо, под липами стояли рабочие столики и торчала будочка с материалом и инструментами.

Тут дядя показал мне на хрупкого белокурого мальчика, который, поглядывая на какой-то чертеж, выстругивал ножом тонкие белые планочки.

— Ну вот, хотя бы с этим,— подтолкнул меня дядя.— Мальчик, сразу видно, неглупый, симпатичный.



— Послушай,— тихо сказал Славка.— Я тебя к себе не звал. Не правда ли?

— Дохловатый какой-то,— поморщился я.— Лучше бы, дядя, с кем-нибудь из тех, что у сетки скачут.

— Экое дело, скачут! Козел тоже скачет, да что толку? А то мальчик машину какую-то строит. Из такого скакуна клоун выйдет. А из этого, глядишь, Эдисон какой-нибудь... изобретатель. Да ты про Эдисона слыхал ли?

— Слыхал,— буркнул я.— Это который телефон выдумал.

— Ну, вот и пойди, пойди, познакомься, а я тут в тени газету почитаю.

Белокурый мальчик с большими серыми глазами оставил на столике свои чертежи, планки и пошел к будке. Пока он что-то там спрашивал, я сел к столику. Он вернулся, держа в руках карандаш и циркуль. Он не рассердился, увидев, что я рассматриваю и трогаю его работу, и только тихо сказал:

— Ты, пожалуйста, не сломай планку, она очень тонкая.

— Нет,— усмехнулся я,— не сломаю. Это ты что мастеришь? Трактор?

— О, что ты!— удивленно ответил мальчик.— Разве ты не видишь, что это модель ветряного двигателя? Это работа тонкая.

— «Тонкая»! «Тонкая»!— позабывая дядины наставления, передразнил я.— Ты бы лучше шел на сетку кверх ногами прыгать, а то все равно потом выкрасить да выбросить.

Мальчик поднял на меня задумчивые серые глаза. Грубость моя его, очевидно, удивила, и он подыскивал слова, как мне ответить.

— Послушай,— тихо сказал он.— Я тебя к себе не звал. Не правда ли? Если тебе нравится прыгать на сетке, пойди и прыгай.— Он замолчал, сел, взял

циркуль и, взглянув на мое покрасневшее лицо, добавил: — Я тоже люблю лазить и прыгать, но с тех пор, как я в прошлом году выбросился с парашютом из горящего самолета, прыгать мне уже нельзя.

Он вздохнул и улыбнулся.

Краска все гуще и гуще заливала мне щеки, как будто я лицом попал в крапиву.

— Извини,— сказал я.— Это я дурак... Может быть, тебе помочь? Мне все равно делать нечего.

Теперь смутился сероглазый мальчик.

— Почему же дурак?— запинаясь, возразил он.— Зачем это? Ну, если хочешь, возьми этот квадрат, попроси в будке дрель и просверли, где отмечены дырочки. Постой, они тебе так не дадут! У тебя ученический билет не с собой? Ну, тогда возьми мой.— И он протянул мне затрепанную красную книжечку.

Я заглянул в билет. Его звали Славой, фамилия — Грачковский. Он был мне ровесник. Мы дружно мастерили двигатель, когда к нам подошел дядя и протянул две плитки мороженого.

— Мы познакомились,— объяснил я.— Его зовут Славой. И он прыгнул из горящего самолета на парашюте.

— Чаще меня зовут Славка,—поправил мальчик.— А с парашютом это я не сам прыгнул — меня отец выкинул. Я же только дернул за кольцо, попал на крышу водопроводной башни и, уже свалившись оттуда, сломал себе ногу.

— Но она ходит?

— Ходить-то ходит, да нельзя пока быстро бегать.—Он посмотрел на дядю, улыбнулся и спросил:— Это вы вчера стреляли в тире и поправили меня, чтобы я не сваливал набок мушку? Ой, вы хорошо стреляете!

— Старый стрелок-пехотинец, — скромно ответил дядя.— Стрелял в германскую, стрелял и в гражданскую.

«Эге, стрелок-пехотинец!— покосился я на дядю.— Так ты уже давно Славку приметил! А я-то думал, что мы его в товарищи выбрали случайно!»

Вскоре мы со Славкой расстались и уговорились назавтра встретиться здесь же.

— Вот человек!— похвалил дядя Славку.— Это тебе не то что какой-нибудь молодец, который только и умеет к мачехе... в ящик... Ну, да ладно, ладно! Ты с самолета попробуй прыгни, тогда и хорохорься. А то не скажи ему ни слова. Динамит! Порох!.. Ты давайка с ним покрепче познакомься... Домой к нему зайди... Посмотришь, как он живет, чем в жизни занят, кто таковы его родители... Эх,— вздохнул дядя,— кабы нам да такую молодость! А то что?.. Пролетела, просвистела! Тяжкий труд, черствый хлеб, свист ремня, вздохи, мечты и слезы... Нет, нет! Ты с ним обязательно познакомься; он скромен, благороден, и я с удовольствием пожал его молодую руку.

Дядя проводил меня только до церковной ограды.

— Вот,— сказал он,— спустишься по тропе на откос, а там через дыру забора—и ты в саду, дома. Днем да без вещей здесь куда ближе. А я приду попозже.

Насвистывая, осторожно спускался я по крутому склону. Добравшись уже до разваленной беседки, я услышал шум и увидел, как во дворике промелькнуло лицо старухи. Волосы ее были растрепаны, и она что-то кричала.

Тотчас же вслед за ней из кухни с топором в руке выбежал ее престарелый сын; лицо у него было мокрое и красное.

— Послушай!— запыхавшись и протягивая мне то-

пор, крикнул он.— Не можешь ли ты отрубить ей голову?

— Нет, нет, не могу!— завопил я отскакивая.— Я... я кричать буду!

— Но она же, дурак, курица! — гневно гаркнул на меня бородатый.— Мы насилу ее поймали, и у меня дрожат руки.

— Нет, нет!— еще не оправившись от испуга, бормотал я.— И курице не могу... никому не могу... Вы погодите... Вот придет дядя, он все может.

Я пробрался к себе и лег на кровать. Было теперь неловко, и я чувствовал себя глупым. Чтобы отвлечься, я развернул и стал читать газету.

Прочел передовицу. В Испании воевали, в Китае воевали. Тонули корабли, гибли под бомбами города. А кто топил и кто бросал бомбы, от этого все отказывались.

Потом стал читать происшествия. Здесь все было куда как понятней.

Вот автобус налетел на трамвай — стекла выбиты, жертв нет. «Не зевай, шофер, счастливо еще отделался!»

Вот шестилетний мальчишка свалился с моста в воду, и сразу же за ним бросились трое: его мать, милиционер и старик, торговавший с лотка папиросами. Подлетела лодка и подобрала всех четверых. «Молодцы люди! А мальчишке дома надо бы задать дёру».

А вот объявление: какой-то дяденька продает велосипед, он же купит заграничную шляпу. «Глупо! Я бы никогда не продал. Черта ли толку в шляпе да без велосипеда?» А вот, стоп!.. Я сжал и подвинул к глазам газету. А вот... ищут меня... «Разыскивается мальчик четырнадцати лет, Сергей Щербачов. Брюнет.

На виске возле левого глаза родинка. Сообщить: Москва, телефон Г 0-48-64».

«Так, так! Значит, вернулась Валентина. Телефон не наш, не домашний, значит, ищет милиция».

Трясущейся рукой я подвинул дорожное дядино зеркальце.

Долго и тупо глядел. «Да, да, вон он и я. Вот брюнет. Вот родинка».

«Разыскивается...» Слово это звучало тихо и приглушенно. Но смысл его был грозен и опасен.

Вот они скользят по проводам, телеграммы: «Ищите! Ищите!.. Задержите!» Вот они стоят перед начальником, спокойные, сдержанные агенты милиции. «Да,— говорят они,— товарищ начальник! Мы найдем гражданина Сергея Щербачова, четырнадцати лет, брюнета с родинкой,— того, что взламывает ящики и продает старьевщикам чужие вещи. Он, вероятно, живет в каком-нибудь городе со своим подозрительным дядей, например в Киеве, и мечтает безнаказанно поступить в мичманскую школу, чтобы плавать на советских кораблях в разные страны. Этот лживый барабанщик, которого давно уже вычеркнули из списков четвертого отряда, вероятно, будет плакать и оправдываться, что все вышло как-то нечаянно. Но вы ему не верьте, потому что не только он сам такой, но его отец осужден тоже».

Я швырнул зеркало и газету. Да, все именно так, и оправдываться было нечем.

Ни возвращаться домой, ни попадать в исправительный дом я не хотел. Я упрямо хотел теперь в мичманскую школу. И я решил бороться за свое счастье.

Насухо вытер я глаза и вышел на улицу.

Постовые милиционеры, дворники с бляхами, про-

хожие с газетой — все мне теперь казались подозрительными и опасными.

Я зашел в аптеку и, не зная точно, что мне нужно, долго толкался у прилавка, до тех пор, пока покупатели не стали опасливо поглядывать на меня, придерживая рукой карманы, и продавец грубо не спросил, что мне надо.

Я попросил тюбик хлородонта и поспешно вышел.

Потом я очутился возле парикмахерской. Зашел.

— Подкоротить? Под машинку? Под бокс? Под бобрик?— равнодушно спросил парикмахер.

— Нет,— сказал я.— Бритвой снимайте наголо.

Пряди темных волос тихо падали на белую простыню. Вот он показался на голове, узкий шрам. Это когда-то я разбился на динамовском катке. Играла музыка. Катались с Ниной. Было шумно, морозно, весело...

Уши теперь торчали, и голова стала круглой. На лице резче выступил загар.

Вышел, выдавил из тюбика немного зубной пасты, смазал на виске родинку. Брови на солнце выцвели: попробуй-ка разбери теперь, брюнет или рыжий.

Сверкали на улице фонари. Пахло теплым асфальтом, табаком, цветами и водой.

«Никто теперь меня не узнает и не поймает,— думал я.— Отдаст меня дядя в мичманскую школу, а сам уедет в Вятку... Ну и пусть! Буду жить один, буду стараться. А на все прошлое плюну и забуду, как будто бы его и не было».

Влажный ветерок холодил мою бритую голову. Шли мне навстречу люди. Но никто из них не знал, что в этот вечер твердо решил я жизнь начинать заново и быть теперь человеком прямым, смелым и честным.

...Было уже поздно, и, спохватившись, я решил пройти домой ближним путем.

Темно и глухо было на пустыре за церковной оградой. Оступаясь и поскальзываясь, добрался я до забора, пролез в дыру и очутился в саду. Окна нашей комнаты были темны — значит, дядя еще не возвращался.

Это обрадовало меня, потому что долгое отсутствие мое останется незамеченным. Тихо, чтобы не разбудить внизу хозяев, подошел я к крылечку и потянул дверь. Вот тебе и раз! Дверь была заперта. Очевидно, они ожидали, что дядя по возвращении постучится.

Но то дядя, а то я! Мне же, особенно после того, как я сегодня обидел хозяина, стучаться было совсем неудобно.

Я разыскал скамейку и сел в надежде, что дядя вернется скоро.

Так я просидел с полчаса или больше. На траву, на листья пала роса. Мне становилось холодно, и я уже сердился на себя за то, что не отрубил курице голову. Экое дело—курица! А вдруг вот дядя где-нибудь заночует,— что тогда делать?

Тут я вспомнил, что сбоку лестницы, рядом с уборной, есть окошко и оно, кажется, не запирается.

Я снял сандалии, сунул их за пазуху и, придерживаясь за трухлявый наличник, встал босыми ногами на уступ. Окно было приоткрыто. Я вымазался в пыли, оцарапал ногу, но благополучно спустился в сени. Я лез не воровать, не грабить, а просто потихоньку, чтобы никого не потревожить, пробирался домой. И вдруг сердце мое заколотилось так сильно, что я схватился рукой за грудную клетку. Что такое? Спокойней!

Однако дыхание у меня перехватило, и я в страхе уцепился за перила лестницы.

Кто его знает почему, но мне вдруг показалось, что старик Яков совсем не исчез — там, далеко, в Липецке,— а где-то притаился здесь, совсем рядом.

Несколько мгновений эта нелепая, упрямая мысль крепко держала мою голову, и я мучительно силился понять, в чем дело.

Тихонько поднялся я наверх — и опять стоп!

Не из той комнаты, где мы жили, а из пустой, которая выходила окном к курятнику, пробивался через дверные щели слабый свет. Значит, дядя уже давно был дома. Прислушался. Разговаривали двое: дядя и кто-то незнакомый. Никакого старика Якова, конечно, не было.

— Вот, — говорит дядя,— сейчас будет и готово. Этот пакет туда, а этот сюда. Понятно?

— Понятно!

Куда «туда» и куда «сюда» — мне это было совсем непонятно.

— Теперь все убрать. И куда это мой мальчишка запропал? (Это обо мне.)

— Вернется! Или немного заблудился. А то еще в кино пошел. Нынче дети какие! А мать у него кто?

— Мачеха!— ответил дядя.— Кто ее знает, какая-то московская. Мы на эту квартиру случайно, через своего человека напали. Мачеха на Кавказе. Мальчишка один. Квартира пустая. Лучше всякой гостиницы. Он мне сейчас в одном деле помогать будет.

«Как кто ее знает?— ахнул я.— Ведь ты же мой дядя!»

— Ну, и последнее готово! Все наука и техника. Осторожней, не разбейте склянку. Но куда же все-таки запропал мальчишка?

Я тихонько попятился, спустился по лестнице, вылез обратно в сад через окошко, обул сандалии и гром-

ко постучался в запертую дверь. Отворили мне не сразу.

— Это ты, бродяга? Наконец-то!—раздался сверху дядин голос.

— Да, я.

— Тогда погоди, штаны да туфли надену, а то я прямо с постели.

Прошло еще минуты три, пока дядя спустился по лестнице.

— Ты что же полуночничаешь? Где шатался?

— Я вышел погулять... Потом сел не на тот трамвай. Потом у меня не было гривенника, я шел, да и немного заблудился.

— Ой, ты без гривенника на трамваях никогда не ездил?— проворчал дядя.

Но я уже понял, что ругать он меня не будет и, пожалуй, даже доволен, что сегодня вечером дома меня не было.

В коридоре и во всех комнатах было темно. Не зажигая огня, я разделся и скользнул под одеяло. Дверь внизу тихонько скрипнула. Кто-то через нижнюю дверь вышел.

И только сейчас, лежа в постели, я наконец понял, почему мне недавно померещилось близкое присутствие старика Якова. Как и в тот раз, когда он впервые очутился в нашей квартире, мне почудился такой же сладковато-приторный запах — не то эфира, не то еще какой-то дряни. «Очевидно,— подумал я,— дядя опять какое-то лекарство пролил... Но что же он за человек? Он меня поит, кормит, одевает и обещает отдать в мичманскую школу, и, оказывается, он даже не знает Валентины и вовсе мне не дядя!» Тогда я стал припоминать все прочитанные мною книги из жизни знаменитых и неудачливых изобретателей и ученых.

«А может быть,— думал я,— дядя мой совсем и не жулик. Может быть, он и правда какой-нибудь ученый или химик. Никто не признает его изобретения, или что-нибудь в этом роде. Он втайне ищет какой-либо утерянный или украденный рецепт. Он одинок, и никто не согреет его сердце. Он увидел хорошего мальчика (это меня), который тоже одинок, и взял меня с собою, чтобы поставить на хорошую жизнь. Конечно, хорошая жизнь так, как у нас началась в вагоне, не начинается... Но... я ничего не знаю. Мне бы только вырваться на волю, в мичманскую школу. Да поскорее, потому что я ведь решил уже жить правдиво и честно... Верно, что я уже и сегодня успел соврать и про трамвай и про то, что заблудился. Но ведь он же мне и сам соврал первый. «Ты,— говорит,— погоди... Я только что с постели». Нет, брат! Тут ты меня не обманешь. Тут я и сам химик!»

Несколько дней мы прожили совсем спокойно. Каждое утро бегал я теперь в парк, и там мы встречались со Славкой.

Однажды в парк зашел Славкин отец, тоже худой белокурый человек с тремя шпалами в петлицах.

Прищурившись, глянул он на Славкину модель ветродвигателя, сильными пальцами грубовато и быстро выломал распорку, которую только что с таким трудом мы вставили на место, и уверенно заявил, что здесь должна быть не распорка, а стягивающая скрепка, иначе при работе разболтается гнездо мотора. С обидой и азартом кинулись мы к чертежу, но, оказывается, Славкин отец был совершенно прав.

Он улыбнулся, показал нам кончик языка. Поцеловал Славку в лоб, что меня удивило, потому что Славка был совсем не маленький, и, тихонько насвисты-

вая, быстро пошел через площадку, старательно обходя копавшихся в песке маленьких ребятишек.

— Догадливый! — сказал я. — Только подошел, глянул — кряк!— и выломал.

— Еще бы не догадливый!— спокойно ответил Славка.— Такая уж у него работа.

— Он военный инженер? Он что строит?

— Разное,— уклончиво ответил Славка и с гордостью добавил:— Он очень хороший инженер! Это он только такой с виду.

— Какой?

— Да вот какой — смеется и язык высунул... Ты думаешь, он молодой? Нет, ему уже сорок два года. А твоему отцу сколько? Он кто?

— У меня дядя...— запнулся я.— Он, кажется, ученый... химик...

— А отец?

— А отец... отец... Эх, Славка, Славка! Что же ты, искал, искал контргайку, а сам ее каблуком в песок затоптал — и не видишь.

Наклонившись, долго выковыривал я гайку пальцем и, сидя на корточках, счищал и сдувал с нее песчинки.

Я кусал губы от обиды. Сколько ни говорил я себе, что теперь я должен быть честным и правдивым,— язык так и не поворачивался сказать Славке, что отец у меня осужден за растрату.

Но я и не соврал ему. Я не сказал ничего, замял разговор, засмеялся, спросил у него, сколько сейчас времени, и сказал, что пора кончать работу.

На другой день дядя вызвался проводить меня в гости к Славке. Славка жил далеко. Домик они занимали красивый, небольшой — в одну квартиру.

Встретили нас Славка и его бабка — старуха хлопотливая, говорливая и добродушная. Дядя попросил подать ему через окно воды, но бабка пригласила его в комнаты и предложила квасу.

Дядя неторопливо пил стакан за стаканом и, прохаживаясь по комнатам, похваливал то квас, то Славку, то Славкину светлую, уютную квартиру.

Он был огорчен тем, что не застал Славкиного отца дома, и через полчаса ушел, пообещавшись зайти в другой раз.

Едва только он ушел, бабка сразу же заставила меня насильно выпить стакан молока, съесть блин и творожную ватрушку, причем Славка — нет, чтобы за меня заступиться,— сидел на скамье напротив, болтал ногами, хохотал и подмигивал.

Потом он мне показал свой альбом открыток. Это были не теперешние открытки, а старинные, военные. Напечатанные на шершавой, грубой бумаге, теперь уже полинявшие, потертые, они рассказывали о днях гражданской войны.

Вот стоит в синей кожанке человек. В руках блестит светло-синяя сабля. Небо синее, земля, деревья и трава — черно-синие. Возле человека осталось всего четыре товарища, и на их папахи, на мужественные лица кровавыми полосами падают лучи огромной пятиконечной звезды.

Внизу, под открыткой, подпись: «Смерть шахтер-комиссара Андрея Бутова с товарищами в бою под Кременчугом». И еще помельче: «Напечатано походной типографией 12-й армии, 1919 г.»

— Это очень редкая открытка,— бережно разглаживая ее, объяснил мне Славка.— Их всего-то, может, и было напечатано штук двести — триста. Но и вот эта тоже попадается не часто. Тут, смотри, со сти-

хами: «Гей, гей! Не робей!» Видишь, это красные гонят Юденича. А вот без стихов... Тоже гонят. А это всадник в бой мчится. Отстал, должно быть. А на небе тучи... тучи... А это просто так... девчонка с наганом. Комсомолка, наверное. Видишь, губы сжала, а глаза веселые. Они теперь повырастали. У мамы подруга есть, Камкова Клавдюшка, тоже там была... Так ей теперь уже тридцать шесть, что ли... Э-э, брат! Погоди, погоди!— рассмеялся вдруг Славка. Закрыв ладонью альбом, он посмотрел на меня, потом опять в альбом, потом схватил со столика зеркало.—А это кто?

Передо мной лежала открытка, изображавшая совсем молоденького паренька в такой же, как у меня, пилотке. У пояса его висела кобура, в руке он держал трубу.

— Как кто? Сигналист! Тут так и написано.

— Это ты!— подвигая мне зеркало, обрадовался Славка.— Ну, посмотри, до чего похоже! Я еще когда тебя в первый раз увидел — на кого, думаю, он так похож? Ну конечно, ты! Вот нос... вот и уши немного оттопырены. Возьми!— сказал он, доставая из гнезда открытку.— У меня таких две, на твое счастье. Бери, бери да радуйся!

Молча взял я Славкин подарок. Бережно завернул его и положил к себе в бумажник.

Мы вышли на задний дворик. Огромные, почти в рост человека, торчали там лопухи, и под их широкой тенью суетливо бегали маленькие желтые цыплята.

— Славка,— осторожно спросил я,— а как у тебя нога? Тебе ее потом совсем вылечат?

— Вылечат!— щурясь и отворачиваясь от солнца, ответил Славка.— Ну, куда, дурак? Чего кричишь?— Он схватил заблудившегося цыпленка и бережно сунул его в лопухи.— Туда иди. Вон твоя компания.—

Он отряхнул руки, прищелкнул языком и добавил:— Нога — это плохо. Ну ничего, не пропаду. Не такие мы люди!

— Кто мы?

— Ну, мы... все...

— Кто все? Ты, папа, мама?

— Мы, люди,— упрямо повторил Славка и недоуменно посмотрел мне в глаза.— Ну, люди!.. Советские люди! А ты кто? Банкир, что ли?

Я отвернулся. Я вынул из кармана складной нож. Это был хороший кривой нож, крепкой стали, с дубовой полированной рукояткой и с блестящим карабинчиком. Я знал, что Славке он очень нравится.

— Возьми,— сказал я.— Дарю на память. Да бери, бери! Ты мне сигналиста подарил, и я взял!

— Но то — пустяк,— возразил Славка.— У меня есть еще, а у тебя другого ножа нет!

— Все равно бери! — твердо сказал я.— Раз я подарил, то теперь обижусь, выкину, но не возьму обратно.

— Хорошо, я возьму,— согласился Славка.— Спасибо. Только сигналист пусть в счет не идет. Но у меня есть карманный фонарик с тремя огнями — белый, красный и зеленый. И ты его возьмешь тоже...— Он подумал.— Только вот что: он у меня не здесь, он у мамы. Через три дня отец отвезет меня к ней в деревню, а сам в тот же день вернется обратно. Я его передам отцу, отец отдаст бабке, а она — тебе. Дай честное слово, что ты зайдешь и возьмешь!

Я дал.

— Так ты уезжаешь?— пожалел я.— Далеко? Надолго?

— Надолго, до конца лета, к маме. Но это не очень далеко. Отсюда пароходом вверх по Десне километ-

ров семьдесят, а там от пристани километров десять лесом. Ну, пойдем к бабке на кухню.

— Бабушка,— сказал Славка, тыча ей под нос блестящий кривой нож.— Вот, мне подарили. Хорош ножик! Острый!

— Выкинь, Славушка!— посоветовала старуха.— Куда тебе такой страшенный? Еще зарежешься.

— Ты уж старая,— обиделся Славка,— и ничего в ножах не понимаешь. Дай-ка я что-нибудь стругану. Дай хоть вот эту каталку. Ага, не даешь! Значит, сама видишь, что нож хороший! Бабушка, я с папой пришлю фонарь. Ну, помнишь, я еще тебя около курятника напугал? И ты его отдашь вот этому мальчику. Погляди на него, запомнишь?

— Да запомню, запомню,— ухватив Славку белыми от муки руками, потрясла его старуха.— Вы тут стойте, не уходите, я сейчас вас кормить буду.

— Только не меня! — испугался я. — Это его... Я уже кормленый...

— Ладно, ладно!— отскакивая к двери, согласился Славка, и уже у самого порога он громко закричал:— Только я гречневой каши есть не буду-у-у!

— Врешь, врешь! Все будешь,— ахнула бабка и, вытирая мокрое лицо фартуком, жалобно добавила:— Кабы тебя, милый мой, с ероплана не спихнули, я бы взяла хворостину и показала, какое оно бывает «не буду»!

Славка проводил меня до калитки, и тут мы с ним попрощались, потому что в следующие два дня он должен был принимать в клинике какие-то ванны и на площадку прийти не обещался.

Теперь, когда я узнал, что Славка уезжает, мне еще крепче захотелось в Одессу.

Дяди дома не было. Я сел за стол у распахнутого окошка, отвинтил крышку дядиной походной чернильницы, подвинул к себе листок бумаги и от нечего делать взялся сочинять стихи.

Это оказалось вовсе не таким трудным, как говорил мне дядя.

Например, через полчаса уже получилось:

Из Одессы капитан
Уплывает в океан.
На борту стоят матросы,
Лихо курят папиросы.
На брегу стоят девицы,
Опечалены их лица.
Потому что, налетая,
Всем покоя не давая,
Ветер гнал за валом вал
И сурово завывал.

Выходило совсем неплохо. Я уже хотел было продолжать описание дальнейшей судьбы отважного корабля и опечаленных разлукой девиц, как меня позвала старуха.

С досадой высунулся я через окно, раздвинул ветви орешника и вежливо спросил, что ей надо.

Она приказала мне слазить в погреб и поставить для дяди на холод кринку простокваши.

Я покривился, однако тотчас же вышел и полез.

Вернувшись, я попробовал было продолжать свои стихи, но, увы,— вероятно, оттого, что в сыром, темном погребе я стукнулся лбом о подпорку,— вдохновение исчезло, и ничего у меня дальше не получалось.

Я решил переписать начисто то, что сделано, и положить стихи на дядин столик, чтобы он подивился новому моему таланту.

Однако хорошей бумаги на столе больше не было.

Тогда я вспомнил, что в головах у дяди, под матрацем, завернутая в газету, лежит целая пачка.

Пачку эту я развернул, достал несколько листков и стал переписывать. Только что успел я дойти до половины, как опять меня позвала старуха. Я высунулся через окошко и теперь уже довольно грубо спросил, что ей от меня надо. Она приказала мне лезть в погреб и достать пяток яиц, потому что ей надо ставить тесто для блинчиков, которых, конечно, дядя захочет поесть вместе с простоквашей.

Я плюнул. Выскочил. Полез. Долго возился, отыскивая впотьмах корзинку, и, вернувшись, твердо решил больше на старухин зов не откликаться. Сел за стол. Что такое? Листка с моими стихами на столе не было. Удивленный и даже рассерженный, заглянул под стол, под кровать... Распахнул дверь коридора. Нету!

И я решил, что, должно быть, в мое отсутствие в комнату заскочили два наших сумасшедших котенка и, прыгая, кувыркаясь, как-нибудь уволокли листок за окно, в сад. Вздохнув, я взялся переписывать наново. Дописал до половины, загляделся на скачущего по подоконнику воробья и задумался.

«Вот,— думал я,— клюнет, подпрыгнет, посмотрит, опять клюнет, опять посмотрит... Ну, что, дурак, смотришь? Что ты в нашей человеческой жизни понимаешь? Хочешь? Слушай!»

Я потянулся к листку со стихами и, просто говоря, обалдел. Первых четырех только что написанных мною строк на бумаге уже не было. А пятая, та, где говорилось о стоящих на берегу девицах, быстро таяла на моих глазах, как сухой белый лед, не оставляя на этой колдовской бумаге ни следа, ни пятнышка.

Крепкая рука опустилась мне на плечо, и, едва не

слетев со стула, я увидел незаметно подкравшегося ко мне дядю.

— Ты что же это, негодяй, делаешь?— тихо и злобно спросил он.— Это что у тебя такое?

Я вскочил, растерянный и обозленный, потому что никак не мог понять, почему это мои стихи могли привести дядю в такую ярость.

— Ты где взял бумагу?

— Там,— и я ткнул пальцем на кровать.

— «Там, там»! А кто тебе, дряни такой, туда позволил лазить?

Тут он схватил листки, в том числе и те, где были начаты стихи об отважном капитане, осторожно разгладил их и положил обратно под матрац, в папку.

Но тогда, взбешенный его непонятной руганью и необъяснимой жадностью, я плюнул на пол и отскочил к порогу.

— Что вам от меня надо?— крикнул я.— Что вы меня мучаете? Я и так с вами живу, а зачем — ничего не знаю! Вам жалко трех листочков бумаги, а когда в вагонах... так чужого вам не жалко! Что я вас, ограбил, обокрал? Ну, за что вы на меня сейчас набросились?

Я выскочил в сад, забежал на глухую полянку и уткнулся головой в траву.

Очевидно, дяде и самому вскоре стало неловко.

— Послушай, друг мой,— услышал я над собой его голос.— Конечно, я погорячился, и бумаги мне не жалко. Но скажи, пожалуйста...— тут голос его опять стал раздраженным,— что означают все эти твои фокусы?

Я недоуменно обернулся и увидел, что дядя тычет себе пальцем куда-то в живот.

— Но, дядя,— пробормотал я,— честное слово... я больше ничего...

— Хорошо «ничего»! Я пошел утром переменить брюки, смотрю — и на подтяжках, да и внизу,— ни одной пуговицы! Что это все значит?

— Но, дядя,— пожал я плечами,— для чего мне ваши брючные пуговицы? Ведь это же не деньги, не бумага и даже не конфеты. А так... дрянь! Мне и слушать-то вас прямо-таки непонятно.

— Гм, непонятно?! А мне, думаешь, понятно? Что же, по-твоему, они сами отсохли? Да кабы одна, две, а то все начисто!

— Это старуха срезала,— подумав немного, сказал я.— Это ее рук дело. Она, дядя, всегда придет к вам в комнату, меня выгонит, а сама все что-то роется, роется... Недавно я сам видел, как она какую-то вашу коробочку себе в карман сунула. Я даже хотел было сказать вам, да забыл.

— Какую еще коробочку?— встревожился дядя.— У меня, кажется, никакой коробочки... Ах, цветок бездумный и безмозглый!— спохватился дядя.— Это она у меня мыльный порошок для бритья вытянула. А я-то искал, искал, перерыл всю комнату! Глупа, глупа! Я, конечно, понимаю: повороты судьбы, преклонные годы... Но ты когда увидишь ее у нас в комнате, то гони в шею.

— Нет, дядя,— отказался я,— я ее не буду гнать в шею. Я ее и сам-то боюсь. То она меня зовет Антипкой, то Степкой, а чуть что — замахивается палкой. Вы лучше ей сами скажите. Да вон она, возле клумбы цветы нюхает! Хотите, я вам ее сейчас кликну?

— Постой! Постой! — остановил меня дядя. — Я лучше потом... Надоело! Ты теперь расскажи, что ты у Славки делал.

Я рассказал дяде, как провел время у Славки, как он подарил мне сигналиста, и пожалел, что через три дня Славку отец увезет к матери. Дядя вдруг разволновался. Он встал, обнял меня и погладил по голове.

— Ты хороший мальчик,— похвалил меня дядя.— С первой же минуты, как только я тебя увидел, я сразу понял: «Вот хороший, умный мальчик, и я постараюсь сделать из него настоящего человека». Ге! Теперь я вижу, что я в тебе не ошибся. Да, не ошибся. Скоро уже мы поедем в Одессу. Начальник мичманской школы — мой друг. Помощник по учебной части — тоже. Там тебе будет хорошо. Да, хорошо. Конечно, многое... то есть, гм... кое-что тебе кажется сейчас не совсем понятным, но все, что я делаю, это только во имя... и вообще для блага... Помнишь, как у Некрасова: «Вырастешь, Саша, узнаешь...»

— Дядя,— задумчиво спросил я,— а вы не изобретатель?

— Тсс...— приложив палец к губам и хитро подмигнув мне, тихо ответил дядя.— Об этом пока не будем... ни слова!

Дядя стал ласков и добр. Он дал мне пятнадцать рублей, чтобы я их, на что хочу, истратил. Похлопал по правому плечу, потом по левому, легонько ткнул кулаком в бок и, сославшись на неотложные дела, тотчас же ушел.

Прошло три дня. Со Славкой повидаться мне так и не удалось — в парк он больше не приходил.

Бегая днем по городу, я остановился у витрины писчебумажного магазина и долго стоял перед большой географической картой.

Вот она и Одесса! Рядом города — Херсон, Нико-

лаев, Тирасполь, слева — захваченная румынами страна Бессарабия, справа — цветущий и знойный Крым, а внизу, далеко, до Кавказа, до Турции, до Болгарии, раскинулось Черное море...

...И волны бушуют вдали...
Товарищ, мы едем далеко,
Далеко от здешней земли.

Нетерпение жгло меня и мучило.

Я заскочил в лавку и купил компас. Вышел и остановился у витрины опять.

А вот он и север! Кольский полуостров. Белое море. Угрюмое море, холодное, ледяное. Где-то тут, на канале, работает мой отец. Последний раз он писал откуда-то из Сороки.

Сорока... Сорока! Вот она и Сорока. Вообще-то отец писал помалу и редко. Но последний раз он прислал длинное письмо, из которого я, по правде сказать, мало что понял. И если бы я не знал, что отец мой работает в лагерях, где вином не торгуют, то я бы подумал, что писал он письмо немного выпивши.

Во-первых, письмо это было не грустное, не виноватое, как прежде, а с первых же строк он выругал меня за «хвосты» по математике.

Во-вторых, он писал, что каким-то взрывом ему оторвало полпальца и ушибло голову, причем писал он об этом таким тоном, как будто бы там был бой и есть после этого чем похвалиться.

В-третьих, совсем неожиданно он как бы убеждал меня, что жизнь еще не прошла и что я не должен считать его ни за дурака, ни за человека совсем пропащего.

И это меня тогда удивило, потому что я был не

слепой и никогда не думал, что жизнь уже прошла. А если уж и думал, то скорей так: что жизнь еще только начинается. Кроме того, никогда не считал я отца за дурака и за пропащего. Наоборот, я считал его и умным и хорошим, но только если бы он не растрачивал для Валентины казенных денег, то было бы, конечно, куда как лучше!

И я решил, что, как только поступлю в мичманскую школу, тотчас же напишу отцу. А что это будет так — я верил сейчас крепко.

Задумавшись и улыбаясь, стоял я у блестящей витрины и вдруг услышал, что кто-то меня зовет:

— Мальчик, пойди-ка сюда!

Я обернулся. Почти рядом, на углу, возле рычага, который управляет огнями светофора, стоял милиционер и рукой в белой перчатке подзывал меня к себе.

«Г 0-48-64!»— вздрогнул я. И вздрогнул болезненно резко, как будто кто-то из прохожих приложил горячий окурок к моей открытой шее.

Первым движением моим была попытка бежать. Но подошвы как бы влипли в горячий асфальт, и, зашатавшись, я ухватился за блестящие поручни перед витриной магазина.

«Нет,— с ужасом подумал я,— бежать поздно! Вот она и расплата!»

— Мальчик!— повторил милиционер.— Что же ты стал? Подходи быстрее.

Тогда медленно и прямо, глядя ему в глаза, я подошел.

— Да,— сказал я голосом, в котором звучало глубокое человеческое горе.— Да! Я вас слушаю!..

— Мальчик,— сказал милиционер, мгновенно перекидывая рычаг с желтого огня на зеленый,— будь

добр, перейди улицу и нажми у ворот кнопку звонка к дворнику. Мне надо на минутку отлучиться, а я не могу.

Он повторил это еще раз, и только тогда я его понял.

Я не помню, как перешел улицу, надавил кнопку и тихо пошел было своей дорогой, но почувствовал, что идти не могу, и круто свернул в первую попавшуюся подворотню.

Крупные слезы катились по моим горячим щекам, горло вздрагивало, и я крепко держался за водосточную трубу.

— Так будь же все проклято!— гневно вскричал я и ударил носком по серой каменной стене.— Будь ты проклята,— бормотал я,— такая жизнь, когда человек должен всего бояться, как кролик, как заяц, как серая трусливая мышь! Я не хочу так! Я хочу жить, как живут все, как живет Славка, который может спокойно надавливать на все кнопки, отвечать на все вопросы и глядеть людям в глаза прямо и открыто, а не шарахаться и чуть не падать на землю от каждого их неожиданного слова или движения.

Так стоял я, вздрагивая; слезы катились, падали на осыпанные известкой сандалии, и мне становилось легче.

Кто-то тронул меня за руку.

— Мальчик,— участливо спросила меня молодая незнакомая женщина,— ты о чем плачешь? Тебя обидели?

— Нет,— вытирая слезы, ответил я,— я сам себя обидел.

Она улыбнулась и взяла меня за руку:

— Но разве может человек сам себя обидеть? Ты, может быть, ушибся, разбился?

Я замотал головой, сквозь слезы улыбнулся, пожал ей руку и выскочил на улицу.

Кто его знает почему, мне казалось, что счастье мое было уже недалеко...

И в этот день я был крепок. Меня не разбило громом, и я не упал, не закричал и не заплакал от горя, когда, спустившись по откосу, я пролез через дыру забора и увидел у нас в саду проклятого старика Якова.

Он сидел спиной ко мне, и они о чем-то оживленно разговаривали с дядей. Надо было собраться с мыслями.

Я проскользнул за кусты и боком, боком, вокруг холма с развалинами беседки, вышел к крылечку и прокрался наверх.

Вот я и у себя в комнате. Схватил графин, глотнул из горлышка. Поперхнулся. Зажав полотенцем рот, тихонько откашлялся. Осмотрелся. Очевидно, старик Яков появился здесь еще совсем недавно. Полотенце было сырое — не просохло. На подоконнике валялся только один окурок, а старик Яков, когда не притворялся больным, курил без перерыва. На кровати валялась дядина кепка и мятая газета. Вот и все! Нет, не все. Из-под подушки торчал кончик портфеля. Я глянул в окно. Через листву черемухи я видел, что оба друга все еще разговаривают. Я открыл портфель.

Салфетка, рубашка, два галстука, помазок, бритва, красные мужские подвязки. Картонная коробочка из-под кофе. Внутри что-то брякает. Раскрыл. Орден Трудового Знамени, орден Красной Звезды, значок МОПР, иголки, катушка ниток, пузырек с валерьяновыми каплями. Еще носки, носки... А это?

И я осторожно вытащил из уголка портфеля черный браунинг.

Тихий вопль вырвался у меня из груди. Это был как раз тот самый браунинг, который принадлежал мужу Валентины и лежал во взломанном мною ящике. Ну да!.. Вот она, выщербленная рукоятка. Выдвинул обойму. Так и есть: шесть патронов и одного нет.

Я положил браунинг в портфель, закрыл, застегнул и сунул под подушку.

«Что же делать? А что делается сейчас дома? Плевать там, конечно, на сломанный замок, на проданную горжетку! Горько и плохо, должно быть, пришлось молодому Валентининому мужу. Могут выругать и простить человека за потерянный документ. Без лишних слов вычтут потерянные деньги. Но никогда не простят и не забудут человеку, что он не смог сберечь боевое оружие! Оно не продается и не покупается. Его нельзя сработать поддельным, как документ, или даже фальшивым, как деньги. Оно всегда суровое, грозное и настоящее».

Кошкой отпрыгнул я к террасе и бесшумно повернул ключ, потому что по лестнице кто-то поднимался. Но это был не Яков и не дядя — они всё еще сидели в саду.

Я присел на корточки и приложил глаз к замочной скважине.

Вошла старуха.

Лицо ее показалось мне что-то чересчур веселым и румяным. В одной руке она держала букет цветов, в другой—свою лакированную палку. Цветы она поставила в стакан с водой. Потом взяла с тумбочки дядино зеркало. Посмотрела в него, улыбнулась. Потом, очевидно, что-то ей в зеркале не понравилось. Она высунула язык, плюнула. Подумала. Сняла со стены полотенце и плевок с пола вытерла. «Ах ты, старая кар-

га!— рассердился я.— А я-то этим полотенцем лицо вытираю!»

Потом старуха примерила белую кепку. Пошарила у дяди в карманах. Достала целую пригоршню мелочи. Отобрала одну монетку — я не разглядел, не то гривенник, не то две копейки,— спрятала себе в карман. Прислушалась. Взяла портфель. Порылась, вытянула одну красную мужскую подвязку старика Якова. Подержала ее, подумала и сунула в карман тоже. Затем она положила портфель на место и легкой, пританцовывающей походкой вышла из комнаты.

Мгновенно вслед за ней очутился я в комнате. Вытянул портфель, выдернул браунинг и спрятал в карман. Сунул за пазуху и оставшуюся красную подвязку. Бросил на кровать дядины штаны с отрезанными пуговицами. Подвинул на край стола стакан с цветами, снял подушку, пролил одеколон на салфетку и соскользнул через окно в сад.

Очутившись позади холма, я взобрался к развалинам беседки. Сорвал лист лопуха, завернул браунинг и задвинул его в расщелину. Спустился. Вылез через дыру. Прошмыгнул кругом вдоль забора и остановился перед калиткой.

Тут я перевел дух, вытер лицо, достал из кармана компас и, громко напевая: «По военной дороге...»,— распахнул калитку.

Дядя и старик Яков сразу же обернулись.

Как бы удивленный тем, что увидел старика Якова, я на секунду оборвал песню, но тотчас же, только потише, запел снова. Подошел, поздоровался и показал компас.

— Дядя,— сказал я,— посмотрите на компас. В какой стороне отсюда Одесса?

— Моряк! Лаперузо! Дитя капитана Гранта!— по-

хвалил меня дядя, очевидно довольный тем, что я не нахмурился и не удивился, увидев здесь старика Якова, который был теперь наголо брит — без усов, без диагоналевой гимнастерки с орденом, а в просторном парусиновом костюме и в соломенной шляпе.— Вон в той стороне Одесса. Сегодня мы проводим старика Якова на пристань к пароходу: он едет в Чернигов к своей больной бабушке, а тем временем я отвезу тебя в Одессу.

Это было что-то новое. Но я не показал виду и молча кивнул головой.

— Ты должен быть терпелив,— сказал дядя.— Терпение — свойство моряка. Помню, как-то плыли мы однажды в тумане... Впрочем, расскажу потом. Ты где бегал? Почему лоб мокрый?

— Домой торопился,— объяснил я.— Думал, как бы не опоздать к обеду.

— Нас сегодня старик Яков угощает,— сообщил дядя.— Не правда ли, добряк, ты сегодня тряхнешь бумажником? Ты подожди, Сергей, минутку, а мы зайдем в комнату. Там он с дороги отряхнется, почистится, и тогда двинем к ресторану.

Я проводил их взглядом, сел на скамью и, поглядывая на компас, принялся чертить на песке страны света.

Не прошло и трех минут, как по лестнице раздался топот, и на дорожку вылетел дядя, а за ним, без пиджака, в сандалиях на босу ногу, старик Яков.

— Сергей! — закричал он.— Не видел ли ты здесь старуху?

— А она, дядечка, на заднем дворике голубей кормит. Вот, слышите, как она их зовет? «Гули, гули!»

— «Гули, гули»!— хрипло зарычал старик Яков.— Я вот ей покажу «гули, гули»!

— Только ласково! Только ласково!— предупредил на ходу дядя.— Тогда мы сейчас же... Мы это разом...

Голуби с шумом взметнулись на крышу, а старуха с беспокойством глянула на подскочивших к ней мужчин.

— Только тише! Только ласково!— оборвал дядя старика Якова, который начал чертыхаться еще от самой калитки.

— Добрый день, хорошая погода!— торопливо заговорил дядя.— Птица-голубь — дар божий. Послушайте, мамаша, это вы нам сейчас принесли в комнату разные... цветочки, василечки, лютики?

— Для своих друзей,— начала было старуха,— для хороших людей... Ай-ай!.. Что он на меня так смотрит?

— Отдай добром, дура!— заорал вдруг старик Яков.— Не то тебе хуже будет!

— Только ласково! Только ласково!— загремел на Якова дядя.— Послушайте, дорогая: отдайте то, что вы у нас взяли. Ну, на что вам оно? Вы женщина благоразумная (молчи, Яков!), лета ваши преклонные... Ну, что вы, солдат, что ли? Вот видите, я вас прошу... Ну, смотрите, я стал перед вами на одно колено... Да затвори Яков, калитку! Кого еще там черт несет?!

Но затворять было уже поздно: в проходе стоял бородатый старухин сын и с изумлением смотрел на выпучившую глаза старуху и коленопреклоненного дядю. Дядя подпрыгнул, как мячик, и стал объяснять, в чем дело.

— Мама, отдайте!— строго сказал ее сын.— Зачем вы это сделали?

— Но на память! — жалобно завопила старуха.— Я только хотела на добрую, дорогую память!

— На память!— взбесился тогда не вытерпевший дядя.— Хватайте ее! Берите!.. Вон он лежит у нее в кармане!

— Нате! Подавитесь!— вдруг совершенно спокойным и злым голосом сказала старуха и бросила на траву красную резиновую подвязку.

— Это моя подвязка!— торжественно сказал старик Яков.— Сам на днях покупал в Гомеле. Давай выкладывай дальше!

Старуха швырнула ему под ноги две копейки и вывернула карман. Больше в карманах у нее ничего не было.

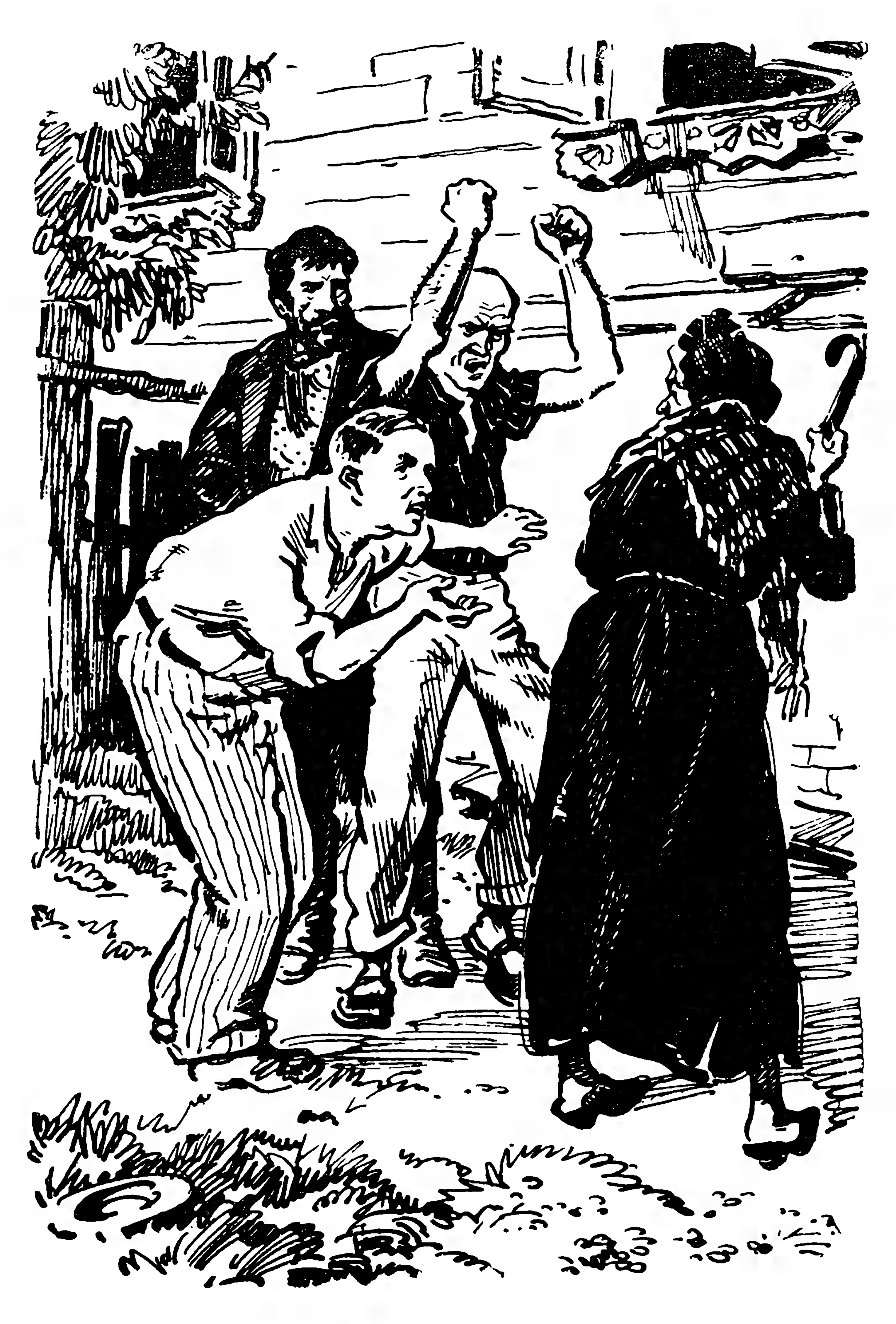
Два часа бились трое мужчин со старухой, угрожали, уговаривали, просили, кланялись... Но она только плевалась, ругалась и даже изловчилась ударить старика Якова по затылку палкой.

До отплытия черниговского парохода времени оставалось уже немного, и тогда, охрипшие, обозленные, дядя и Яков пошли одеваться.

Старик Яков переменил взмокшую рубаху. С удивлением глядел я на его могучие плечи; у него было волосатое загорелое туловище, и, как железные шары, перекатывались и играли под кожей мускулы.

«Да, этот кривоногий дуб еще пошумит,— подумал я.— А ведь когда он оденется, согнется, закашляет и схватится за сердце, ну как не подумать, что это и правда только болезненный беззубый старикашка!»

Перед тем как нам уже уходить на пристань, подошел старухин сын и сообщил, что в уборной в яме плавает вторая красная подвязка.



Два часа бились трое мужчин со старухой, угрожали, уговаривали, просили, кланялись...

Тут все вздохнули и решили, что полоумная старуха там же, по злобе, утопила и браунинг...

Но делать было нечего! Самим в яму лезть, конечно, никому не вздумалось, а привлекать к этому темному делу посторонних никто не захотел.

Я смотрел на холм с развалинами каменной беседки, думал о своем и, конечно, молчал.

На речной вокзал мы пришли рано. Только еще объявили посадку, и до отхода оставался час. Старик Яков быстро прошел в каюту и больше не выходил оттуда ни разу.

Мы с дядей бродили по палубе, и я чувствовал, что дядя чем-то встревожен. Он то и дело оставлял меня одного, под видом того, что ему нужно то в умывальник, то в буфет, то в киоск, то к старику Якову.

Наконец он вернулся чем-то обрадованный и протянул мне пригоршню белых черешен.

— Ба!— удивленно воскликнул он.— Посмотри-ка! А вот идет твой друг Славка!

— Разве тебе ехать в эту сторону?— бросаясь к Славке, спросил я.

— Я же тебе говорил, что вверх,— ответил Славка.— Ну-ка, посмотри, вода течет откуда?.. А ты куда? До Чернигова?

— Нет, Славка! Мы только провожаем одного знакомого.

— Жаль! А то вдвоем прокатились бы весело. У отца в каюте бинокль сильный... восьмикратный.

— Глядите,— остановил нас дядя.— Вон на воде какая комедия!

Крохотный сердитый пароходишко, черный от дыма, отчаянно колотил по воде колесами и тянул за собой огромную, груженную лесом баржу.

Тут я заметил, что мы остановились как раз перед окошком той каюты, что занимал старик Яков, и сейчас оттуда, сквозь щель меж занавесок, выглядывали его противные выпученные глаза. «Сидишь, сыч, а свету боишься»,— подумал я и потащил Славку на другое место.

Пароход дал второй гудок.

Дядя пошел к Якову, а мы попрощались со Славкой.

— Так не забудь зайти за фонарем,— напомнил он.— Отец вернется завтра обязательно.

— Ладно, зайду! Прощай, Славка! Будь счастлив!

— И ты тоже! Гей, папа! Я здесь!— крикнул он и бросился к отцу, который с биноклем в руках вышел на палубу.

Раньше, до ареста, у моего отца был наган, и я уже знал, что каждое оружие имеет свой единственный номер и, где бы оно ни оказалось, по этому номеру всегда разыщут его владельца.

Утром я вытряхнул печенье из фанерной коробки, натолкал газетной бумаги, положил туда браунинг, завернул коробку, туго перевязал бечевкой и украдкой от дяди вышел на улицу.

Тут я спросил у прохожего, где здесь в Киеве «стол находок».

В Москве из такого «стола» Валентина получила однажды позабытый в трамвае сверток с кружевами.

«Киев,— думал я,— город тоже большой, следовательно, и тут люди теряют всякого добра немало».

Мне объяснили дорогу.

Я рассчитывал, что, зайдя в этот «стол находок»,

я суну в окошечко сверток. «Вот,— скажу,— посмотрите, что-то там нашел, а мне некогда». И сейчас же удалюсь прочь. Пусть они как там хотят, так и разбираются.

Но первое, что мне не понравилось,— это то, что «стол» оказался при управлении милиции.

Поколебавшись, я все же вошел. Дежурный указал мне номер комнаты. Никакого окошечка там не было.

Позади широкого барьера сидел человек в милицейской форме, а на столе перед ним лежали разные бумаги и тут же блестящая калоша огромных размеров.

В очереди передо мной стояли двое.

— Итак,— спрашивал милиционер востроносого и рыжеусого человека,— ваше имя — Павло Федоров Павлюченко. Адрес: Большая Красноармейская, сорок. Означенная калоша, номер четырнадцатый, на левую ногу, обнаружена вами у ворот, проходя в пивную лавку номер сорок шесть. Так ли я записал?

— Так точно,— ответил рыжеусый.— Я как был вчера выпивши, то, значит, зашел сегодня, чтобы опять... этого самого...

— Это к факту не относится,— перебил его милиционер.— Получайте квиток и расписывайтесь.

— Это я распишусь — отчего же! Гляжу я... Мать честная! Лежит она, самая калоша... сияет. Я искал, искал — другой нету. Я человек честный, мне чужого не надо. Кабы еще пара, а то одна. Дай, думаю, отнесу! Может, и потерял ее свой же брат, труженик.

— Одна!— сурово заметил милиционер.— Кабы и пара, все равно снесть надо. Этакое глупое у вас разумение... Значит, сюда только и тащи, что самому не надо? Подходи следующий.

— Я человек честный,— пряча квитанцию, бормотал рыжеусый.— Мне не то что две... три нашел, и то снес бы. Да кака така нога номер четырнадцатый? Вон у меня нога... в самый раз... аккуратная. А это что же? На столбы обувка?..

Пошатываясь, он пошел к выходу, а вслед за ним проскользнул и я.

«Нет,— думал я,— если из-за одной калоши тут столько расспросов, то с моей находкой скоро мне не отвертеться».

Опечаленный вернулся я домой и засунул браунинг на прежнее место. Надо было придумывать что-то другое.

К вечеру я побежал на окраину, к Славкиной бабке.

— Не приезжал отец!— сказала она.— И то три раза из управления звонили да два раза с завода... Ну вот, слышите? Опять звонят.— И, отодвинув шипящую сковородку, она вперевалку пошла к телефону.

— Чистая напасть!— вздохнула она вернувшись.— Ну, задержался, ну, не угадал к пароходу... Так не дадут дня человеку побыть с женой да с матерью! Завтра приходи, милый! Да куда ж ты?.. Скушай пирожка, котлетку! Я и то наготовила, а есть некому.

Я поблагодарил добрую старуху, но от еды отказался.

По пути на площади мне попался киоск справочного бюро. Из любопытства подошел поближе и прочел, что в числе прочих здесь выдаются справки об условиях приема во все учебные заведения и цена всему этому делу полтинник.

Тогда я заполнил бланк на мичманскую школу го-

рода Одессы. За ответом велели приходить через полчаса.

В ожидании я пошел шататься по соседним уличкам, заглядывая в лавки, магазины, а то и просто в чужие окна.

Наконец-то полчаса прошли! Помчался к киоску. Схватил протянутую мне бумажку.

...Никакой мичманской школы в Одессе нет и не было.

Я зашатался. Горе мое было так велико, что я не мог даже плакать, и мне тогда хотелось, чтобы дядю этого убило громом или пусть бы он оступился и полетел вниз головой с обрыва в Днепр. На душе было пусто и холодно. Ничего теперь впереди не светило, не обнадеживало и не согревало.

Домой возвращаться не хотелось, но идти больше было мне некуда. И тогда я решил, что завтра же обворую дядю, украду рублей сто или двести и уйду куда глаза глядят. Может быть, проберусь к морю и наймусь на пароход. А может быть, спрячусь тайком в трюме,— в открытом море матросы ведь не выбросят... Впрочем, чего жалеть? Может быть, и выбросят... Вздор! Мысли путались.

Пришел домой и сразу лег спать. Когда вернулся дядя, я не слышал. Ночью дядя дернул меня за руку:

— Ты чего кричишь? Ляжь, как надо, а то ишь разбросался! И надо тебе целый день по солнцу шататься!

Я повернулся и точно опять куда-то провалился.

Проснулся. Солнце. Зелень. Голова горячая. Дяди уже не было. Попробовал было выпить молока и съесть булки — невкусно.

Тогда, вспомнив вчерашнее решение, лениво и не-

осторожно стал обшаривать чемоданы. Денег не нашел. Очевидно, дядя носил их с собой.

Вышел и задумчиво побрел куда-то. Щеки горели, и во рту было сухо. Несколько раз останавливался я у киосков и жадно пил ледяную воду.

Устал наконец и сел на скамейку под густым каштаном. Глубокое безразличие овладело мной, и я уже не думал ни о дяде, ни о старике Якове. Мелькали обрывки мыслей, какие-то цветные картинки. Поле, луг, речка. Тиль-тиль, тир-люли! И я опять вспоминаю: отец и я. Он поет:

Между небом и землей
Жаворонок вьется...

«Папа,— говорю ему я,— это замечательная песня. Но это же, право, не солдатская!»—«Как не солдатская? — и он хмурится.— Ну, вот весна, пахнет разогретой землей. Наконец-то сверху не сыплет снег, не каплет дождь, а греет через шинель теплое солнышко. Вот залегла цепь... Боя еще нет. А он сверху: тиль-тиль, тирлюли, тирлюли!.. Спокойно кругом, тихо... И вот тебе кажется: я лежу с винтовкой... А ведь кто-нибудь вспомнит и про меня и вздохнет украдкой. Как же не солдатская? Ну что? Теперь понял?»—«Да, да! Понял!»

Кто-то тронул меня за плечо. Лениво открыл я глаза и в страхе зажмурился снова.

Передо мной стоял тот самый пожилой человек, которого мы ограбили в вагоне. Я был брит, без пилотки, лицо мое загорело, лоб был влажен; он же был чем-то расстроен и не узнал меня.

— Мальчик,— спросил он, показывая на калитку,— ты не видел, хозяйка давно ушла из этого дома?

Молча качнул я головой.

— Э! Да ты, я вижу, братец, совсем спишь!— с досадой сказал он и, крикнув что-то шоферу, вскочил в машину и уехал.

Я огляделся и только теперь понял, что давно уже сижу на скамейке возле Славкиного дома и что человек этот только что стучался в их запертую калитку.

Быстро глянул я на табличку с названием улицы и номером дома. Когда-нибудь напишу я Славке письмо.

Что-то вокруг странно все, дико и непонятно.

Выхватил карандаш и торопливо стал отыскивать в бумажнике клочок чистой бумаги, чтобы записать адрес.

Нашел! Стоп! Карандаш задрожал и упал на камни, а я, придерживаясь за ограду, снова опустился на скамью.

Это был клочок, который дала мне в парке при прощании Нина. На нем был записан телефон. И это был как раз тот самый номер, которого я боялся больше смерти:

«Г 0-48-64»

Так, значит, это искала меня не милиция! Но кто же? Зачем? Но, может быть, я ошибся и в газете телефон записан совсем не тот? Надо было проверить. Скорей! Сейчас же!

Ни усталости, ни головной боли я больше не чувствовал. Добежал до угла и на повороте столкнулся со Славкиной бабкой. Ее вела под руку незнакомая мне женщина.

Я остановился и сказал ей, что за ней только что приезжала машина.

— Машина?— тихо переспросила она, и губы ее задергались.— Ах, что мне машина! Я и сама уже все знаю.

Я взглянул на нее и ужаснулся: глаза ее впали, лицо было чужое, серое. И дрожащим голосом она рассказала мне, что в лесу на обратном пути кто-то ударил Славкиного отца ножом в спину и сейчас он в больнице лежит при смерти.

Грозные и гневные подозрения сдавили мне сердце. Лоб мой горел. И, как шальной конь, широко разметавший гриву, я помчался домой узнавать всю правду.

Дома на столе я нашел записку. Дядя строго приказывал мне никуда не отлучаться, потому что сегодня мы поедем в Одессу.

По столу были разбросаны окурки, на кровати лежала знакомая соломенная шляпа. Из Чернигова от «больной бабушки» старик Яков вернулся что-то очень скоро.

— Убийцы! — прошептал я помертвевшими губами.— Вы сбросите меня под колеса поезда, и плыви тогда капитан в далекую Индию... Так вот зачем я был вам нужен!

«Пойди познакомься,— вспомнил я разговор в парке,— он мальчик, кажется, хороший». Бандиты,— с ужасом понял я,— а может быть, и шпионы!

Тут колени мои вздрогнули, и я почувствовал, что, против своей воли, сажусь на пол.

Кое-как бухнулся в кровать. Дотянулся до графина. Жадно пил.

«Г 0-48-64»

Вынул газету. Да, номер тот же самый! Лег. Лежал. Сон — не сон. Полудрема.

«Эх, дурак я, дурак! Так вот и такие бывают шпионы, добрые!.. «Скушай колбасы, булку»... «Кругом аромат, цветы, природа». А праздник — веселое Первое мая? А гром и грохот Красной Армии? А, не для вас же, чтоб вы сдохли, плакал я, когда видел в кино, как гибнет в волнах Чапаев!..»

Я вскочил, рванулся к пыльному телефону и позвонил.

— Дайте мне: Арбат ноль сорок восемь шестьдесят четыре.

— Но то в Москве, а это Киев,— ответил мне удивленный голос.— Даю вам междугородную.

Опять голос:

— Слушает междугородная!

— Дайте мне: Арбат ноль сорок восемь шестьдесят четыре,— все тем же усталым и настойчивым голосом попросил я.

— Москва занята,— певуче ответил телефон.— Наш лимит еще тридцать минут. На очереди три разговора. Если останется время, я вас вызову. Повторите номер.

Ничего я не понял. Повторил и уткнулся головой в подушку.

Сон навалился сразу. Капитан стоял на мостике и хотел пить. Но вода была сухая и шуршала, как газетная бумага.

Опять звонок. Длинный-длинный. Опомнился и сразу к телефону.

Голос. Через три минуты с вами будет говорить Москва. Разговор не задерживайте: в вашем распоряжении остается пять минут.

Стало легче.

И вдруг — на лестнице шаги. Шли двое. Все рухнуло! Но откуда взялась ловкость и сила? Я перемах-

нул через подоконник и, упираясь на выступ карниза, прижался к стене.

Голос дяди. А мальчишки все нет. Вот проклятый мальчишка!

Яков. Черт с ним! Надо бы торопиться.

Дядя (ругательство). Нет, подождем немного. Без мальчишки нельзя. Его сразу схватят, и он нас выдаст.

Яков (ругательство). Вот еще бестолковый дьявол! (Ругательство, еще и еще ругательство.)

Звонок по телефону. Я замер.

Яков. Не подходи!

Дядя. Нет, почему же? (В трубку.) Да! (Удивленно.) Какая Москва? Вы, дорогая, ошиблись, мы Москву не вызывали. (Трубка повешена.) Черт его знает что: «Сейчас с вами будет говорить Москва»!

Опять звонок.

Дядя. Да нет же, не вызывали! Как вы не ошибаетесь? С кем это вы только что говорили? А я вам говорю, что весь день сижу в комнате и никто не подходил к телефону. Как вы смеете говорить, что я хулиганю?.. (Трубка брошена. Торопливо.) Это что-то не то! Давай-ка собирайся, старик Яков!

«Они сейчас уйдут!— понял я.— Сейчас они выйдут и меня увидят».

Я соскользнул на траву: обжигаясь крапивой, забрался на холмик и лег среди развалин каменной беседки.

«Теперь хорошо! Пусть уйдут эти страшные люди. Мне их не надо... Уходите далеко прочь! Я один! Я сам!»

«Как уйдут?— строго спросил меня кто-то изнутри.— А разве можно, чтобы бандиты и шпионы на твоих глазах уходили, куда им угодно?»

Я растерянно огляделся и увидел между камнями пожелтевший лопух, в который был завернут браунинг.

«Выпрямляйся, барабанщик!— повторил мне тот же голос.— Выпрямляйся, пока не поздно».

— Хорошо! Я сейчас, я сию минуточку,— виновато прошептал я.

Но выпрямляться мне не хотелось. Мне здесь было хорошо — за сырыми, холодными камнями.

Вот они вышли. Чемоданы брошены, за плечами только сумки. Что-то орут старухе... Она из окошка показывает им язык. Остановились... Пошли.

Они не хотят идти почему-то через калитку — через улицу, а направляются в мою сторону, чтобы мимо беседки, через дыру забора, выйти на глухую тропку.

Я зажмурил глаза. Удивительно ярко представился мне горящий самолет, и, как брошенный камень, оттуда летит хрупкий белокурый товарищ мой — Славка.

Я открыл глаза и потянулся к браунингу.

И только что я до него дотронулся, как стало тихо-тихо. Воздух замер. И раздался звук, ясный, ровный, как будто бы кто-то задел большую певучую струну и она, обрадованная, давно никем не тронутая, задрожала, зазвенела, поражая весь мир удивительной чистотой своего тона.

Звук все нарастал и креп, а вместе с ним вырастал и креп я.

«Выпрямляйся, барабанщик!— уже тепло и ласково подсказал мне все тот же голос.— Встань и не гнись! Пришла пора!»

И я сжал браунинг. Встал и выпрямился.

Как будто бы легла поперек песчаной дороги глу-

бокая пропасть — разом остановились оба изумленных друга.

Но это длилось только секунду. И окрик их, злобный и властный, показал, что ни меня, ни моего оружия они совсем не боятся.

Так и есть! С перекошенными ненавистью и презрением лицами они шли на меня прямо.

Тогда я выстрелил раз, другой, третий... Старик Яков вдруг остановился и неловко попятился.

Но где мне было состязаться с другим матерым волком, опасным и беспощадным снайпером! И в следующее же мгновение пуля, выпущенная тем, кого я еще так недавно звал дядей, крепко заткнула мне горло.

Но, даже падая, я не переставал слышать все тот же звук, чистый и ясный, который не смогли заглушить ни внезапно загремевшие по саду выстрелы, ни тяжелый удар разорвавшейся неподалеку бомбы.

Гром пошел по небу, а тучи, как птицы, с криком неслись против ветра.

И в сорок рядов встали солдаты, защищая штыками тело барабанщика, который пошатнулся и упал на землю.

Гром пошел по небу, и тучи, как птицы, с криком неслись против ветра. А могучий ветер, тот, что всегда гнул деревья и гнал волны, не мог прорваться через окно и освежить голову и горло метавшегося в бреду человека. И тогда, как из тумана, кто-то властно командовал: «Принесите льду! (Много-много, целую большую плавучую льдину!) Распахните окна! (Широко-широко, так чтобы совсем не осталось ни стен, ни душной крыши!) Быстро приготовьте шприц! Теперь спокойней!..»

Гром стих. Тучи стали. И ветер прорвался наконец к задыхавшемуся горлу...

Сколько времени все это продолжалось, я, конечно, тогда не знал.

Когда я очнулся, то видел сначала над собой только белый потолок, и я думал: «Вот потолок — белый».

Потом, не поворачивая головы, искоса через пролет окна видел краешек голубого неба и думал: «Вот небо — голубое».

Потом надо мной стоял человек в халате, из-под которого виднелись военные петлицы, и я думал: «Вот военный человек в халате».

И обо всем я думал только так, а больше никак не думал.

Но, должно быть, продолжалось это немало времени, потому что, проснувшись однажды утром, я увидел на солнечном подоконнике, возле букета синих васильков, полное блюдце ярко-красной спелой малины.

И я удивился, смутно припоминая, что еще недавно в каком-то саду (в каком?) малина была крошечная и совсем зеленая.

Я облизал губы и тихонько высвободил плечо из-под легкого покрывала.

И это первое, вероятно, осмысленное мое движение не прошло незамеченным. Тотчас же передо мной стала девушка в халате и спросила:

— Ну что? Хочешь малины?

Я кивнул головой. Она взяла блюдечко, села на край постели и осторожно стала опускать мне в рот по одной ягодке.

— Я где? — спросил я.— Это какой город?

— Это не город. Это Ирпень! — И, так как я не понял, она быстро повторила: — Это Ирпень — дачное такое место недалеко от Киева.

— Ах, от Киева?

И я все вспомнил.

Прошла еще неделя. Вынесли в сад кресло-качалку, и теперь целыми днями сидел я в тени под липами.

Пробитое пулей горло заживало. Но разговаривать мог я еще только вполголоса.

Два раза приходил ко мне человек в военной форме. И тут же, в саду, вели мы с ним неторопливый разговор.

Все рассказал я ему про свою жизнь, по порядку, ничего не утаивая. Иногда он просто слушал, иногда что-то записывал.

Однажды я спросил у него, кто такой был Юрка.

— Юрка?.. Это был мелкий мошенник.

— А тот... артист?.. Ну, что сошел с поезда в Серпухове?

— Это был крупный наводчик-вор.

— А старик Яков?

— Он был не старик, а просто старый бандит.

— А он... Ну, который дядя?

— Шпион,— коротко ответил военный.

— Чей?

Человек усмехнулся. Он не ответил ничего, затянулся дымом из своей кривой трубки, сплюнул на траву и неторопливо показал рукой в ту сторону, куда плавно опускалось сейчас багровое вечернее солнце.

— Ну, вот видишь? Так со ступеньки на ступеньку, и вот наконец до кого ты добрался. Теперь тебе все ясно?

Это меня задело.

— Добрался! Так кто же такой, по-вашему, я?

— Когда: теперь или раньше? Сейчас ты поумнел. Еще бы!.. А раньше был ты перед ними круглый дурак. Но не сердись, не хмурься. Ты еще мальчуган, а эти волки и не таких, как ты, бывало, обрабатывали.

Он вытащил из папки фотоснимок:

— Не узнаешь?

Еще бы! Вот она, церковь, скамья. Вот он,— ишь ты как улыбается,— дядя. А вот он выпучил глаза — старик Яков.

— Так вы еще в Москве догадались достать кассеты у Валентины из ящика и проявить их?

— Да, мы давно обо всем догадались. Но вас разыскать нелегко было.

Теперь он вытянул листок бумаги и, хитро глянув на меня, продекламировал:

На брегу стоят девицы,
Опечалены их лица.

Это ты сочинил?

— Да,— сознался я.— Но скажите, что это за листы? И еще скажите: что это были за склянки... и почему так часто пахло лекарством?

— Мальчик,— ответил он,— ты не должен у меня ничего спрашивать! Отвечать я тебе не могу и не стану.

— Хорошо,— согласился я.— Но я уже и сам догадываюсь: это, наверно, был какой-нибудь секретный состав для бумаги!

— А это догадывайся сам, сколько тебе угодно.

— Ладно,— сказал я.— Я ничего не буду спрашивать. Только одно: Славкин отец умер?

— Жив, жив! — охотно ответил он.— Я и позабыл, что он тебе велел кланяться.

— За что? — удивился я.

— За что? Гм... гм...— Он посмотрел на часы.— Ну, прощай, поправляйся! Больше я не приду. Да,— он остановился и улыбнулся.— Нет,— и он опять улыбнулся.— Нет, нет! Скоро все сам узнаешь.

...У ног моих лежал маленький, поросший лилиями пруд. Тени птиц, пролетавших над садом, бесшумно скользили по его темной поверхности. Как кораблик, гонимый ветром, бежал неведомо куда сточенный червем или склюнутый птахой и рано сорвавшийся с дерева листок. Слабо просвечивали со дна зеленовато-прозрачные водоросли.

Тут я мог сидеть часами и быть спокоен. Но стоило мне поднять голову — и когда передо мной раскидывались широкие желтеющие поля, когда за полями, на горизонте, голубели деревеньки, леса, рощи, когда я видел, что мир широк, огромен и мне еще непонятен, тогда казалось, что в этом маленьком саду мне не хватит воздуху. Я открывал рот и старался дышать чаще и глубже, и тогда охватывала меня необъяснимая тоска.

Вдруг примчался ко мне Славка. Я его узнал, еще когда он сходил с легковой машины.

В замешательстве, как бы ища опоры, я оглянулся.

Но с первых же слов он меня перебил, замахал руками и засмеялся:

— Я все знаю! Я больше тебя знаю! Ты лежишь, а я на воле. Папа тебе шлет привет! Это он мне дал свою машину. Но ты уж совсем не такой худой и бледный, как говорил Герчаков.

— Кто?

— Герчаков! Ну, майор из НКВД, который с тобой разговаривал! Он заходил к нам часто. Ты знаешь, у него несчастье: пошел он на Днепр купаться — бултых в воду! А часы-секундомер с руки не снял. У него часы хорошие — еще в двадцать четвертом ему на работе подарили. Они и стали. Отнес — починили. Опять стали. Так он чуть не плачет. Это, говорит, я все распутывал ваши дела, заработался... Вот тебе и прыгнул!.. Послушай! Вот я тебе привезу фонарик. Мое слово твердо.

— Славка,— настойчиво спросил я,— зачем они твоего отца убить хотели?

Славка задумался.

— Видишь ли, когда вы...— тут Славка покраснел и быстро поправился,— то есть когда они обокрали в вагоне папиного помощника, то ничего нужного в сумке они, конечно, не нашли... Ну, они рассердились...

— Славка,— еще упрямей повторил я,— ну, не нашли, но зачем же все-таки они хотели убить твоего отца?

— Видишь ли, он, кажется, работает над какой-то важной военной машиной... Ну, а им этого не хочется. Нет, нет! Дальше ты меня лучше не спрашивай! Я тоже однажды спросил у отца: что за машина? Вот он посадил меня с собой рядом, взял карандаш и говорил, говорил, объяснял, объяснял... Вот тут винт, тут ручка, тут шарниры, здесь шарикоподшипник. При вращении развивается огромная центробежная сила. А здесь такой металлический сосуд... Я все слушал, слушал — да вдруг как закричу: «Папка! Что ты все врешь? Это же ты мне объясняешь, как устроен молочный сепаратор, что стоит в деревне у бабки!» Тогда он хохотал, хохотал, а потом и я захохотал. Так вот, с той поры я уж

его и сам ни о чем не спрашиваю. Нельзя! — вздохнул Славка.— Не наше пока это дело.

— Их посадили? — угрюмо спросил я.

— Кого «их»?

— Ну, этих, который дядя — и Яков.

— Но ты же... ты же убил Якова,— пробормотал Славка и, по-видимому, сам испугался, не сказал ли он мне лишнего.

— Разве?

— Ну да! — быстро затараторил Славка, увидев, что я даже не вздрогнул.— Ты встал, и ты выстрелил. Но дом-то ведь был уже окружен и от калитки и от забора — их уже выследили. Тебе бы еще подождать две-три минуты, так их все равно бы захватили!

— Вон что! Значит, выходит, что и стрелял-то я напрасно!

— Ничего не выходит! — вступился Славка.— Ты-то ведь этого не знал. Нет, нет! Все выходит, что очень даже не напрасно. Да! — И Славка, смущенно пожав плечами, протянул мне завернутый в салфетку узелок, от которого еще за пять шагов пахло теплыми плюшками да ватрушками.— Это тебе бабка прислала. Я не брал. Я отказывался: «На что ему? Там и так кормят». Так разве она слушает! «Да ты бери, бери! Так с салфеткой и бери». Подумаешь, салфетка! Знамя, что ли?

Мы распрощались. Все еще чуть прихрамывая, он быстро добежал до машины и махнул мне рукой.

Славка уехал. Долго сидел я. И улыбался, перебирая в памяти весь наш разговор. Но глаза поднять от земли к широкому горизонту боялся.

Как-то я сидел на террасе и задумчиво глядел, как крупный мохнатый шмель, срываясь и неуклюже

падая, упрямо пытается пролететь сквозь светлое оконное стекло. И было необъяснимо, непонятно, зачем столько бешеных усилий затрачивает он на эту совершенно бесплодную затею, в то время, когда совсем рядом вторая половина окна широко распахнута настежь.

Мимо меня, как-то чудно́ глянув и торопливей, чем обычно, пробежала через террасу из сада нянька.

Вскоре из дежурки прошел в сад доктор. Высунулась опять нянька; она была взволнована.

— Ну, вот и хорошо! Ну, вот и хорошо! — шепнула она, не вытерпев.— Вот и за тобой, милый, из дому приехали.

Как из дому?.. Валентина? Вот это новость!

Я запахнул халат и вышел на крыльцо.

Резкий крик вырвался у меня из еще не окрепшего горла. Я кинулся вперед и тут же зашатался, поперхнулся, ухватился за перила. Кашель душил меня, в горле резало. Я затопал ногами, замотал головой и опустился на ступеньки.

По песчаной дорожке шел доктор, а рядом с ним— мой отец. Мне сунули ко рту чашку воды со льдом, с валерьянкой, с мятой; тогда наконец кашель стих.

— Ну можно ли так кричать? — укорил меня доктор.— Ты бы вскрикнул шепотом, потихоньку... Горло-то у тебя еще слабое.

Вот мы и рядом. Я лежу. Лоб мой влажен. Я еще не знаю, счастлив я или нет. Пытливо смотрю я на отца, хмурюсь, улыбаюсь. Но я очень осторожен, я еще ничему не верю.

И я ему говорю:

— Это ты?

— Да, я!



Я кинулся вперед и тут же зашатался...

Голос его. Его лицо. На висках, как паутина, легкая седина. Черная гимнастерка, галифе, сапоги. Да, это он!

И я осторожно спрашиваю:

— Но ведь тебя...

Он сразу понимает, потому что, улыбнувшись — вот так, по-своему, как никто, а только он — правым уголком рта,— отвечает:

— Да! Я был виноват! Я оступился. Но я взрывал землю, я много думал и крепко работал. И вот меня выпустили...

— И теперь ты...

— И теперь я совсем свободен.

— И тебя выпустили так задолго раньше срока?— бормочу я.

— Я взрывал землю,— настойчиво повторяет отец.— Верно! Я старый командир, сапер. Я был на германской с четырнадцатого и на гражданской с восемнадцатого. Верно! Ну, так за эти два года я забурил, заложил и взорвал земли больше, чем за все те восемь. (Вот, я вижу, он опять улыбается, шире, шире. Сейчас, конечно, дотронется рукой до подбородка. Есть!) — И доканчивает: — Но и она мне, земля, коечто вдолбила в голову крепко!

Я смотрю на его левую руку: большого пальца до половины нет. Смотрю на голову: слева, повыше виска, шрам. Раньше его не было. Я спрашиваю:

— Это что?

Он треплет меня по плечу:

— Это вода шла на нас в атаку, а мы динамитом заставили ее свернуть в сторону.

— И ты был...

— А я был бригадиром подрывной бригады.

...Вот и все! Нет, не все. Теперь мой черед. Теперь

должен говорить я. Все вспоминать и объяснять, издалека, с самого начала.

Но отец сразу же меня перебивает:

— Ты уж молчи! Я все сам знаю.

Счастье! Вот оно, большое человеческое счастье, когда ничего не нужно объяснять, говорить, оправдываться и когда люди уже сами все знают и все понимают.

Я с благодарностью сжимаю его руку, и мне хочется ее поцеловать. Но он тихонько ее выдергивает и крепко жмет мою.

Больше об этих делах друг у друга мы не спрашиваем. Кончено. Пройдено. Прожито. Крест.

В висках постукивает. И вдруг налетает догадка, и я почти кричу:

— Папа, а кто это меня искал через газету?

— Кто? Да, конечно, сначала Платон Половцев, а потом я.

— Арбат ноль сорок восемь шестьдесят четыре? Так это меня искали вы? Вместе? Вот он откуда, загадочный московский телефон!

— Да. Я приехал как раз после твоего отъезда через неделю.

Я отталкиваю его руку и поднимаю с подушки голову:

— Ты пусти, папа. Я встану. Мне хорошо!

Мы на самолете в пути к Москве. Там нас должна по телеграмме встретить Нина. Вероятно, она будет с отцом.

Широки поля. Мир огромен. Жизнь еще только начинается. И что пока непонятно, все потом будет понятно. Мотор гремит, а мне весело. Я толкаю отца локтем и, чтобы он меня расслышал, громко кричу:

— Папа, а все-таки «Жаворонок» — это не солдатская песня!

Он, конечно, сейчас же хмурится:

— А какая же?

— Да так! Просто человеческая.

— Ну и что же, человеческая! А солдат не человек, что ли?

Он упрям. Я знаю, что нет для него ничего святей знамен Красной Армии, и поэтому все, что ни есть на свете хорошего, это у него — солдатское.

А может быть, он и прав!

Пройдут годы. Не будет у нас уже ни рабочих, ни крестьян. Все и во всем будут равны. Но Красная Армия останется еще надолго. И только когда сметут волны революции все границы, а вместе с ними погибнет последний провокатор, последний шпион и враг счастливого народа, тогда и все песни будут ничьи, а просто и звонко — человеческие.

Мы подлетаем к Москве в сумерки. С волнением вглядываюсь я в смутные очертания этого могучего города. Уже целыми пачками вспыхивают огни.

И вдруг мне захотелось отсюда, сверху, найти тот огонек от фонаря шахты, что светил ночами в окна нашей несчастливой квартиры, где живет сейчас Валентина и откуда родилось и пошло за нами наше горе.

Я говорю об этом отцу. Он склоняется к окошку.

Но что ни мгновение, огней зажигается все больше и больше. Они вспыхивают от края до края прямыми аллеями, кривыми линиями, широкими кольцами. И вот уже они забушевали внизу, точно пламя. Их много, целые миллионы! А навстречу тьме они рвались новыми и новыми тысячами.

И отыскать среди них какой-то один маленький фонарик было невозможно... да и не нужно!

Самолет опустился на землю. Взявшись за руки, они вышли и остановились, щурясь на свету прожектора.

И те люди, что их встречали, увидели и поняли, что два человека эти — отец и сын — крепко и нерушимо дружны теперь навеки. На усталые лица их легла печать спокойного мужества. И, конечно, если бы не яркий свет прожектора, то всем в глаза глядели бы теперь они прямо, честно и открыто.

И тогда те люди, что их встретили, дружески улыбнулись им и тепло сказали:

— Здравствуйте!

1938 г.



КОММЕНТАРИИ

ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ

Повесть «Дальние страны» была завершена А. П. Гайдаром в конце лета 1931 года.

Сохранился дневник писателя, который он вел летом 1931 года, живя с сыном Тимуром в Артеке. Дневник назван «Дальние страны», и в нем несколько раз Гайдар говорит о своей работе над новой книгой. (Оригинал дневника хранится в Центральном Государственном архиве литературы и искусства, впервые опубликован в сборнике «Жизнь и творчество А. П. Гайдара», М., Детгиз, 1951, обозначена дата: «1931—7—22. Крым. Гурзуф. Артек».)

Вот первая запись в дневнике:

«Выехали из Москвы с Тимуром 16-го. Прибыли в Артек к ночи 18-го.

Шли пешком по берегу моря. Разговаривали. «У моря другого берега нет» (Тимур).

Шли, шли, и пришли наконец.

В — «Дальние страны».

Говорят, что «Дальние страны» очень милая и грациозная повесть».

Позднее вновь:

«Доканчиваю «Дальние страны».

1 августа — снова:

«Очень много работал над концом «Дальних стран». Я твердо уверен, что, имей я возможность поработать над книгой еще две недели в спокойной обстановке, книга была бы намного лучше».

2 августа:

«Очень много работал над «Д. С.», с утра до ночи».

3 августа:

«Ночью я закончил, наконец, «Дальние страны». Итого получилось немного более пяти печатных листов».

«Дальние страны» Гайдар писал после неудавшейся второй части «Школы», так и оставшейся неоконченной.

Новая повесть означала переход писателя к новой теме и к новым героям — к теме социалистического строительства и к героям первой пятилетки. Быть может, в повести отразились и далекие воспоминания детства. Писатель Р. И. Фраерман, друг Гайдара, пишет:

«Дальние страны» с тихим полустанком, с таинственным лесом, проходящими мимо поездами, безусловно, навеяны Гайдару далекими воспоминаниями его детства, когда он — маленький мальчик — стоял с сестренкой Наташей на крыше сарая, провожая глазами убегающие вдаль поезда» (сборник «Жизнь и творчество А. П. Гайдара», М., Детгиз, 1951, стр. 123—126).

Но замысел книги навеян, конечно, не только воспоминаниями детства. Ведь это были годы первых пятилеток, и Гайдар видел, как создавались колхозы, как в глухих, в тихих до того местах возникало большое строительство.

Мечта о дальних странах сопутствовала Гайдару всегда; в каждой его книге получало отражение постоянное острое ощущение писателем неуклонного движения жизни вперед. С годами, в каждом новом произведении, эти мечты все больше конкретизировались, и все полнее романтические мечты писателя сливались с думами о детях, о родине, о социализме.

Повесть «Дальние страны» впервые была выпущена отдельным изданием в 1932 году, в издательстве «Молодая гвардия», с рисунками художника А. Ермолаева. Тогда же новая повесть вошла в состав первого небольшого сборника произведений

А. Гайдара — «Мои товарищи» (иллюстрации А. Ермолаева. М., «Молодая гвардия», 1932). При жизни А. Гайдара повесть «Дальние страны» выходила несколько раз в Москве, в Ленинграде, в Хабаровске, в Харькове. Последние прижизненные издания были осуществлены Детиздатом в 1938 году в серии «Школьная библиотека» и издательством Дальгиз, в городе Хабаровске, в 1939 году.

Дети полюбили новую повесть А. Гайдара. Появилось много отзывов в печати. «Литературная газета» поместила большую статью А. Фадеева под названием «Книги Гайдара» (1933, 29 января). Это одна из первых, если не первая статья в большой прессе, в которой писательский талант Гайдара получил полное признание.

ПУСТЬ СВЕТИТ

Рассказ написан в 1933 году, ко дню пятнадцатилетия комсомола. Опубликован в журнале «Пионер» (1933, сентябрь, № 17—18, октябрь, № 19).

Отдельной книжкой впервые издан только после смерти писателя, в 1943 году, к двадцатипятилетию ВЛКСМ.

Вошел в однотомник сочинений А. П. Гайдара, изданный в 1946 году, и потом — в двухтомное собрание сочинений писателя.

Рассказ «Пусть светит» близок к «Школе», он воспринимается как продолжение повести; в его основу положен эпизод из неосуществленной второй части повести «Обыкновенная биография». Герой рассказа «Пусть светит» Ефимка-партизан по складу своего характера напоминает Бориса Горикова. Его думы о светлой жизни при социализме сродни мечтам Бориса Горикова «о светлом царстве социализма».

В 1954 году по мотивам повести «Школа» и рассказа «Пусть светит» (режиссер А. Голованов, авторы сценария С. Розен и К. Семенов) снят кинофильм «Школа мужества». Из рассказа «Пусть светит» взят один образ. Это комсомолка Вера. Зародившаяся дружба между Верой и Борисом в кинофильме напоминает дружбу между Ефимкой-партизаном и Верой из рассказа «Пусть светит».

И в фильме и в рассказе эти образы олицетворяют поколение, которое будет жить в том близком будущем, за которое воевал народ в годы гражданской войны.

ВОЕННАЯ ТАЙНА

Повесть была задумана летом 1932 года в Хабаровске, где писатель работал корреспондентом газеты «Тихоокеанская звезда».

В 1933 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла отдельным изданием «Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове», с рисунками художника В. М. Конашевича. Сказка целиком вошла потом в повесть «Военная тайна», которую А. Гайдар закончил только к осени 1934 года.

Вот что записал он в своем дневнике 21 августа 1934 года:

«Последние дни крепко работал. Наконец-то кончаю «Военную тайну». Эта повесть моя будет за Гордую Советскую страну. За славных товарищей, которые в тюрьмах. За крепкую дружбу. За любовь к нашим детям. И просто за любовь...

В конце 1934 года Гайдар был в Ростове-на-Дону и читал ростовским пионерам отрывки из новой повести по рукописи, подготовленной к печати.

Повесть живо заинтересовала ростовских пионеров, и его новые друзья прислали ему потом письма, в которых высказали свои мысли по поводу прочитанного, задали много вопросов.

Гайдар ответил большим письмом. Он писал:

«Дорогие ребята!

Мне из Москвы переслали ваши письма и отзывы на мою повесть «Военная тайна».

Конечно, был я очень обрадован. Повесть выйдет отдельной книгой недели через две. Я уже распорядился, чтобы тотчас же по нескольку экземпляров были высланы в Ростов.

Прочтете, обсудите и тогда напишите еще. Одно дело, когда

такую совсем не маленькую повесть вам читали вслух по частям, и совсем другое, когда каждый ее прочтет сам.

Я отвечаю вам на два главных вопроса: зачем в конце повести погиб Алька. И не лучше ли, чтобы он остался жив. И второе: почему повесть называется «Военная тайна».

Конечно, лучше, чтобы Алька остался жив. Конечно, лучше, чтобы Чапаев остался жив. Конечно, неизмеримо лучше, если бы остались живы и здоровы тысячи и десятки тысяч больших, маленьких, известных и безызвестных героев.

Но этого в жизни не бывает...

Вам жалко Альку. Некоторые ребята в своем отзыве пишут мне, что им даже «очень жалко». Ну, так я вам откровенно скажу, что мне, когда я писал, было и самому так жалко, что порою рука отказывалась дописывать последние главы.

И все-таки это хорошо, что жалко. Это значит, что вы вместе со мною, а я вместе с вами будем еще крепче любить и Советскую страну, в которой жил Алька, и зарубежных товарищей, тех, которые брошены на каторгу и в тюрьмы.

И будем еще больше ненавидеть всех врагов: и своих, домашних, и чужих, заграничных,— всех тех, что стоят поперек нашего пути, и в борьбе с которыми гибнут наши лучшие большие и часто маленькие товарищи.

Вот вам ответ на первый вопрос.

Почему «Военная тайна»? Конечно, по сказке. В сказке Буржуин задает три вопроса: первый из них — нет ли у побеждающей Красной Армии какого-нибудь особого военного секрета или тайны ее побед? Тайна, конечно, есть, но ее никогда не понять главному Буржуину. Дело не только в вооружении, в орудиях, танках и бомбовозах. Всего этого немало и у капиталистов. Дело в том, что наша армия знает, за что она борется. Дело в том, что она глубоко убеждена в правоте своей борьбы. В том, что она окружена огромной любовью не только трудящихся Советской страны, но и любовью миллионов лучших пролетариев капиталистических стран. И, наконец, вспомните те строки из повести, где Натка задумывается над тем, что теперь она по-новому, поиному поняла и спокойные глаза Альки, и упрямую хватку Баранкина, и холодный, беспощадный взгляд Владика.

Что же она, в сущности, поняла?

Да то, что в помощь Красной Армии подрастает такое поколение, которое поражений знать не может и не будет.

И это у Красной Армии — тоже своя военная тайна,

А каково это поколение — как оно пока живет, что делает, что думает,— обо всем этом я и написал, все это и попробовал я раскрыть в своей повести.

Вот вам ответ на второй вопрос.

Всем крепкий привет, Мите Белых, Вите Зарайскому и вообще всем, у кого на плечах толковая голова.

Я жив, здоров. Живу сейчас в городе Арзамасе и работаю, пробуду здесь еще несколько месяцев.

Осенью, вероятно, буду на Кавказе, и тогда, возможно, на день-два опять встретимся.

Будьте живы и здоровы и вы.

Ваш АРКАДИЙ ГАЙДАР».

Это письмо было послано А. П. Гайдаром 5 марта 1935 года из Арзамаса. Ростовские библиотекари берегли его и сохранили даже в годы Великой Отечественной войны, когда Ростов был захвачен немецкими фашистами, и уже после войны переслали в журнал «Пионер», где оно и было опубликовано в 1949 году, в № 5, с вводной заметкой писателя Ив. Халтурина.

Повесть «Военная тайна» появилась почти одновременно отдельным изданием в Детиздате и в литературно-художественном журнале «Красная новь» (1935 год, № 2).

«Красная новь» не был журналом для детей, и тот факт, что там была напечатана «Военная тайна», свидетельствует о большом интересе к творчеству Гайдара. «Литературная газета» поместила в 1936 году несколько наиболее ценных отзывов детей о повести. Откликнулась на ее появление и литературная и педагогическая критика. Возникла оживленная дискуссия. Педагогические и литературные журналы и газеты в течение всего 1935 года печатали рецензии и отклики на книгу.

Но даже в высказываниях тех, кто находил множество недостатков в новой книге Гайдара, говорилось, что она очень интересна, своевременно появилась и поднимает жизненно важные вопросы, что в книге живо и верно показаны дети, что она согрета чувством любви к Советской стране и советским людям и проникнута чисто гайдаровским юмором.

В 1936 году появилось новое издание «Военной тайны» (с рисунками Д. Шмаринова), оно отличалось от издания 1935 года. Гайдар дописал и вставил две новые главы и изменил редакцию

некоторых частей повести. Повествование приобрело большую ясность и стройность. Критика отметила это обстоятельство.

Помимо первоначальной публикации, повесть вышла в том же 1935 году в Детиздате УССР (Харьков—Одесса), потом в 1937 году — в серии «Школьная библиотека», затем в 1938 году — в Омске.

«Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» при жизни автора вышла отдельным изданием вторично в 1937 году в Москве, в Детиздате.

Последнее прижизненное издание повести «Военная тайна» было осуществлено в сборнике «Мои товарищи» (М., «Советский писатель», 1940).

Спустя шесть лет после того, как была задумана повесть, в 1938 году, Гайдар написал киносценарий «Военная тайна» (опубликован в 1969 году в журнале «Пионер», № 5 и 6, с предисловием Р. И. Фраермана).

Кроме сценария, опубликована еще одна рукопись, найденная в той же папке, где были страницы киносценария: ответы Гайдара режиссеру-постановщику, названные писателем «Несколько замечаний».

Это авторские характеристики главных героев произведения: Альки, Владика, Баранкина, Эмки, Сергея Ганина, Натки Шегаловой, Нины.

ГОЛУБАЯ ЧАШКА

Впервые рассказ опубликован в 1936 году в журнале «Пионер» (№ 1). В том же 1936 году рассказ вышел отдельным изданием в Детиздате с рисунками художника Б. Дехтерева.

В 1940 году А. Гайдар включил «Голубую чашку» в сборник «Рассказы» (иллюстрации Б. Дехтерева, П. Алякринского и А. Ермолаева, Детиздат) и в сборник «Мои товарищи» («Советский писатель», 1940 год). Позднее рассказ входил в двухтомное издание «Сочинений» писателя, в однотомники и во многие сборники.

Рассказ вызвал горячие споры среди родителей, учителей, библиотекарей; не так часто в произведениях для детей писатели

всерьез говорили о семейной жизни взрослых. На страницах литературных и педагогических журналов и газет возникли дискуссии. Некоторым рассказ показался недетским, скучным, говорили о его бессюжетности, неслаженности композиции. Однако большинство выступавших в печати защищало новое произведение Гайдара. В печати приводились примеры того, что дети с большим интересом читают рассказ, что маленькие читатели радуются атмосфере любви, солнечному свету, разлитому в рассказе, что они вместе с его героями — со Светланой и ее отцом — вдыхают вольный воздух широких просторов родных полей, негодуют на тех, кто омрачает радостную жизнь советских людей, а старшие улавливают, кроме того, и лирическую тему, тему чувств и переживаний, свидетелями которых в семье дети так часто бывают

А. Гайдар много и упорно работал над «Голубой чашкой», совершенствуя и оттачивая рассказ. В рукописи он показал рассказ С. Я. Маршаку, который поддержал его необычный замысел. Советы старшего мастера Гайдар учел при окончательной отделке рассказа.

О том, что эту небольшую книгу Гайдар считал важной ступенькой на своем творческом пути, можно судить по «Автобиографии» (1937), в которой он называет, кроме таких произведений, как «Р.В.С.», «Школа», «Дальние страны», «Военная тайна», и рассказы «Четвертый блиндаж» и «Голубую чашку».

СУДЬБА БАРАБАНЩИКА

Повесть была закончена в начале 1938 года.

В 1937 году в «Автобиографии» А. Гайдар пишет: «Сейчас я заканчиваю повесть «Судьба барабанщика». Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война».

Книга вышла в Детиздате в июле 1939 года. В 1940 году Гайдар включил повесть в сборник «Мои товарищи» («Советский писатель», 1940).

Новизна повести, остро конфликтный сюжет и необычное решение темы явились причиной того, что повесть была настороженно встречена некоторой частью критики. И все же большинство

выступивших в печати одобрительно отозвалось об этом произведении.

«Судьба барабанщика» вызвала взволнованный отклик у детей; юные читатели верно поняли глубокий замысел автора, правдиво рассказавшего о суровой и трудной судьбе маленького барабанщика пионерского отряда.

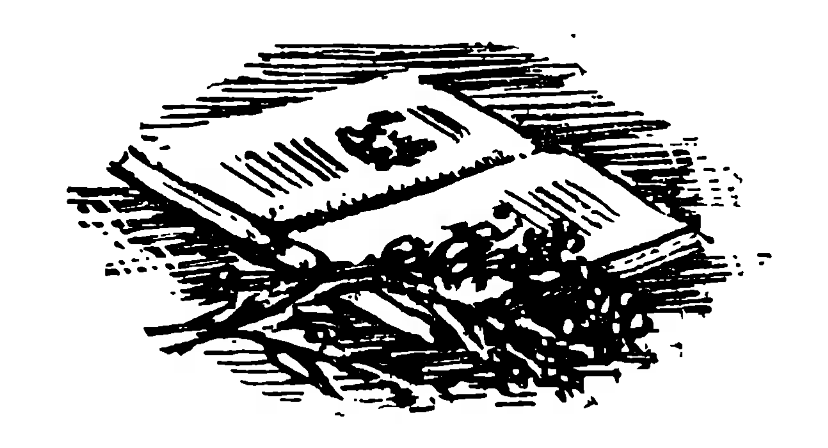
Прежде чем появилось отдельное издание повести, Гайдар написал по ней киносценарий (в июне 1938 года, по договору с Одесской киностудией). Известна публикация сценария «Судьба барабанщика» (журнал «Искусство кино», 1955, № 4).

Ф. Эбин



СОДЕРЖАНИЕ

Оформление В. Ладягина



Гайдар Аркадий Петрович

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, ТОМ II

Ответственный редактор *Б. И. Камир*
Художественный редактор *М. Д. Суховцева*
Технический редактор *О. В. Кудрявцева*
Корректоры
К. И. Каревская и *Т. П. Лейзерович*

Сдано в набор 19/VIII 1971 г. Подписано к печати 24/XI 1971 г. Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л.13,5. Усл. печ. л. 22,68. (Уч.-изд. л. 17,73). Тираж 300 000 (1—150 000) экз. Цена 80 коп. на бум. № 1.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Зак. 2750.



